

Огромная благодарность Алексею Свиридову, alexey@nival.com, 2:5020/122.184, за предоставленный для сканирования экземпляр книги. А так же за ангельское долготерпение:).

Предисловие

Завоевание человеком неба никогда не опиралось на исчерпывающие знания о законах полета. Но это не останавливало тех, кто посвящал себя пятому океану. Таков человек, и здесь его величие, трагедия и красота.

На стыке самолетных систем и полета стоит человек. И если «звуковой барьер» в недалеком прошлом доставил массу самых разных неприятностей авиационному миру, то проблемы управляемости современного самолета в первую очередь напомнили о возможностях человека за штурвалом.

Не случайно именно этот конфликт определяет развитие событий в романе Александра Бахвалова.

«Нежность к ревущему зверю» — одна из немногих книг, со столь завидной глубиной отображающая непростую взаимозависимость человека и его профессии.

Главный герой книги — летчик-испытатель Алексей Лютров — привлечет читателя правдивостью своего внутреннего мира, духовным богатством, честностью — главными приметами облика нашего современника. Любовь героя к своей профессии глубоко осознана, труд привлекает его не только сам по себе, но как социальная категория, как историческая необходимость споспешествовать промышленному процветанию Родины. Как бы ни была трудна и опасна его работа, как бы ни настораживали неизбежные побочные следствия «машинизированной цивилизации», нам не дано иного пути сохранить, сберечь главное наше достояние — завоевание человеческого духа на пути к грядущему золотому веку мира — коммунизму.

Таково духовное кредо героя романа летчика-испытателя Алексея Лютрова.

Персонажи книги, описание событий, летные происшествия — все это отмечено верностью характеристик, точностью и глубиной обрисовки поведения действующих лиц в изображаемых обстоятельствах.

Э. Елян, Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР.

Если на ветровом стекле не вспыхивают, колюче мерцая огненными ежами, фары встречных автомобилей, путь от города до аэродрома становится отдыхом. Утекающая под капот «Волги» дорога, едва видимая глухомань осинника по сторонам и пчелиное жужжание работяги-движка настраивают так, словно все, что связывает тебя с миром, осталось позади. Ты — нигде. Между тем, что было, и тем, что будет.

Лютров вспоминает попутчиков, которых нередко сажает к себе в машину по дороге на аэродром. Они тоже как-то сразу проникаются состоянием отрешенности, становятся откровеннее. Может быть, существует некое непознанное свойство скорости, влияющее на расположение людей друг к другу?

На этот раз попутчиков не будет, он слишком поздно выехал из дому. А жаль. Лютрову нравился здешний говор, речь старожилы дальних деревень. Нигде больше не говорят с такой напевной интонацией, такими речитативно закругленными фразами. Хоть в шапку собирай. Как-то он сказал об этом деду, которого подвозил к попутной деревушке.

— Верно, сынок, — весело - важно согласился дед, — наш мужик лепит слово ловчее других, душой, значит, речист. Дед помолчал, улыбнулся.

— А вот мой свояк, тот все больше иностранно слово к себе приваживает. От ума, значит. А как его привадишь? Ить все одно приبلудный пес, не рашенный... Другое дело — обозвать кого таким словом, это да. Чего оно там значит, хрен с ним, важно, как его в деревне обозначили да к кому присобачили... Сваяка-то мальчишки «хобием» прозвали. Умора...

Занятный был дед. Борода ухоженная, волосок к волоску, глаза лукавят, на щеке кокетливой соринкой девичья родинка.

И поговорить не дурак. Лютров заочно перезнакомился со всей дедовой родней, со всеми добрыми и недобрыми людьми неведомой деревушки Сутоково. Но, заметно. было, рассказывал старик не от душевного беспокойства, а словно бы только для того, чтобы выведать мнение Лютрова, проверить на нем всякий свой вывод.

— Верно говорю?

— Не силен я, отец, в крестьянской науке.

— Понимаю, — снисходительно отозвался дед. — Это я так. Интересно, как ты думаешь, есть в тебе какое-то уголье, рядом с тобой полегше дышать... Хотя сразу-то я и не разглядел тебя, парень. Больно здоров ты.

Старик говорил правду. Когда человек, подобно Лютрову, велик ростом, остальные внешние приметы его как бы ступшеваются, отступают на второй план, да и привлекательность не слишком подвижного смуглого лица Лютрова требовала разгадки; не всякий случайный знакомый успевал заметить, с каким постигающим вниманием разглядывал или слушал людей Лютров. Во взгляде его темно-серых глаз в русых ресницах угадывалась ничем не обеспокоенная цельность внутренней жизни — очень привлекательная черта для людей, не уверенных в себе, робких, слабых и таких, как этот старик, — душевно общительных.

Когда Лютров остановил машину у большого щита с надписью «Берегите птиц и зверей», дед удовлетворительно заключил:

— Славно докатили. Сколько те за проезд?

— Будете богаче меня, тогда и расплатитесь.

— Ишь ты, богаче... Не дожدهшься, брат.

Придерживая приоткрытую дверцу, он спустил ногу на землю, но не

вышел, а повернулся к Лютрову и с достоинством поблагодарил:

— Ну, спасибо, уважил.

Вспомнив этого попутчика, Лютров пожалел, что поздно выехал; за полтора часа езды он не встретил на дороге ни души, а впереди еще половина пути.

Ребята из экипажа предпочитают жить в гостинице в перерывах между полетами, а не мотаться в город и обратно, вроде своего командира. И теперь спят, наверное. Или играют в преферанс.

Впрочем, штурман Саетгиреев наверняка или спит, или скучает по своей жене-музыкантше. Если двигателисты не продлят ресурс своим изделиям на «С-44», то завтра они сделают последний полет перед заменой всех четырех двигателей, и тогда Саетгиреев сможет погостить недельку-другую дома.

Полеты на этой большой машине, связанные с освоением новых навигационных систем, длятся весь апрель, и почти все это время больше всех занят штурман. Через два-три полета в экипаж присылают нового стажера-оператора, чтобы Саетгиреев ознакомил его с навигационным комплексом. Если не считать нескольких опытных агрегатов, установленных на двигателях, да хозяйства Саетгиреева, то «С-44» можно считать обычной серийной машиной, и для экипажа это скорее рейсовые, чем испытательные полеты. Лютров со вторым летчиком, подменяя друг друга, всегда находят время отдохнуть, откинувшись на сиденье катапультного кресла. Впрочем, завтра и Саетгирееву будет полегче, ему поставили новый локатор, с которым нужно как следует освоиться одному, без стажера. Ему для этого достаточно одного полета. Отличный навигатор. Спроси, в любую минуту скажет, огни какого городка под самолетом. Все небесные пути ему так же знакомы, как Лютрову вот эта междугородняя магистраль до поворота на приаэродромный городок. А там, на узкой бетонке, уже и машин не встретишь. Разве что кошек да собак. Но еще задолго до поворота в ста метрах от автостанции появится холмистое возвышение, приметное желтой раной песчаного карьера. По ту сторону холма, на отлогом спуске к реке, немногим больше трех месяцев назад разбился опытный самолет «С-14»...

При слабом свете приборных ламп вишневые чехлы сидений «Волги» кажутся черными. Тускло лоснится брошенная рядом на сиденье кожаная куртка. Под ней должны быть сигареты. Не глядя, Лютров нащупывает скользкую пачку, закуривает и приспускает окошко дверцы.

Дохнуло по-летнему теплой ночью, прелыми запахами леса. Осинник вот-вот обрядится в листву, зашумит, заговорит птичьими голосами, а давно ли сошел снег?..

Он еще белел в оврагах и на затененных скатах холмов, когда Лютров второй раз побывал на месте катастрофы «С-14» с номером «7» на фюзеляже. Машину так и называли «семеркой».

За все годы работы на фирме он не помнил катастрофы с таким исходом, хоть никогда за всю историю авиации не создавалось так много экспериментальных машин, как в это время, никогда столь многое не зависело от работы летчиков-испытателей.

Никто из экипажа не успел покинуть самолет, да и не мог. Погибли все четверо: Георгий Димов, сильный, стройный, как гимнаст; Саша Миронов, рыжеголовый, ото лба до плеч усеянный веснушками, не покидавшими его со школьных лет, как и незамутненная доверчивость к людям, отзывчивость на веселье; Сергей Санин, невозмутимо добродушный, с выразительной усмешкой

большого подвижного рта, и Миша Терской, стеснительный юноша, красневший от анекдотов своего коллеги Кости Карауша, и даже - когда ему звонила мама, воспитанная и совсем еще молодая женщина... Летчики, штурман, радист.

Обходя по краю глубокую ямину, Лютров ступал по темным плешинам обгоревшей земли и живо вспоминал бесноватые лохмы огня, хлопающего на ветру рваными полотнищами: приглаженный метелью снег, усыпанный сажей в направлении ветра; стекающий в овраг керосин, слизавший сугробы с легкостью кипящей лавы, и в дыму над ним цепкие шлейфы пламени.

Все четверо. Так ему и сказали, когда он выбрался из кабины «С-04» и, как был, в высотном костюме, поднялся в диспетчерскую узнать, почему запретили вылет. Он глядел на лица ребят и чувствовал, как ощущение пустоты и нереальности обволакивает его сознание. Он не только не верил услышанному, но и не понимал, он оглох, как от собственной смерти... «Нет, там все не так, они не знают и говорят первое, что услышали... Сейчас - сейчас все изменится, обернется по-другому, нужно только переждать, как это бывало в детском сне, и тогда все сгинет...»

Но это была явь. Та простота смерти, которая ввергает живых разом в опустошенность, где у же ничего нет - ни горя, ни мук, а только бессилие, слабость и глухая тоска...

Над аэродромом нависла давящая тишина, и в этой тишине торопливо, один за другим, стартовали вертолеты. Неуклюжее на вид вращение лопастей медлительных машин рождало мысли о предательской настороженности чрева механизмов к ошибкам людей.

Он не мог ждать, он должен был сам узнать, как и что там теперь, там, где горела «семерка»... Как будто узнать — значит найти выход, когда выхода нет.

И Лютров полетел к этим холмам, опоясанным сизой излучиной большой реки, глядел на черный дым с высоты двухсот метров и вспоминал утренние рукопожатия ребят, их недолгие сборы, сдержанную радость на лице Жоры Димова, впервые назначенного ведущим летчиком на опытную машину,

«Семерка» еще осенью была испытана на все строгие режимы. Сначала ее вел Долотов, потом Боровский. Ничто как будто не мешало отработанной методике испытаний. Рулежка, первый вылет, доводка двигателей, освоение специфики управления, аэродинамические испытания на устойчивость в различных полетных условиях, в том числе на предельно малых скоростях и максимально допустимых углах атаки к встречному полету — так называемые большие углы. Машина испытывалась при максимальном скоростном напоре на малых высотах и при максимальных скоростях на оптимальных высотах. Из нескольких опытных «С-14» «семерка» первой вышла за звук, первой прошла по мукам самолетных испытаний, проведенных Борисом Долотовым. На вопросы ребят о самолете немногословный Долотов отвечал: «Хорошая машина. Строгая». «Семерку» готовили к полетам целевого назначения. Димову осталось закончить отработку пусковых систем — сделать несколько полетов в зону с оранжевыми сигарами ракет на пилонах под крыльями, а затем отправиться в командировку.

Уцелевшая в бронированном контейнере магнитофонная нить с записью голоса штурмана и отмеченные самописцами перегрузки подсказали аварийной комиссии, что невероятное — просто, так непростительно просто, что недостойно значиться рядом с жизнью и смертью.

Но так казалось на земле... Когда машина с полетным весом более ста тонн

принимается за дельфиньи пляски в воздухе, именуемые раскачкой, из кабины самолета, вошедшего в эти непокорные рукам летчика колебания, все выглядит иначе. Возникновение раскачки в так называемой зоне наибольших ошибок управления не только не было загадкой, но и предупреждалось установленными на «С-14» самодействующими механизмами — демпферами, — автоматически парирующими самовозникающие изменения угла атаки. Но те же колебания летчик не в состоянии погасить своими руками, потому что слишком длинен по времени путь «человек — рули», потому что наиболее быстро и полноценно машина слушается их при главных, характерных для нее режимах полета... А демпфера, включаясь в работу всякий раз, когда штурвал замирал в руках Димова, еще более усугубляли положение... В других условиях все было бы иначе, но самолет не ходит за ручкой одинаково во всех полетных режимах, и зоной наибольших ошибок управления для «С-14» остаются взлетно-посадочные скорости, здесь машина особенно «строга»...

Они едва взлетели, магнитофон успел записать всего несколько фраз, продиктованных Саниним по обязанности штурмана:

— Скорость триста пятьдесят... Скорость четыреста... После недолгой паузы удивленный вопрос: — Куда ты тянешь?

Неясные щелчки, треск, судорожный вздох; как если бы человек хотел, но так и не смог ничего сказать. И опять голос Санина: — Жора, куда ты тянешь? Ему никто не ответил.

— Куда ты тянешь? — крикнул Сергей в последний раз и звонко выругался.

Магнитофонная нить не выдала больше ни звука. Острые всплески на ленте самописца легко расшифровали слова Санина: «семерка» развалилась в воздухе от перегрузок, превысивших предельные величины в несколько раз.

Все происшедшее от взлета до падения уложилось в считанные минуты и в представлении Лютрова выглядело так.

В трехстах метрах от земли, когда убрались закрылки и вслед за колесами шасси захлопнулись створки гондол, вертикальный порыв воздуха задирает самолет вверх — кабрирующий момент. Рефлекторным движением — штурвал от себя — Димов привычно парирует нежелательное увеличение угла атаки, пытается вернуть машину к нормальному углу набора высоты. Летчика нервирует непослушание самолета, и он все дальше оттаст штурвал. Но скорость мала, реакция «семерки» на отклонение рулей запаздывает, на мгновение кажется, что самолет не управляем. Но вот он поворачивается к земле, тревога отхлынула, чтобы тут же вернуться снова: линия горизонта пересекла стекла кабины и метнулась в небо! Теперь штурвал на себя, еще, еще!.. Но самолет несется вниз, как замороженный. И, кажется, проходит не пять, а тысяча секунд, пока руки переведут машину из пике в набор высоты, сопровождая переход угрожающими перегрузками... Вверх!.. Вниз!.. Вверх!.. И машина не выдерживает.

«Куда ты тянешь?» — кричал Сергей, давая понять Димову, что, работая управлением, он вводит «семерку», залитую топливом под закрутку, в опасный резонанс раскачки, а не противостоит ей. Димов должен был решиться поставить штурвал в нейтральное положение по усилиям, бросить его, наконец — забыть о пилотажных навыках, дать возможность погасить колебания автоматам на управлении — демпферам тангажа... Не мог же он не знать, что они бездействуют, пока управление в его руках?.. Может быть, Димов и понимал это, да земля была слишком близка. Или были какие-то другие

причины его молчания, другая догадка об источниках губительных колебаний... Разрушение машины, огонь и смерть скрыли многое...

Одно несомненно: если Санин пытался предостеречь, значит, поведение «семерки» вышло за грань допустимых отклонений. У него доставало выдержки не вмешиваться в работу летчика. Лютров знал это. В выдержке — основа мужества штурмана, а степень нервного напряжения — в прямой зависимости от веры в летное искусство командира. И это понятно. Практически любая авария при взлете и посадке грозит увечьем прежде всего штурману, если говорить о самолетах типа «С-14», где штурманская кабина — первая по полету. И штурману «семерки» суждено было умереть первым, самолет падал кабинами вниз...

Лютров часто бывал у родителей Санина, живших отдельно от Сергея, там же, в пригороде. Теперь ему больно встречаться с ними — он остался в их памяти вестником гибели сына.

Не стало Сергея, и Лютров потерял какую-то часть самого себя. Сергей опекал Лютрова, как брата, решал за него, где скоротать вечер, чем заняться в выходной день, куда поехать на охоту...

Лютров долго не мог забыть день похорон — панихиду в зале приаэродромного клуба, четыре закрытые, стоящие в ряд гроба, запах еловых веток; вынос, завывание медных труб. И прощальное слово Гая-Самари, старшего летчика фирмы. Гай говорил тихо, медленно, так же медленно и тихо падал снег на его красивую голову. Иногда его голос срывался на судорожный шепот, он прикрывал глаза, и на небритых скулах выдавливались желваки.

Нечеловечески трудно говорить о погибших, произносить их имена, когда перед тобой лица матерей, жен и детей, не способных видеть что-либо, кроме мерзлых прямоугольных яму ног. Гай говорил простые слова о смысле их труда, о том, сколько успели сделать эти четверо, но и простые слова были бесполезны, потому что нет на человеческом языке слов, нет объяснений, которые могли бы примирить материнские сердца со смертью сыновей.

— Есть тысяча способов умереть. Они погибли вместе, как солдаты, которые не могли отступить... — закончил речь Гай.

Перед погребением мать Сергея упала грудью на заколоченный гроб, уже припорошенный снегом, и никто не решался поднять ее.

Поддерживая под руки сестер Сергея, Веру и Надежду, пока их мужья засыпали могилы, обливался слезами Витя Извольский; не поднимал склоненной головы Борис Долотов; недвижимыми стояли Боровский, штурман Козлевич, радист Костя Карауш. Рядом с Лютровым стоял бывший командир их отряда Амо Тер-Абрамян. Он прилетел на похороны из Армении, где жил после выхода на пенсию. Седая прядь на смоляных волосах спадала на лоб, на ней не было видно снежинок. Вокруг Славы Чернорая, бывшего комэска и друга Димова, теснились в серых шинелях летчики из воинской части, где еще недавно служил Димов, у которого не было родных. Последний из близких — отец — умер два года назад. Ребята из прошлогоднего выпуска школы летчиков-испытателей — Радов, Саегиреев, Трофимов — выглядели совсем потерянными. Приехал на похороны и Лев Фалалеев, ровесник Боровскому, во благовремение ушедший на пенсию и теперь описывающий в книжках в статьях свою «насквозь героическую», по словам Кости Карауша, летную жизнь. На рукаве желтого ратинового пальто Фалалеева была аккуратно повязана траурная лента, шляпу он держал у живота, лицом содержательно скорбел, но уехал, как и явился, вдруг, словно отдавал памяти экипажа свои драгоценные минуты.

Толпа стала расходиться, оркестр смолк, и горе обнажилось сдавленными рыданиями, стонами женщин, скребущими по сердцу лопатами. А когда над одинаковыми бугорками выросли груды венков, снег посыпал гуще, словно и это входило в ритуал похорон — поскорее уподобить только что омытые слезами погребения вчерашним, позавчерашним и тем, что появились сто лет назад.

У ворот кладбища Лютров увидел Славу Чернорая, заслонявшего своей широкой спиной незнакомую женщину. Рукой в красной варежке она держалась за гранитный прут чугунной ограды, будто боялась упасть.

Когда Лютров поравнялся с ним, Чернорай сказал, что не сможет быть на поминках, говорил он и еще что-то, чего Лютров не расслышал: на стоянке за воротами запускали и прогревали застоявшиеся на морозе автомобили.

Тут же у въезда на погост стоял черный «ЗИЛ» Главного конструктора Николая Сергеевича Соколова, приехавшего на похороны с женой, старшей дочерью и сыном. Главный совсем занемог от горя, ему с трудом удалось четырежды нагнуться у могил, чтобы бросить в каждую по пригоршне мерзлой земли.

Первые недели были самыми трудными, рана кровоточила. Отец Сергея, Андрей Андреевич, приходил к Лютрову, оставляя старуху на попечение дочерей, не в силах выносить нескончаемые стоны жены.

— Один сын, Лексей, один!.. — гроыхая по столу кулаком и роняя слезы, жаловался старик.— Войну прошел, сызмальства воевал, отчего не я, не старуха, а он, а?..

Проводив старика Лютров пытался поскорее уснуть, но сна не было. Он видел себя в кабине «семерки», видел убегающий край взлетной полосы и — прямо перед собой — лицо Сергея, беззвучно повторявшего: «Куда ты тянешь?»

Утекала под самолет пунктирная линия на сером бетоне, каждую секунд готовая оборваться, а он не в силах был поднять самолет, оторвать его от земли...

— Давление выше нормы. Ощущаете недомогание? Девушка-врач озабоченно поджимала губы и выжидающе глядела на Лютрова.

— Здоров. Вашими молитвами...

— Меньше курите. Сбавьте немного веса. Чаще бывайте на воздухе. На лыжах ходите?..

Она еще не научилась улавливать своим белым носиком запах спиртного у подопечных. Или прямо говорить об этом, а потому и спрашивала о ерунде, чтобы скрыть свою девчоночью робость. Крохотная, снежно-свежая в накрахмаленном халатике, она перебирала стерильными пальчиками на волосатом запястье его руки и нервно краснела, если вена вздрагивала на пять ударов чаще положенного.

...Как молния в безлунную ночь, катастрофа высветила не только слабые места в конструкции «С-14», но и людей, заставила говорить не только о погибших, но и о живых.

На заключительном заседании аварийной комиссии один из ее членов, пожилой начальник отдела автоматики КБ, ошеломленный истолкованием причины происшедшего, спросил: почему опытную машину с такой поспешностью передали молодому летчику? Насколько ему известно, командиром «семерки» до последнего времени был Боровский. Ему объяснили, что ничего недозволенного в этой замене нет, и это не исключение, а установившаяся практика. Обстоятельства порой вынуждают подменять

летчиков даже на несколько полетов, так что в решении передать самолет для продолжения испытаний Димову, долгое время летавшему вторым летчиком с Боровским, ничего необычного нет. Для такой подмены достаточно отметки инспектора в летной книжке любого высококлассного испытателя фирмы.

Начальник отдела автоматики так и не узнал, что коснулся весьма щепетильной области интересов «самого» Боровского, за глаза величаемого «корифеем».

Заключительные испытания «семерки» должны были проводиться в отдаленном районе. Работа неброская, а Боровскому нужно было во что бы то ни стало находиться на глазах начальства: готовился приказ о назначении командира на новый пассажирский лайнер «С-441». Дело громкое, как в таких случаях говорят летчики. Надеяться, что о тебе вспомнят, когда ты будешь за тридевять земель, сомнительно. Поэтому ему нужно было высвободиться заранее, до первого вылета «С-441», намечаемого на лето, и «корифей» пустился в нехитрую дипломатию, призывая начальство оказать доверие способному испытателю из нового пополнения, дав ему возможность проявить себя на завершающем этапе испытаний «семерки».

Чем бы ни была вызвана дипломатическая активность Боровского, уступившего Димову свою работу, «корифей» никто не подозревал в злом умысле, это исключалось.

Боровский был опытным и в высшей степени толковым испытателем. Никто не помнил за ним сколько-нибудь серьезной летной ошибки. И он любил летать. Журналисты ставили его имя в ряду самых видных асов авиации. Но при близком рассмотрении он во многом терял, причиной тому была непрезентабельная суетность, тяготение к влиятельным мужам КБ, к местному начальству.

Характер свой Боровский выказал и позже, когда Старик — так летчики звали Главного конструктора — утвердил ведущим летчиком «С-441» Славу Чернорая. Боровский посчитал себя незаслуженно обиженным. Узнав же, что будущий командир «С-441» водит компанию с Костей Караушем и Виктором Извольским, любителями «повеселиться», о чем, кстати, и.о. начальника летного комплекса Юзефович имеет соответствующие сигналы, Боровский с иронией заметил, что вот-де каким людям доверяют ответственные заказы. Нельзя было до такой степени доверять известной поговорке: скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе кто ты; Чернорай брал в рот спиртное разве что «в дни противостояния Марса», как сказал Костя Карауш о выпаде Боровского. Брошенный камень попал в руководителя отдела летных испытаний Петра Самсоновича Данилова, через руки которого проходят все кандидаты на новые машины и который к тому же дал себя уговорить Боровскому передать «семерку» Димову. На этого старого и осторожного инженера, сорок лет проработавшего на фирме, можно было обвинить в чем угодно, только не в опрометчивых решениях. Выслушав Боровского, Данилов вызвал для консультации врача летной службы.

Девушка-врач, взволнованная общим вниманием, четко выговаривая, заявила, что у Вячеслава Ильича Чернорая ею не замечены какие-либо отклонения в состоянии здоровья, и, как иллюстрацию к сказанному, показала журнал с отметками кровяного давления летноподъемного состава за последний год. Снисходя к ее волнению, начальник летной базы Савелий Петрович Добротворский, герой войны, генерал в отставке, в кабинете которого проходил этот разговор, подчеркнуто учтиво поблагодарил ее за сведения, а когда она

вышла, резко встал из-за стола.

— В следующий раз потрудитесь сами проверять сплетни, которыми пользуетесь, — бросил он «корифею». — Я вам не царь Соломон!

Но Боровский не мог остановиться. Видимо, всерьез обиделся. На бурном заседании методсовета, когда утверждалась одна из программ испытаний порученного Боровскому «С-440» — большой турбовинтовой серийной машины, превращенной в летающую лабораторию, «корифей» неоправданно бурно отреагировал на малую неточность в подписанной ведущими инженерами и Даниловым программе, не стал слушать объяснений, когда ему пытались доказать, что документ в конце концов обсуждается методсоветом, да и ошибка невелика, а недвусмысленно заявил, что возможность подобных «оптических aberrаций» в организации летно-испытательной службы на базе и привела в конце концов к катастрофе «семерки».

Прослышав об этом, Костя Карауш отметил:

— Это уже кое-что.

До отъезда в командировку Лютров слышал, будто Данилов беседовал со Стариком о поведении Боровского. Но до того ли Главному сейчас, чтобы заниматься еще и амбицией «корифея»?

...Лютров начал летать с Саниным на «С-04» после аварии «С-40» в 1959 году. В отличие от второго летчика Андрея Трефилова, Санин оставался на борту с командиром корабля Иваном Моисеевым до последней минуты и выбросился из машины, когда пожар в зоне четвертого двигателя ослабил крепежные узлы и мотор отвалился. Потерявшая равновесие машина мгновенно свалилась на крыло, так что Санин едва успел выбраться из аварийного люка.

Прыжок был неудачным, Санин опустился на старую осину, в лесу за деревней, сильно ударился. Побаливала спина, и он не на шутку боялся, что врачи «зарубят». И радовался, как ребенок, когда увидел в летной книжке пометку «без ограничений».

Вернувшись из госпиталя, Санин как-то обмолвился в присутствии Гая-Самари и Бориса Долотова о «некоторой поспешности», с которой покидал самолет Андрей Трефилов.

Убедившись, что включение противопожарной системы не сбило огонь, Трефилов расстегнул ремни и сказал Моисееву:

— Поскольку... у меня сегодня день рождения... я покидаю машину.

Моисеев вначале и не понял его, вопросительно посмотрел на Санина, снова на Трефилова, но затем отвел глаза, будто устыдившись, и, прежде чем Трефилов успел покинуть кресло, дал команду выбрасываться. Кроме Санина, никто из экипажа ничего, кроме того, что второй летчик с завидной оперативностью выполнил команду командира корабля, не понял в поведении Трефилова.

Однако ускользающая от формальных определений вина Трефилова, с точки зрения обязанности второго по значению члена экипажа, заключалась не в букве инструкции, а в летной этике. Покинь он машину вместе с командиром, когда на борту не останется никого, кроме них, и Трефилов, может быть, и по сей день работал бы на фирме. Да и Санина, человека по натуре мягкого и терпимого, несколько обескуражило то, какой оборот приняла эта история год спустя с нележкой руки Бориса Долотова. На первом этапе испытаний «семерку» вел Долотов, вторым летчиком назначили было Трефилова. Но Долотов, которому всегда было все равно, с кем летать, на этот раз отказался работать с Трефиловым. С кем угодно, кроме него. Дело дошло до объяснения в кабинете

Данилова.

И тут не только все решилось, но и все, кому довелось при этом присутствовать, немало были удивлены тем объяснением сущности характера Трефилова, какое в очень немногих словах дал Борис Долотов, человек, как будто и не замечавший никого за пять лет пребывания на фирме.

Если Гая-Самари можно было отнести к категории «модников-скромников», кем веяния моды вводились с оглядкой, осторожно: чуть длиннее пиджак, ярче галстук, немного уже или слегка расклешены брюки, то Андрей Трефилов принадлежал к «модникам-эксцентрикам», на ком появляется все самое модное, яркое, еще непривычное глазу и оттого бросающееся в глаза. Казалось, этот человек свободное от работы время только и занимался тем, что искал какой-нибудь галстук «павлиний глаз» или невообразимую замшевую куртку со множеством карманов и бесконечными застежками-«молниями» и чтобы на подкладке были золототканые ярлыки, стилизованные под средневековые геральдические щиты. Он первым принимался носить пальто с накладными карманами, пыжиковую шапку, туфли с носком веретенном, обтягивающие икры брюки, пестро расцветенные сорочки, доставал неведомо где паркеровские ручки, африканских чертиков для украшения лобового стекла машины, зажигалки из Японии, носил тончайшие часы на массивном золотом браслете, запонки с цыганскими висюльками, зажим для галстука в виде полицейских наручников и даже сигареты умудрялся курить «оттедова»: то с изображением верблюдов на пачках, то герцогских корон чуть лине из Новой Зеландии.

— За тебя можно получить хар-рошие деньги! — сказал ему однажды Костя Карауш.

- Да?

— Ага. На одесской барахолке...

— Полегче, радист, я тебе не Козлевич, — оторвался Трефилов с неожиданной злобой, нацеливая на Карауша маленькие глазки из глубоких глазниц под выпуклым, с залысинами лбом.

— А кто спорит? — парировал Костя. — Козлевич понимает шутки...

— Здесь все свои, — начал неприятный разговор Данилов. — Вот Донат Кузьмич, Андрей Федорович... Товарищ Долотов, объясните нам э... причину вашего несогласия с кандидатурой Трефилова на место второго летчика.

Борис Долотов сидел через стол от Трефилова и сразу после вопроса Данилова сказал своему визави:

— Ты скис.

— То есть? — насмешливо улыбнулся Трефилов, откинувшись на спинку стула и засунув руки в карманы.

— Выдохся. Что в тебе было, называется куражом. Кураж испарился, и ты скис. Промотал все, пережил самого себя.

— Интересно... Какой кураж? Чего испарилось?

— Все, что было.

— А чего было?

— Сначала был свет, как в божий понедельник. Я тебя по училищу помню, хоть ты был и не моим инструктором. Ты и там искал, где бы повыше забраться, любил, чтобы тебя видели. В тебе всегда было два человека. Один умел летать, а другой не верил этому. До сих пор ты доказывал ему, что стоишь столько, сколько платят за самого лучшего. Но это непросто — все время доказывать самому себе, что ты не хуже лучших. И осталось одно, что до поры кое-как

помогало тебе... самовыражаться...

— Что?

— Деньги.

— Ха! — Трефилов внимательно посмотрел на Данилова.

Смущенный Данилов хотел было вмешаться, но Долотов упредил его.

— Да, деньги. Не от скупости, не для кубышки или чтобы купить пароход, а для щедрости — вот я какой: угощаю всех, кто под руку попадет, даю займы направо и налево. В твоём доме так и говорят: хороший человек этот летчик, никому не отказывает. Но какая это заслуга — дать, а потом взять обратно? Чем тут восхищаться? А поскольку восхищение в глазах ближних ты не видел, твоя щедрость кончилась. Все, ты выпотрошился. Героя не заработал, а щекотать самолюбие мелочишкой — скучно... Вот ты и скис, работаешь теперь по инерции, как умеешь давно, потому что заряжаться тебе нечем, и верх в тебе все больше берет тот, другой. Поэтому я и не хочу летать с тобой... Чтобы ты ненароком вместо выпуска противошторного парашюта не включил его сброс...

После этого разговора Трефилов сам отказался летать с Долотовым, а когда почувствовал, что никто не считает того неправым, перевелся на другую опытную фирму, но и там пробыл недолго — ушел на серийный завод.

— Так может говорить только человек, который и самому себе ничего не прощает и не простит, — сказал Гай Лютрову.

— Долотов не станет ждать суда посторонних, чтобы почувствовать угрызения совести. Но ведь так и надо, а, Леша? — спросил Гай и сам себе ответил: — Так и надо.

Вскоре после возвращения из госпиталя Санина назначили штурманом на «С-04». К тому времени Лютров достаточно хорошо знал Сергея, чтобы не сомневаться, что ему повезло со штурманом. А это много значило для него в ту пору: многоцелевой двухместный перехватчик «С-04» был первой опытной машиной Лютрова, которую он вел «от» и «до», хотя работал на фирме седьмой год. Но задолго до того он уже имел некоторое представление о человеческих качествах Сергея Санина.

Душевная избирательность сложна. Подчас довольно очень немногого, чтобы проникнуться расположением к человеку, и ровным счетом ничего не нужно, чтобы он вызвал в тебе неприязнь. Достаточно всего лишь однажды дать человеку понять, что ты на его стороне, а ему оценить это, и вам обоим будет легко друг с другом всю жизнь. Они вместе могли налетать не одну сотню часов на «С-04», но их дружеские отношения, возможно, так я не переросли бы в братскую привязанность, если бы не тот неприятный для Лютрова часовой полет в марте 1953 года, накануне смерти И. В. Сталина.

В ту пору готовилась к серийному выпуску одна из первых реактивных машин Соколова — «С-4», на которой вначале летал Тер-Абрамян, а потом все понемногу. Завод изготовил предсерийный вариант, предназначенный для доводочных испытаний на летной базе фирмы. Нужно было сделать несколько полетов, чтобы снять аэродинамические характеристики крыла после небольшой модернизации.

За машиной направили Лютрова и Санина. Вылет был назначен на девять часов утра, а накануне вечером заводские летчики устроили им «прием», где они с Сергеем «позволили себе» приложиться к бутылке со звездочками.

И хоть тогда Лютрову шел двадцать восьмой год, а может быть, именно поэтому, выпитого оказалось достаточно, чтобы после взлета, в наборе высоты,

он потерял пространственную ориентировку. Такого с ним не бывало со времен учебы в летном училище.

Когда это психофизиологическое состояние охватывает летчика, да к тому же одного в кабине, оно действует, как изматывающее сновидение: ты повис над бездной, изо всех сил стараешься не сорваться, и в то же время нечто подсказывает тебе, что спасение именно в падении, а нелепость такого выхода только кажущаяся.

Облачность началась с высоты около семидесяти метров, как только самолет вошел в нее, Лютров почувствовал, что машина завалилась в глубокий крен на правое крыло. По приборам же все было нормально — угол набора, небольшой крен.

Но он не верил приборам, в том-то и штука — очевидность была в нем самом, а не в показаниях черных циферблатов с белыми стрелками, они не могли переубедить его, сознание как бы раздваивалось, он едва сдерживал себя, так велико было искушение «выровнять» машину по собственным представлениям о ее положении относительно земли. Кресло под ним, кабина, крылья — все находилось под невыносимым углом к линии горизонта, — и ощущение это не только не проходило, но становилось агрессивнее, требовало действий...

И только потому, что Санин молчал, Лютров держал самолет по приборам, — опытный штурман, Сергей не мог не заметить отклонений в показаниях приборов своей кабины.

А белесая мгла облаков заполнила небо, казалось, ей не будет конца. Нетерпеливое желание вырваться за верхнюю кромку облачности вносило свою долю сумятицы, и неуверенность Лютрова становилась все нестерпимее. В довершение всего, в зоне разорванной облачности в кабину обрушились снопы мигающих солнечных лучей, перемежающихся с плотными теньями проносящихся за стеклами облаков.

Все словно сорвалось с места. Дробились, гасли и вновь вспыхивали блики на всем, что могло блеснуть, металась солнечные зайчики, слепящими искрами дрожали мельчайшие хромированные детали, стекла приборов. Голова шла кругом. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы наконец не осталась позади семикилометровая толща облаков.

Занавес упал. Под самолетом равниной лежала холмистая даль верхней кромки облачности, повторяющей земной горизонт, разом снявшей наваждение. Работа приборов обрела силу очевидности, Лютров с облегчением почувствовал это и услышал голос Сергея:

— Коньяк, мон генераль?..

Значит, он заметил неладное в поведении машины.

— Кажется, да, — отозвался Лютров, обливаясь потом.

— Не застревай на своих впечатлениях, импрессионист. Держись приборам, а то небо в овчинку покажется.

По голосу можно было понять, что Санин улыбается. И тогда, еще в полете, Лютров почему-то вспомнил, что Сергея дважды сбивали на фронте — и оба раза во время глубоких рейдов на самолетах дальней авиации; что благодаря разработанной им системе поисков обнаружили и разбомбили строго секретный аэродром немцев в Финляндии; что у него три ордена Ленина, два — Красного Знамени, четыре — Красной Звезды, два — Отечественной войны... И Лютров не пожалел, что выдал себя, он подумал тогда, что люди, подобные Санину, умеют ценить искренность. Для Лютрова эта неожиданная мысль стала

первым следом общности между ними.

На другой день было объявлено о кончине И. В. Сталина. На летной базе собирали траурный митинг. Полетов в этот день не было. С утра было холодно. Зима надоела, хотелось тепла, зелени, а снег лежал еще крепко.

Выходя из здания летной части, Лютров приподнял воротник меховой куртки и вместе со всеми направился в сторону большого ангара. Им, идущим со стороны аэродрома, хорошо были видны темные цепочки людей, тянущихся от всех корпусов летной базы, где размещались не только те работники, что были непосредственно заняты подготовкой испытаний самолетов, но и вспомогательные службы, филиалы цехов основного производства КБ, бригады представителей фирм-смежников. Люди шагали молча.

Огибая опоры стапелей, треноги гидроподъемников, полутораметровые колеса шасси стоящего со снятыми крыльями «С-40», прототипа будущего стратегического бомбардировщика «С-44», непрерывно натекавшая под стометровые пролеты ферм людская масса мало-помалу наполнила огромное помещение. Люди плотно стояли лицом к подмосткам с длинным столом, обтянутым красной тканью с черной полосой, как и тяжелая трибуна слева.

Вскоре у трибуны появились знакомые Лютрову лица, их часто можно было видеть на собраниях, заседаниях, конференциях. Люди склонялись друг к другу, произносили неслышные фразы, сокрушенно кивали. Стоял там и о. начальника летного комплекса Нестор Юзэфович. Он выбрал позицию чуть в стороне от остальных, словно смерть постигла одного из его родственников и он имеет право быть первым среди скорбящих. Кого-то ждали.

Стало совсем тихо, и только неприлично громко чирикали зазимовавшие под крышей воробьи.

В этой настороженной, готовой многое вместить в себя тишине каждый в тысячной толпе хотел видеть и слышать все. Тишина напрягалась, становилась ненастоящей, фантастической из-за молчания стольких людей.

Не выдержав напряжения, упала в обморок женщина. Над ней склонились, кто-то побежал за «скорой помощью». Как шелест листьев под ветром, пролетел и смолк недолгий говор. Люди на подмостках расступились. Пришел начальник летной базы, известный фронтовой летчик-истребитель Савелий Петрович Добротворский, невысокий, прямой, чуть полнее, чем следовало роста.

Держа перед собой лист бумаги, пожилая женщина объявила о начале митинга.

Речи были короткими. В произносимых словах было меньше скорби, чем в напряженном молчании людей.

— Слово предоставляется...

Едва возвышаясь над трибуной, заговорила девушка-клепальщица — тонкая, бледная, с покрасневшими глазами. Срывающийся голос, наполненные слезами глаза выдавали растерянность, страдание. Так и не высказав рвущихся наружу слов, она разрыдалась и растрогала всех. Последним на трибуну поднялся Добротворский. Он стоял прямо, говорил четко, короткими фразами, как у могил тех летчиков, которых ему довелось хоронить на фронте, не стараясь ни приглушить, ни изменить свой голос.

— Товарищи, умер Иосиф Виссарионович Сталин. Это тяжелая утрата. Мы хороним человека, которому безгранично верили. В каждом из нас живы воспоминания о тысяча девятьсот сорок первом годе. Я видел слезы на глазах героев, когда после страшных слухов о падении Москвы мы на далеком участке фронта услышали его речь перед войсками на Красной площади. Такое нельзя

забыть.

После митинга летчики вернулись в комнату отдыха, а когда стали расходиться, Лютров решил приземлить плохо поддающееся обсуждению событие до привычной людям значимости.

— Куда же вы, братцы?.. Можно подумать, что вы не хотите выпить за помин души Иосифа Виссарионовича?..

К его предложению трудно было придаться. Но у Юзефовича, невесть откуда и как оказавшегося у Лютрова за спиной, было иное мнение.

— Как вы сказали?! Лютров опешил.

— Повторите, как вы сказали!

Это была хорошо интонированная экзекуция демагогией. Сколько в ней было самодовольства, наслаждения, внушающего страх, уличающего, унижающего...

За несколько последующих мгновений на лице Лютрова сменилась гамма выражений — от растерянности до бешенства.

— Кого не приглашают, тому нечего повторять, — медленно произнес Лютров.

Не умея сменить «повторите, как вы сказали!» на равнозначное, угрожающее, Юзефович наливался синевой и, как плохой актер, ждал наития.

— Брось выпендриваться, Юзефович, — донесся из тишины спокойный голос Сергея Санина, — не будь хитрее теленка... Спектакль был испорчен.

Бывший фронтовик со следами тяжелых ожогов на лице, имеющий больше орденов, чем Юзефович пуговиц, Санин в глазах этого человека был не чета Лютрову. И Юзефович сменил окраску: все еще недовольно, но явно сникнув, он покачал головой и удалился.

А Лютров вдруг ясно понял душу Санина: в случае опасности он загородит тебя от удара, от пули, себя в первую очередь подвергнет смертельной опасности и при этом не будет считать, что совершил что-то необычное.

После больших и малых событий 1953 года Лютров все чаще встречался с Саниным, — и мало-помалу Сергей увлек его в разноликую жизнь Энска, своего родного города.

Давно ли все это было? И грустно и весело вспоминать о всех тех людях, которые тянулись к Сергею. Это был маленький буйный мирок, кипящий настроениями, голосами, жестами. Люди приносили с собой по яркому лоскуту от мыслей, красок и событий большого города. И кого только не заносило к Санину... Иногда захаживал известный поэт, имевший обыкновение после двух рюмок поносить на чем свет стоит всю современную поэзию чохом, включая и собственные опусы, и со слезами на глазах декламировать лермонтовское «Выхожу один я на дорогу».

Тучный сатирик, друг поэта, подарил Лютрову тонкую книжицу злых фельетонов, озаглавленную «Соль по вкусу». Лютрова поражало в этом человеке ни в ком ранее не замеченное умение говорить о сложном свободно и легко. Казалось, этот человек был умнее, опытнее своих собеседников, на порядок больше вобрал их в себя всех тех едва приметных, скрытых от поверхностного взгляда примет жизни, которые открываются только очень пытливым, глубоким людям.

— У вас забавная привычка глядеть на людей, — говорил он Лютрову.— Вы всегда над людьми, над их хлопотами. На земле с вами ничего не случается?.. Умеют молчать или умные, или стеснительные люди. Вы умный

человек?..

Его вопросы казались странными, но он не рисовался и говорил только то, что хотел сказать.

В последнюю зиму к Сергею несколько раз заходил человек в сером свитере с высоким воротником. «На шум», как он говорил. Сам же был немногословен и чаще всего играл в шахматы, у него было постоянное место у окна, где стоял маленький столик. Говорил он, не поднимая головы, даже когда беседовал с сидящим напротив сатириком. Этому не составляло труда играть в шахматы и без всяких усилий рассуждать о том, что сделалось предметом разговора. В своем партнере он обретал идеального слушателя.

— В наше время всяческих проповедей, — рассуждал сатирик, — ссылки на сдвиги в сознании из-за рождения кибернетики и атомной энергии не более чем литературная эстрада, беллетристика душевных аплодисментов. Современен тот, «кто обогатил свою память знаниями всех тех богатств, которые выработало человечество, кто способен ощутить мир сердцем Толстого, воплотить в себе все, возвышающее человека... Никакая кибернетика сама по себе ничего не воплощает. Я вот кончил Литературный, есть такой институт. Было нас там несколько, тяготеющих отобразить в «великом и могучем» лик времени. Не менее того. Наука-де заговорила по-новому, и нам следует, как некогда Александру Сергеевичу, усовершенствовать отечественный глагол. Им-де, обтесанным на новый лад, сподручнее будет жечь сердца людей. Как программка?.. А вот нового у нас набралось на одну освистанную и ныне прочно забытую книжицу рассказов, напичканную студенческими «речениями»... Ну, засим получил я диплом о прохождении литературных наук, был направлен в газету, стал разъезжать по всей великой, малой и белой Руси, и тут-то вся моя жеребьячья умственность улетела к чертям собачьим, потому как душа по-прежнему проживала в дедовском языке... И для каждого более всего на свете, более всех примет электронного века значит приметы любви к родной юдоли... Если ты не окончательно затруханный сукин сын...

Впервые человек в сером свитере показался Лютрову взволнованным. Он снял сильные очки в черной оправе и принялся сосредоточенно протирать их.

— Вы правы, — заговорил он, — чем богаче язык, тем меньше сопротивления оказывает сознанию окружающее... Архиглупо почитать за отсталую народную речь, так дружно, в ладу живущую со всем, что есть на земле... В это нужно уверовать, как в руки матери.

После этой беседы Лютров спросил Сергея о человеке в сером свитере:

— Кто он?

— Не знаешь?.. Ну, да ты тогда не занимался тяжелыми машинами. Это конструктор, начальник отдела. Руководил разработкой механизмов подвески ядерных бомб, был на испытаниях. И вот не уберется. Болен. Поражено горло: под свитером следы трех операций. Ему голову поднимать трудно, как на гильотине побывал.

Вскоре этот человек исчез, и Лютров так и не успел узнать, что с ним случилось.

....Хозяйскими делами Сергея ведала его мать, грузная, строгая старуха, по-крестьянски в открытую гордившаяся сыном. Когда она видела Лютрова с Сергеем, то непременно принималась сетовать на несуразность их холостой жизни:

— Пора бы уж! А то все сроки пройдут, и уж никакая девушка не

глянется. Чего ждать? Мужики вы, что ты, что Серенька — как дубы, эвон какие вымахали! Какого рожна ждать?

Они обещали ей сыграть свадьбы вместе, в один день, как то получилось у сестер Сергея, Веры и Надежды.

Но не женились ни вместе, ни порознь. Возраст ли мешал без предубеждений относиться к девушкам, или не случилось в их жизни какой-то главной встречи. Трудно сказать. В молодости же, наверное, больше других любили крылья и, как все одержимые, глядели на заботы вне призвания как на никчемные, не стоящие особого внимания.

Как бы то ни было, Лютров не находил изъянов в прожитых годах и никому не завидовал. Он никогда не сомневался, тот ли путь избрал, тому ли делу отдал жизнь. Обернись все сначала, и он снова сядет за письмо командующему округом, чтобы попроситься в летное училище, как он это сделал после призыва в армию в 1944 году. Овладев полетом, он поймал свою жар-птицу и ревностно берег ее. В работе все, весь он. Еще будучи курсантом, Лютров предпочитал пораньше ложиться спать, чтобы утром, прогревая мотор «Ла-5», с упоением вслушиваться в его уверенный рокот. Он слышал послушание, силу, готовую сделать для него главную чудо-работу: поднять в воздух машину, огласить небо торжествующей песней полета. И, казалось, ничто в мире не способно было сравниться с полнотой вот этого ощущения жизни!

Годы не оставили в памяти ничего более близкого, чем заснеженные, залитые дождем, пышущие жаром аэродромы — уходящие за горизонт полосы шершавого бетона. Лютрову случалось бывать едва ли не во всех крупных городах страны, но прежде чем вспомнить облик города, он представлял аэродром. И не только он. Когда Санину говорили, что такой-то город красив и гостеприимен, он отвечал:

— Хороший город. Знаю. Полоса два двести. И затем принимался рассказывать обстоятельно со знанием дела, о музеях, театрах...

Рядом с воспоминаниями об аэродромах жили, как лирические отступления от стези жизни, картины охотничьих вылазок.

В Хабаровске знакомые ребята устроили им охоту в предгорьях Сихотэ-Алиня. Охотник-удэгеец — маленький, неутомимый, несмотря на тяжелую болезнь ночек, водил их по тайге в поисках гималайского медведя... Охотничьи домики в лесу, морозное ночное безмолвие, огромная золотая луна за сказочными силуэтами деревьев, следы осторожных изюбров, тигра, дупло старого тополя, припудренное желтой гнилой пылью у отверстия — след дыхания спящего медведя.

Астрахань... Неделя поздней осени, долгое однообразное тарактенье моторки по бесконечным протокам дельты Волги, тысячные утиные стаи и укоризненные слова старого егеря:

— Ружьишко у тебя, парень, больно харчисто: гляди, в пыль утиц бьешь.

— Слышь, Лешка, — харчисто! Умеют говорить на Руси, а?... — восхищался Санин с такой горячностью, словно его одарили чем-то...

Есть потери, которые сильнее всего напоминают о времени, о прожитом. Лютрову иногда казалось, что вся его «взрослая молодость» началась и кончилась рядом с Сергеем, как с отъездом из родного городка в Крыму кончилось детство, с получением диплома летного училища — юность. Три месяца прошло после похорон друга, а он все еще не обрел душевного равновесия. Женатым, наверное, легче. Будь он женатым, ему, может быть, не

стало бы так тоскливо сегодня вечером одному в своей квартире на Молодежном проспекте, и он не поехал бы на ночь глядя на этот аэродром, в гостиницу, где живут остальные члены экипажа. Нужно двигаться, не оставаться праздным, не копить усталость, лечить душу «терапией занятости», иначе одолеет тоска... Умница Гай-Самари, придумал ему эту командировку: полеты через сутки, вылет, как правило, те второй половине дня, посадка ночью, аэродром, далеко от летной базы, от бесконечных разговоров о катастрофе...

Дорога делает кокетливый поворот, изгибаясь в плоскости, как на треке, и под светом фар проступает вздыбленный каркас моста. «Волга» пронесется между пупырчатыми арками стальных пролетов. Шум мотора обрубается мелькающими по сторонам наклонными фермами.

— Хлоп, ххлоп, ххлоп!..

По ту сторону моста начнутся разноцветные заборы финских домиков, окраина военного городка, появятся бесконечные знаки ограничения скорости, запрещения обгона, а вместе с ними замелькают свадебные стаи собак, кошки... Чаще кошки. В отличие от собачьей непосредственности, они обескураживающе пугливы, и в пугливости этой не боязнь, не трусость, а диковатая скрытность, слепое недоверие ко всему, что живет вне стен хозяйского дома, — вторая натура диванных баловней. Захваченные светом, они жмутся к земле, затаиваются, чтобы в самый неподходящий момент с решительностью самоубийц броситься наперерез автомобилю. Лютров убавил скорость и опустил стекло дверцы. Еще поворот, и на дороге, в недостижимой светом темноте, блестят отражательные стекла на бортах большого грузовика. За ним полыхает костер света от фар «газика» с брезентовым верхом. Над землей туманом растекается синий дымок от работающего мотора. «Газик» установили поперек обочины с умыслом осветить ямину кювета, но свет захлестывает бугор за ним, пробивается дальше, к плотной колоннаде сосен на холме. Кому-то не повезло с техникой.

Мотнувшись в обход березовой роши, дорога вползает на холм. В конце долгого спуска блеснула красным бензоколонка, трубно прогудел тоннель под бетонным мостом железной дороги, и начались последние километры узкой бетонки, ведущей к проходным аэродрома.

И от вида знакомых, освещенных прожекторами решетчатых ворот, от встретившего машину бодрого краснолицего солдата в светлом полушубке, угадавшего «Волгу» Лютрова а оттого с веселым старанием раскрывшего одну за другой обе половины ворот; наконец, от улыбки парня) которая не покидала его во время проверки пропуска («Мы-то с вами знаем, что это глупая игра с пропуском, — как бы говорила эта улыбка, — но такова служба, ничего не поделаешь»), — и от всего этого Лютров словно бы ожил, очнулся от видений ночной дороги. Здесь, за воротами, начинался мир живой и деятельный, который только и ждет рассвета, чтобы зашуметь и задвигаться,

— Сколько часов, не скажете? — спросил солдат, которому хотелось как-то выразить свое хорошее отношение к знакомому летчику.

— А если будешь узнавать о температуре, спросишь, сколько градусников?

Они рассмеялись. Потом закурили, причем, прежде чем прикурить, солдат старательно, с видом участника той же игры огляделся.

— А у вас какое звание? — в тоне вопроса чувствовалось, что солдат задумал ответную шутку.

— Майор запаса.

— Спокойной ночи, товарищ майор! — довольный своей находчивостью, постовой отдал честь.

Утром Лютров узнал, что накануне вечером в гостиницу звонил начальник отдела летных испытаний фирмы Данилов. Интересовался делами экипажа, а когда Чернорай сказал ему, что завтра предстоит последний полет перед заменой двигателей, Данилов распорядился, чтобы после установки самолета на замену двигателей ведущий инженер Углин, бортрадист Коля Карауш и он, Лютров, прибыли на базу. Слава Чернорай, присланный на несколько полетов подменить заболевшего второго летчика, должен вернуться в КБ, где он отрабатывал на тренажере навыки управления новым лайнером «С-441», которому летом запланирован первый вылет.

— А нас для чего отзывают, не спросили?

— Чернорай разговаривал, а он, сам знаешь, человек военный, — улыбнулся Костя Карауш. — Начальству вопросы не задает.

Взлетели, как обычно, во второй половине дня. Через двадцать пять минут после взлета, когда самолет вышел из зоны связи с аэродромом. Костя Карауш доложил:

— Командир, разрешили третий эшелон набирать, девять тысяч.

Его перебил Углин.

— Подождите, подождите... Командир! Алексей Сергеевич!

— Ау!

— Вот какой вопрос: мы сейчас где находимся?

— Булатбек, уточни.

Связанные самолетным переговорным устройством (СПУ), все на борту слышали каждое слово, к кому бы оно ни относилось.

— Подходим к городу Перекаты, — начал Саэтгиреев, — удаление от места взлета...

— Сколько мы ушли? — торопил Углин. — Чего-то у нас непорядок.

— Удаление — двести пятьдесят километров.

— Так, двести пятьдесят, — голос Углина звучал тревожно. — Значит, если верить топливомерам...

— Так, — сказал Лютров, чуя недоброе.

— ...У нас топлива сейчас... восемнадцать тонн. И уходит очень быстро.

— Что вы, ребята? — Лютрову было чему удивляться: перед вылетом на борту находилось около шестидесяти тонн горючего.

Но по диктующему голосу Углина Лютров понял, что ведущий не только старается быть точным в подсчетах, но и требует, чтобы к его словам отнеслись серьезно.

— Впечатление такое, — продолжал он, — что с одной стороны, с левой, уходит топливо. Очень быстро.

— Так.

— Кроме седьмых баков, — добавил бортинженер Тасманов.

— И расходный тоже уменьшается. Поэтому...

— Так.

— Ну и шутки у вас, Иосаф Иванович, — невесело сказал Костя Карауш.

— Увы, Костя, это не шутки... Так вот насчет эшелона. Может быть... До Перекатов сколько?

— А сядем мы там? — Чернорай понял, куда клонит ведущий. —

Булатбек, сколько там полоса?

— До Перекатов триста. Полоса...

— Запасной аэродром у нас какой? — опять спросил Углин.

— Полоса в Перекатах две... да, две тысячи метров.

— Давайте тогда вернемся, — сказал Тасманов.

— Погодите. От места взлета сколько ушли? — спросил Углин.

— Двести пятьдесят.

— Тогда погодите разворачиваться, лучше идти на Перекаты.

— Булатбек, в Перекатах что за аэродром? - спросил Лютров. — Я там не был.

— Новый аэродром, бетонная полоса. Я был да нем.

— Костя, запроси погоду Перекатов, быстро, - сказал Лютров.

— Понял: погоду Перекатов.

— Восемнадцать тонн, — сказал Лютров, — это, братцы, надо снижаться.

— Да, надо снижаться, - отозвался Углин. - И садиться в Перекатах. Что-то с топливом...

— Сколько до Перекатов, Булатбек? – спросил Лютров.

— Около двухсот пятидесяти, командир.

— Надо сниматься, — сказал Тасманов.

— И обратно двести пятьдесят?

— Обратно уже больше, — проговорил Чернорай.

— Командир, погода в Перекатах ясная, слабая дымка.

— Булатбек, настраивайся на Перекаты, — распорядился Лютров.

— Чтобы не возвращаться, — сказал Чернорай.

— Хорошо, — сказал Лютров. — А как вес? Если мы будем считать, что у нас восемнадцать тонн, а на самом деле вес будет большим? Как мы будем себя чувствовать на полосе аэропорта?

— Ничего, — отозвался Тасманов.

— Ты уверен, что топливо действительно уходит?

— Я грешил на приборы, но они работают.

— Значит, так, — сказал Углин. — Топливо у нас уходит с левой стороны, правая показывает правильно.

— Так.

— Вот и по расходному баку видно...

— Так.

— ...Поэтому... если мы ошибемся...

— Так...

— ...И у нас в Перекатах вес будет максимальный...

— Так.

— Сейчас я вам скажу... Сто, около ста двадцати восьми тонн. Ничего страшного не будет. А если мы не ошибемся, упадем без керосина.

— Верно.

— Давайте прямо на Перекаты.

— Булатбек, какие машины там садятся?

— «Ан-24», «Ил-14». Полоса хорошая.

— Ну, добро, пошли на Перекаты. Давай, Булатбек.

— Сейчас, командир, готовлю, — Саэтгиреев разворачивал карту.

— Костя?

— Да?

— Свяжи Славу с Перекатами, быстро. Слава?

— Да?

— Докладывай, что идем к ним аварийно.

— Понял.

— Слава, работай, — сказал Карауш.

— Понял. На какой станции?

— На обеих.

— Понял, на обеих... Я — 0801, я — 0801, у меня на борту непорядок, буду садиться у вас, доложите возможность посадки...

Сквозь шум с земли донеслось:

— Перекаты-один, Перекаты-один... Вас понял, посадку разрешаю.

— Вас понял. Повторяю: посадка аварийно, возможно — с ходу, обеспечьте полосу... Возможна посадка б ходу...

— Перекаты-один, Перекаты-один... Вас понял посадка с ходу.

— Алексей Сергеевич, — позвал Углин.

— Ау?

— Ощущаете крен самолета в правую сторону?

— Да, есть.

— Значительный?

— Нет, не очень.

— Когда будет значительный, скажете. Сколько до Перекатов?

— Двести. Ровно, — сказал Булатбек.

— Что, пора снижаться? — спросил Лютров.

— Подожди, — сказал Чернорай.

Его перебил Углин.

— Алексей Сергеевич, сейчас магистральный топливный кран перекрыт, будет крен, возможно, значительный...

— Хорошо, понял. А слева продолжает убывать?

— Да.

— Здорово?

— Костя, надо передать на наш аэродром, что аварийно садимся в Перекатах, — сказал Чернорай.

— Наш не слышит уже. Я через Перекаты с ним свяжусь. Слава, работай с землей.

— Я — 0801... Вас понял, снижаюсь... Курс сто тридцать пять. Повторите! Понял, курс — сто тридцать пять... Леша, занимай пять тысяч, курс сто тридцать пять.

— Понял.

— Командир, левые двигатели могут остановиться, — сказал Тасманов.

— Левые могут встать? Без топлива?

— Правые, а не левые, наверно, — сказал Чернорай.

— Левые, левые! — крикнул Тасманов.

— Горючее-то у нас держится на левой стороне? — У Чернорая были свои выводы после всего услышанного.

— Ушло с левой!

— Уходит с левой, — уточнил Углин.

— Командир, — сказал Карауш, — курс сто тридцать.

— Встанут так встанут, — сказал Чернорай, — на двух дойдем.

— Может, их прибрать, Алексей Сергеевич? Чтобы керосин не уходил? — спросил Тасманов.

— Прибрать?

— Да, левые двигатели. А то не дойдем.
— Рано, — сказал Чернорай, — мы провалимся.
— Как же пойдем на этой высоте на двух? — спросил Лютров.
— Ну, хотя бы один?
— Один можно. Убирайте... Слава, сними обороты с первого.
— На малый газ, - сказал Тасманов, - поставьте первый на малый газ.
— Сколько до Перекатов, Булатбек?
— Сто двадцать.
— А ближе аэродромов нет? — спросил Углин.
— Ближе нет.
— Ничего, ничего, — сказал Лютров, — потихонечку снизимся сейчас и пойдем... Попроси снижения, Костя.
— Понял.
— Что? Лучше не стало? — спросил Тасманов Углина. — Левый я прибрал, магистральный закрыт. Смотри, уровень держится?..
— Костя, как со снижением?
— Даю высоту две пятьсот.
— Курс?
— Курс сто тридцать.
— Понял.
— Все-таки уходит, — услышал Лютров голос Углина. — Что будем делать?
— Надо останавливать и второй двигатель, — сказал Тасманов.
— Второй? — спросил Лютров. — Давайте второй...
— Алексей Сергеевич, топлива осталось двенадцать тонн, нужно немедленно останавливать второй, — сказал Углин.
— Да, убирайте второй.
— Может, их выключить? — спросил Тасманов.
— Надо выключить и закрыть пожарные краны, — согласился Углин.
— Давайте, — сказал Лютров.
— Но мы же не дойдем, братцы! — воскликнул Чернорай.
Лютров понимал беспокойство Чернорая, тяги могло не хватить, но нужно было выбирать меньшее из зол.
— Дойдем, — сказал Углин, — если сто километров, то дойдем.
— Сто тридцать, — сказал Чернорай. — Булатбек, сколько осталось? Леша, погоди снижаться, а то мы сейчас...
— Иосаф Иванович, может быть, все-таки наверху пройти, топливо экономить? — посоветовал Лютров.
— Алексей Сергеевич, оно выходит быстрее, чем вы его экономите.
— Хорошо, выключайте оба двигателя.
— Рано, рано, — сказал Чернорай.
— Костя, проси аварийное снижение, на них прямо.
— Понял, снижение аварийно.
— Останавливаю двигатель номер один, — сказал Тасманов.
— Давай.
— Топлива одиннадцать с половиной тонн, — доложил Углин.
— Понял.
— Останавливаю двигатель номер два.
— Так, - сказал Лютров. — А вы правильно определили, откуда уходит топливо?

Он боялся, что ошибка может привести к остановке всех четырех двигателей: два выключат, два останутся без топлива.

— С левой стороны, это точно, — отозвался Углин. — Может быть, через бак, но, скорее всего, через двигатель.

— Понял.

— Но почему машина кренится влево? — спросил Чернорай.

— Как влево? Пустые баки слева и крен влево?

Но так оно и было.

— Леша, у тебя куда кренится, влево? — спросил Чернорай.

— Да, потому что два двигателя встали.

— Машина кренится из-за несимметричности тяги, — сказал Углин.

— Булатбек, — сказал Лютров, — дай Славе схему посадки.

— Топлива девять тонн, — доложил Углин.

— Снижаемся? — сказал Лютров. — Топливо больше не уходит? Кран перекрыт?

— Расход в норме.

— Следите.

— Костя, частоту Перекатов настроил?

— Да, Слава, работай.

— Они нас наблюдают? — спросил Лютров. — Пусть возьмут под контроль... Что сказали, Слава? Прямо садиться?

— Да. Шестьдесят километров до ближнего привода. Можно садиться с ходу. Ветер почему-то дает попутный, но полосе, — он протянул Лютрову схему посадки, — вот так... Так, зайдем, садиться сюда...

— Вес может оказаться большим, худо с попутным, полосы может не хватить.

— Алексей Сергеевич, — отчеканил Углин, — вес, к сожалению, маленький.

— Точно, да?

— Абсолютно. Керосину нет на машине, — сказал Тасманов.

— Сомнений нет, — подтвердил Углин.

— Слава, магнитофон включил?

— Да. Булатбек, удаление какое?

— Сорок пять километров.

— Курс у них посадочный какой?

— Сто сорок девять. Будем заходить по обратному лучу.

— Да, пусть помогут, — сказал Лютров. — У них что, плохой заход с этой стороны?

— Видимо, да, если посылают по ветру.

— Почему? Ты не знаешь?

— Нет. Надо запросить.

— Алексей Сергеевич, на двух двигателях сядем? — спросил Углин.

— Пока снижаемся... Там посмотрим. Прямая покажет. В крайнем случае, запустим перед посадкой один левый.

— И он моментально проглотит все топливо. Все топливо уйдет за две минуты.

— Сколько сейчас?

— Восемь тонн.

— И пока держится?

— Да, норма сейчас, — сказал Тасманов.

— Булатбек, сколько осталось до них?
— До Перекатов удаление... около сорока.
— Понял.
— Заведут с ходу, у них пеленгатор, — пояснил Саетгиреев.
— Слава, земля, работай, — сказал Карауш.
— Я—0801, я—0801!.. Снижаюсь аварийно... Прошу обеспечить посадку с ходу... На курс сто сорок девять. Вас понял. Как ветер?.. Да, продолжаю снижаться, скорость снижения... восемь метров в секунду. Снижаюсь па двух двигателях.
— Топлива семь с половиной тонн, — отметил Углин.
— Хорошо.
В кабине раздались редкие звонки.
— Это что, Булатбек, дальний привод?
Неожиданно заговорила земля.
— Перекаты-один, Перекаты-один... Рабочая длина полосы тысяча восемьсот восемьдесят метров... Земляные работы в конце... Обеспечьте торможение.
— Вас понял. Давайте удаление... Понял. Курс сто сорок девять? Понял.
— Второй двигатель у нас не работает, тормоза будут аварийные, командир, — сказал Тасманов.
— Хорошо. Сколько топлива, Иосаф Иванович?
— Топлива семь тонн.
— Слава, выпускай шасси.
— Шасси? Рано, на двух двигателях не дойдем, Леша, зачем? На прямой выпустим. Зачем тебе это нужно?
— Выпуск аварийный, могут долго не выходить.
— Выпустятся, на прямой снижаться будем...
— Тасманов, шасси будут нормально выходить?
— Шасси?.. Слабо будут выходить.
— Слабо?
— Да, медленно.
— Сейчас развернемся и будем выпускать, Слава.
— Будут заводить по локатору, — напомнил Саетгиреев.
— Слава, скажи, чтобы длинный заход не делали.
— Понял. Разворачивайся.
— Видишь полосу, да?
— Да.
— Скорость триста... Слава, посмотрим, шасси-то у нас...
— Не вышла правая?
— Правая нога не вышла.
— Аварийно выпускается, — сказал Тасманов, — медленно идет.
— Слава, держи скорость!.. Слава, скорость триста.
— Двигатели больше не дают!
— Тасманов!
— Да, командир?
— Запусти второй двигатель!
— Понял, запускаю...
— Магистральный кран открой! Второй, второй, — сказал Углин.
— Двигатель не идет, командир.
— Первый запускаю, — сказал Углин.

— Слава, машина падает! Держи обороты полностью, Слава!
— Двигатели не держат... Давай форсаж, Тасманов!
— Бортинженер, форсаж обоим правым!
— Есть обоим форсаж!
— И запусти какой-нибудь двигатель, - сказал Чернорай.
— Нет, ничего. — По полосе, как по ориентиру, Лютров видел, что форсаж восстановил нужную скорость снижения. — Шасси?
— На месте, командир, — ответил Тасманов.
— Хорошо, Алексей Сергеевич, — согласился Саегиреев. — Доворачивайте.
— Да, да... Форсаж есть?
— Да, — отозвался Тасманов.
Едва кромка полосы скрылась под самолетом, как колеса «С-44» гулко зарокотали по бетону.
— Хорошо... Вот так, — говорил Лютров, — убирай форсаж, Слава. Убирай двигатели, Тасманов.
— Понял, двигатели убрал.
— Хорошо. Парашют, Слава, парашют.
— Тормоза аварийные, — напомнил Тасманов.
— Понял. Славик, парашют.
— Есть, есть.
Все почувствовали сильный рывок выпущенных тормозных парашютов, а вслед за тем услышали голос Карауша:
— Ну, вот, а вы боялись...
— Проснулся, одессит... Вентиляторы, Слава, не забудь.
— Да, да.
— Братцы, а топлива осталось семь тонн! — сказал Углин.
— Спокойно, спокойно, полоса кончается, а мы еще не встали... Вон строительные машины, там люди... Тихо, тихо...
— Сейчас встанем. Все нормально, — сказал Тасманов.
Несколько раз качнувшись при включении тормозов, «С-44» остановился.
— Ну, вот, братцы, по-моему, ничего...
— Отлично, Алексей Сергеевич! — сказал Углин. — Айда разбираться.

Еще до того, как к огромной машине, казавшейся среди «ИЛ-14», «ЛИ-2» и «АН-24» осой, упавшей в муравейник, подкатил оранжево-черный «газик» руководителя полетов, высокого, подвижного человека в форме, из люка в нише передней ноги самолета по опущенной Тасмановым лестнице вышли один за другим все члены экипажа.

Из шести человек в коричневых кожаных костюмах только двое резко выделялись — Лютров ростом, как будто стеснявшим его, принуждавшим двигаться медленно и опасно, и Углин — пугающе худой, узкогрудый человек в очках, которые непременно соскочили бы с его длинного тонкого носа, если бы на пути к стыдливо розовеющему в любую погоду кончику не оказалось удобной впадинки. Бортрадист Костя Карауш и штурман Саегиреев выглядели одинаково стройно, в равной мере обладая той юношеской стройностью, которая ухитрялась уравнивать их в летах, хотя Карауш был почти на десять лет старше Саегиреева. Тасманов и Чернорай казались

братьями — одинаково коротконогие, с широкими литыми спинами и длинными руками, разве что Чернорай был заметно крупнее бортинженера.

Углин первым подскочил к двум спаренным двигателям на левой стороне и, ступив прямо в натекшую на бетон лужу керосина, принялся вскрывать капот двигателя.

— Что-то, по-видимому, с топливными трубами. Что-то с ними,— бормотал Углин, ловко орудуя отверткой в паре с подоспевшим Тасмановым, не замечая, что керосиновая капля падала ему за шиворот.

— Ну, конечно! Смотрите!

Все шестеро, несколько потеснив любопытствующего руководителя полетов, сгрудились под провисавшими створками капота, рассматривая плавно огибающую стальное тело двигателя белую трубу топливопровода. Там, куда указывала отвертка ведущего инженера, был виден сползший с места массивный, выточенный из нержавеющей стали стыковочный хомут с оборванным креплением, а в месте, где ему надлежало быть, зияла щель, через которую за часовой полет они потеряли несколько десятков тонн керосина.

— Н-нда,— Костя Карауш причмокнул и посмотрел на Углина взглядом ведущего расследование детектива.— Насколько я понимаю в кавалерии, мы должны были сгореть, многоуважаемый Иосиф Иванович?

— Маловероятно, Костенька. При таком истечении пожар маловероятен, мощный поток, насосы работали на максимале... Я их уничтожу! — неожиданно прибавил Углин, имея в виду не насосы, а фирму, чьи двигатели стояли на «С-44». — Такого пустяка не продумать!

Через час заместитель начальника аэропорта устроил экипаж в пустующей гостинице для летнего состава, установил охрану самолета, вручил Лютрову подтверждение приема посланной на летную базу радиограммы о вынужденной посадке, и когда Лютров протянул ему в знак благодарности руку, он задержал ее, неожиданно объявив:

— А я вас знаю.

Лютров внимательно посмотрел на крепко подбитого жирком человека в синей форме с золотыми шевронами, силясь вырвать из памяти ничем не примечательное улыбающееся лицо. Но тщетно. Он не мог вспомнить этого человека.

— Вот задача,— оказал Лютров и в самом деле озадаченный тем, что плохая память может иногда обидеть, черт возьми, хорошего человека.

А тот, как нарочно, терпеливо ждал, не стараясь опередить событие, уверенный, что вспомнить его — дело времени.

Не надеясь вспомнить, Лютров смущенно потянул вниз бегунок застежки-«молнии» на кожаной куртке (погода стояла жаркая для начала мая), взял из одной руки в другую небольшой мягкий чемодан с брюками, бельем, плащом и несессером: привычка брать с собой про всякий случай самое необходимое на этот раз оправдала себя.

— Так и не вспомнили? — полный человек снял фуражку, протер платком внутри околыша.

И тут в памяти Лютрова всплыло: ей, как видно, не хватало вот этих вьющихся волос, впадины на низком лбу и торчащих, как две приклеенные детские ладошки, ушей. Из «картотеки» памяти показался листок с расплывшимся портретом.

— Погодите... Мы с вами служили в училище!

— Да,— сказал тот,— вы были моим инструктором.

— Летаете? — спросил Лютров, изо всех сил стараясь вспомнить фамилию.

— Нет, меня вскоре списали.

— А, вот в чем дело. Поэтому-то я вас и не запомнил..,

— Кого-кого, а меня должны были запомнить... «Он решил замучить меня»,— подумал Лютров.

— Я ж вас чуть не угробил на экзаменах. И самого себя, конечно.

— Вот вы кто! Теперь я и фамилию вашу вспомнил: Молчанов?

— Колчанов.

— Простите, Колчанов... Однако время-то идет, а? — Лютров с улыбкой оглядел фигуру бывшего курсанта.

— Да, малость отяжелел! — Он засмеялся и похлопал Лютрова по плечу, давая понять проходящим мужчинам в такой же, как у него, форме, что этот рослый летчик-испытатель аварийно посаженного, стоящего под охраной, громадного самолета его приятель.

— Что, Алексей Сергеевич? Как говорится, подобные происшествия не каждый день бывают,— предваряюще начал Колчанов, заискивающе глядя на Лютрова.— Я сейчас звякну жене, закажупельменей, ну и всего преЙскуранту, как положено по такому случаю, идет?

— Не знаю, удобно ли? Незванный гость...

— Брось! — почти закричал Колчанов, маскируя восторгом переход на «ты», а может быть, считал, что сам факт приглашения в гости давал ему такое право.

Отметив это про себя, Лютров все-таки не мог устоять перед явной радостью бывшего курсанта, да и самой неожиданностью встречи.

— Честно говоря, званых-то я и не люблю, да и жена у меня...— начал Колчанов, но так и не договорил, что за жена у него.— А вот со старыми друзьями, тут уж!

«Пусть будут «старые друзья»,— решил Лютров,— никуда не денешься, вот только перед ребятами неловко — уединяться после такой оказии...»

В большом номере с половичками возле каждой из восьми кроватей за круглым столом с пустым графином лениво играли в «дурака» Чернорай, Саегиреев, Тасманов и Костя Карауш. На них были те же кожаные куртки, но вместо форменных — обычные брюки, да вместо верблюжьих свитеров — свежие сорочки. Углин сидел на кровати в голубом исподнем белье и, расставив на доске шахматные фигуры, решал задачу из какой-то старой газеты.

«Ждут. Собрались куда-то, позвонки»,— подумал Лютров.

— Леш,— неуверенно начал Костя,— мы тут решили...

— Взять шефство над местным рестораном?

— Поскольку завтра все одно делать нечего... Лютров поглядел на Чернорая и по его улыбке понял:

решай, мол, сам, меня уговорили. Саегиреев старательно потирал ладонью бритый подбородок, неумело скрывая свое причастие к общему решению. Тасманов переводил взгляд с сидящих за столом на Лютрова и улыбался, как школьник, за чью проделку в переплет попал сосед по парте. Лютров повернулся к Углину, подобравшему под себя худые ноги в шелковых подштанниках.

— Ваше мнение, Иосаф Иванович?

— Противопоказаний нет,— не отрываясь от шахмат, сказал ведущий инженер.— Более того: если начальство решит менять насосы, мы тут поживем.

— Ладно, валяйте.

— Командир, а ты вроде уклоняешься? — поинтересовался Костя Карауш.

— Да я тут своего бывшего курсанта встретил. Зовет к себе, и отказать неудобно.

— Везет людям.

Все, кроме Кости, вышли в коридор. Карауш замешкался у выхода, переступая с ноги на ногу, потирая руки.

— Что, одессит, никак поиздержался? — спросил Лютров.

— Надысь, понимаешь, разгончик учинил в сельской местности...

— Держи, хватит? — Лютров протянул ему двадцать пять рублей.

— Уложусь, надо полагать.

— Ну и смета у тебя, Костик, — заметил Углин.

— Вы, Иосаф Иванович, человек мыслящий, а не понимаете, что ресторан — учреждение с накладными расходами... Ну, бывайте.

Отправляясь в душ, Лютров не без интереса восстанавливал в памяти неожиданную встречу с человеком, который и в самом деле однажды чуть его не угробил. Но и оказался виновником другого, весьма важного события в жизни своего инструктора.

Годы в училище, трудные радости постижения дела, посвящения в профессию, внешне однообразные, они остались в памяти как непрерывное восхождение по долгой тропе, в конце которой начинался летчик Алексей Лютров. Он получил диплом с отличием, по еще до того начальник училища предложил ему работать инструктором.

Несколько следующих лет жизнь его не выбивалась из колеи служебного благополучия, и только в самом конце сороковых годов он ощутил первые признаки неудовлетворенности работой.

Сведения о новых самолетах, двигателях, скоростях, о создании школы летчиков-испытателей — все это будоражило воображение как предчувствие начала рождения, грядущего золотого века авиации. Где-то в опытных КБ клокотало настоящее дело, оно манило, работа в училище казалась рутинной, задворками авиации. Было много сил, молодость, чувство свободы, избыток любви к небу.

На имя начальника училища посыпались рапорты с просьбой отчислить в школу летчиков-испытателей. Но бумаги возвращались с неизменным «отказать». Когда Лютров решил, что исчерпаны все возможности, в училище пришел приказ откомандировать в школу одного человека из числа наиболее способных инструкторов. Написав еще по рапорту, инструкторы стали ждать, на кого выпадет жребий.

Это был третий курсант в то утро. Лютров принимал экзамены по технике пилотирования. Задание состояло из обычного комплекса фигур высшего пилотажа: переворот, «петля Нестерова», иммельман и переход в горизонтальный полет.

В верхней точке полупетли при завершении иммельмана курсант потерял скорость, но заученно отдал ручку от себя, ожидая перехода в горизонтальный полет. Не тут-то было. Машина завалилась через нос и, вращаясь, начала падать.

Перевернутый штопор. Ничего необычного. Это была классическая ошибка не очень способных курсантов.

Лютров напомнил:

— Перевернутый штопор. Выводи. Управление оставалось неподвижным. Машина падала, а курсант не отзывался. Забыл, что следует делать?

— Перевернутый штопор,— повторяет Лютров,— нужно убрать газ, ручку на себя, дай левую ногу...

Но ручка перед Лютровым, синхронно связанная с той, что в кабине курсанта, остается неподвижной. Неподвижен и затылок человека в передней кабине, словно все происходящее никак к нему не относится.

Больше ждать было нельзя. Лютров взял управление.левой ногой надавил на легко поддающуюся педаль, потянул на себя ручку, но она и не думала перемещаться. Рули? Трансмиссия управления? Что бы там ни было, а земля приближалась, через несколько секунд будет поздно.

— Прыгай! — приказывает он курсанту, с силой надавливая на кнопку СПУ, и, не слыша ответа, чувствует, как сознание охватывает обидное отчаяние, как противно слабеют мышцы. А затылок курсанта по-прежнему невозмутим, словно в задней кабине у него не инструктор, а господь бог... Значит, все? Да, все. Оглушенный курсант не думает выбираться из самолета. Оставить его и выпрыгнуть самому? Нет, он не настолько влюблен в себя, чтобы потом долгую жизнь, как вторую тень, носить за собой смерть этого мальчишки, которому вздумалось умирать вот так, головой вниз.

И тогда Лютров подумал о людях, провожающих глазами падающую спарку. Кто из них расскажет брату Никите, единственному родному человеку, о его гибели?

И не стало мыслей. Были сильные руки, было лихое, почти веселое желание испытать себя в последние секунды.

Левая педаль!

Ручку на себя! На себя! Сильнее! Еще!

На мгновение ему показалось, что голова курсанта шевельнулась. Собрался прыгать, дружок? Поздно, милый, посмотри вниз — и ты увидишь, как дрожат листочки.

Ручка согнулась? Подалась?

Спарка лениво прекращает вращение, машина управляема! Лютров дает газ, набирает скорость и от самой земли, когда всем на аэродроме показалось, что они услышали глухой удар упавшей машины, начинает крутой подъем.

Чувствуя прилив торжества над смертью, устыдившейся тупой бессмысленности жертвы, он делает сложную серию фигур, громко называя каждую из них нерадивому курсанту.

— Понял, как надо летать? — озорно спрашивает Лютров. — Понял, как славно жить, как надо бороться и какова на вкус победа?

Но курсант молчал, поглядывая то направо, то налево сквозь стекла кабины. «Что-то неладное с парнем»,— решил Лютров.

Он вывел самолет из зоны полетов, стал снижаться.

— Выпускай шасси,— четко сказал Лютров.

Из его кабины этого сделать были нельзя, управление выпуском не дублировано и находится в передней кабине. Курсант по-прежнему бездействует. Лютров принимается за испытанный способ: он раскачивает спарку так, чтобы ручка сдвоенного управления ударяла по коленям курсанта, авось догадается обернуться к инструктору. Догадался. Лютров показывает на пальцах: выпускай шасси! Кивнул, хоть и не очень уверенно, но на табло загорается очко: «Шасси выпущено». Боже, какое наслаждение сажать послушную машину!

На земле выясняется, что неплотно привязавшийся к сиденью курсант, зависнув в перевернутом положении, высвободил уложенный под ним в чаше сиденья парашют. Тугая сумка подалась вперед по полету, попала в пространство между сиденьем и ручкой управления, ограничив ее перемещение как раз на себя. Но одна беда не приходит: опрокинувшись, парень не заметил, что выдернул вилку шлемофона. Растерявшись, он и не пытался выяснить, почему не слышно инструктора. Непонятное поведение самолета, падение, штопор, молчание Лютрова — этого было более чем достаточно, чтобы в голове парня все смешалось, он забыл даже, что у него есть парашют.

Не на шутку тяготясь содеянным, незадачливый курсант и вообразить не мог, что сослужил добрую службу своему инструктору. Отпуская Лютрова в школу летчиков-испытателей, начальник училища был уверен в точном выполнении основного требования запроса, где говорилось о направлении в школу «наиболее способного, смелого и находчивого офицера из числа летчиков-инструкторов».

Вот уж чего он не мог предвидеть, так эту встречу! Иногда жизнь пробавляется маленькими чудесами, Лютров знал это, но его она не баловала. А тут поди ж ты! Ни один человек из его прошлого не удивил бы его больше, появившись он в этом аэропорту, чем его бывший курсант, которого он так и не сделал летчиком.

Городок стоял на взгорье. С одной стороны к нему подступали бескрайние луга, с другой — леса, все более редая к новым окраинам. С тех пор как в Перекатах, где не было железной дороги, соорудили аэропорт, город стал шириться и страдал от этого лес. От последних деревьев до новых жилых массивов простиралось большое пыльное пространство, выглядевшее неприветливо, захламленно, как и везде, где вековой покров земли взрывается ножами бульдозеров. А заживает потревоженная земля медленно, много медленнее, чем того хотелось бы человеку.

Лютров был уверен, что Колчанов живет где-нибудь в этих новых пятиэтажных домах, стоящих наискосок к новой, но уже разбитой, с отслоившейся скорлупой асфальта улице. Но черная «Волга», присланная за ним в гостиницу, пронеслась мимо новых зданий, затем резко сбавила скорость и принялась петлять по старинным мощеным улицам, мимо церковных оград, одноэтажных домов, большинство которых наивно красовались обложенной по фасадам разноцветной облицовочной плиткой. И столько грустного, незнакомо-давнишнего было в этом старании ушедших людей украсить свое жилье, что становилось совестно перед ними за тех ныне живущих, кто мог позволить себе посмеяться над их пониманием красоты.

Черная «Волга» остановилась у одноэтажного домика, очень похожего на те облицованные, по из силикатного кирпича, с несложным декоративным вкраплением красного по углам. За высоким зеленым забором негромко, каким-то жирным голосом залаяла собака, выскочившая на улицу, как только раскрылась калитка, прежде чем показался хозяин в белой рубашке и при галстуке. Ткнувшись к ногам Лютрова, собака смолкла и убежала во двор.

— Милости просим! — откинул руку Колчанов, ожидая, когда Лютров пройдет, чтобы закрыть калитку.— Спасибо, Витя,— сказал он шоферу,— завтра к четырем.

— Да, да,— отозвался шофер и стал разворачивать машину.

— Вот здесь я живу, здесь обитаю,— говорил хозяин, придерживая Лютрова за талию и легонько подталкивая

К крыльцу, куда вела тропинка из аккуратно уложенных квадратных плиток бетона.

Они прошли большую прихожую, где стоял старый диван и пахло собакой. Шагнув вперед, Колчанов предупредительно открыл пухлую, как стеганое одеяло, дверь, обитую дерматином.

— Марья Васильевна, принимай гостей! — удальски крикнул он уже в комнате, и когда Лютров шагнул за порог и остановился, снова положил руку ему на талию.

У стола стояла молодая женщина с чистым, привлекательным лицом, таким девичьи чистым, что оно казалось несообразным в сочетании с крупной фигурой, большой грудью и темным глухим платьем. Повернувшись к Лютрову, она машинально продолжала разглаживать расстеленную на столе белую накрахмаленную скатерть, всю в прямоугольных складках.

— Здравствуйте,— сказала она и вдруг густо покраснела.

— Здравствуйте,— ответил Лютров, чувствуя прилив оглуляющего смущения.— Вот... Так неожиданно... Наделал вам хлопот... Вы уж извините.

— Ну, что вы! Петя так ждал вас... И мне приятно, Присаживайтесь. И куртку снимите, в доме тепло, хоть мы и не топим давно. В этом году теплынь небывалая, май, а жара. Мои мальчишки в озера купаться бегают... Да садитесь же!

— Да, да. Спасибо, я сейчас.

На куртке у Лютрова, как на грех, застрял замок застежки-«молнии». Так и не справившись с ним и оттого смутившись еще более, он неуклюже потоптался возле стола и наконец решительно присел на пододвинутый ему стул — крепкий, дубовый, с красной обивкой.

— Вот это и есть, Маша, тот командир корабля,— заговорил Колчанов и, кажется, больше для Лютрова, чем для жены,— мой бывший инструктор, старший лейтенант Лютров, а теперь уже и не знаю, в каком звании... Курсанты его, как девушку, любили. Хоть он сам, помнится, монахом жил... Вот она, какая встреча, а!.. Мне в ту пору было девятнадцать, а ему... двадцать три?..

Улыбнувшись последним словам мужа, Марья Васильевна принялась хлопотать у стола, потом поспешила на кухню, а хозяин полез опустошать холодильник, стоявший почему-то в комнате, на самом видном месте, как и телевизор. Осмотревшись, Лютров приметил за остекленной дверью в смежное помещение как бы две копии одного и того же лица. Копии дружно улыбнулись, встретившись взглядом с гостем, и столь же дружно скрылись.

— Никак, близнецы? — сказал Лютров.

— Двойняшки,— подтвердил Колчанов.— Веришь, сам путаю, кто Мишка, кто Вадим. Одна жена и разбирается. Спрошу, как угадываешь: «Мои, говорит, рожал бы сам, различал бы...» Мишка! Вадим! Идите сюда. Да не бойтесь! Ну!..

Близнецы вышли, не без интереса подошли к гостю, пряча за сжатыми губами нехватку передних зубов, ладные, крепенькие, оба лицами в мать.

— Признавайтесь, кто из вас кто? — Лютров протянул руку и привлек ребятишек к себе.

— Он — Мишка, а я — Вадим... А вы летчик, дядя?

— Летчик. Похож?

— Ага.

— А ты кем будешь? Летчиком?

— Ага.

— Сразу видно, своих нет,— сказала Марья Васильевна, водружая на стол стопку маленьких тарелок.

— Как вы угадали?

— И жены, наверно, нет,— продолжала она, не глядя на Лютрова.

— Она у меня сквозь землю видит,— с шутливой опаской сказал Колчанов.

Лицо женщины вдруг стало чуть надменно, всего на мгновение, пока она глядела на мужа. Разложив красивые, с золотым обрезом тарелки, она вернулась на кухню. Пока Лютров беседовал с ребятами, хозяин извлек из холодильника бутылку водки, нарезанный широкими ломтями балык («сам наработал!»), черную икру в раскрытой банке, соленые грибы.

— Маша, скоро ты там? А то рефлекс зафурыкал, пора вовнутрь принимать.

Легким движением на ходу бросив передник на спинку стула, из соседней комнаты вышла Марья Васильевна. Взглянув на нее, муж на секунду застыл с запотевшей бутылкой «Столичной» в руке: жена переделалась. Теперь на ней было плотно облегающее вязаное платье фишашкового цвета с белой отделкой. Лютрову показалось, что она не только переделалась, но и преобразилась. И, присев слева от Лютрова, как бы говорила: вот такая я, если тебе интересно, а сама себе я не в диковинку.

После первой рюмки, как бы завершающей веселую суету начальной стадии встречи, Колчанов спросил тоном человека, знающего, о чем теперь следует говорить:

— У Туполева работаешь?

— Нет. У Соколова.

— Тоже фирма. Испытателем?

— Да.

— Сами пошли или послали? — спросила Марья Васильевна.

— Туда, Маша, не посылают. Это дело на любителя.

— Ну и платят, конечно, хорошо, а? Задарма-то никому не интересно гробиться?

— Ну, если гробиться, не все ли равно, за какую цену,— сказал Лютров.

— Все ж таки... Не за портрет в газете!

— Каждый находит работу по душе.

— При хороших деньгах всякая работа по душе,— смазал Колчанов, умело насаживая на вилку скользкий гриб. — Зачем жить и мучиться, если можно жить и не мучиться, как один мужик говорит. А у вас как: сел в машину и гадай, куда прилетишь, на тот или на этот свет. Воздух, мол, принял, земля примет, весь вопрос: как примет? Земля-то. До полосы не всегда дотянешь.

— В свое дело верить нужно.

— Это конечно. Ну, дай вам бог, чтобы все было хорошо!

Слегка опьянев, Колчанов заговорил о службе. Лютров едва слушал его сетования, более охотно вглядываясь в Марию Васильевну, занятую сыновьями, усаженными за стол на противоположной от Лютрова стороне. Мальчишки, в свою очередь, почти не слушали мать, торопливо глотали пельмени и во все глаза глядели на широкоплечего и высокого дядю, которому что-то говорил их отец, прихлопывая ладонью около тарелки гостя. Сложив руки под грудь, Марья Васильевна спокойно наблюдала, с каким интересом сыновья рассматривают Лютрова, иногда, словно заражаясь их немым вниманием, переводила взгляд на Лютрова, и всякий раз ему казалось, что она делает это

походя, без тени заинтересованности,— взгляд скользил, не задерживаясь на его лице.

Они с Колчановым уже допивали бутылку, а Марья Васильевна больше не дотронулась к едва пригубленной в самом начале застолья рюмке.

— И не уговаривай,— сказал Колчанов, разливая остатки.— Не пьет. У нее дед старовером был. У них в Сафонове одни староверы жили, к ним, говорят, пьяных-то и в деревню не пускали.

Колчанов засмеялся смехом человека, внешне подтрунивающего над таким положением вещей, однако не скрывающего, что выбрал жену из лучшего человеческого материала, как выбирал, наверно, холодильник «Днепр», приемник «Фестиваль», телевизор, черепицу на крышу дома, узорчатый линолеум на кухню, прочную полированную мебель и все, что находилось в пределах зеленого забора, разношерстное, однако ноское и дающее максимум того, что можно ждать от вещей.

— Вот ты спросил, чего я не летаю? — пьяно растягивая слова, сказал Колчанов.— Думаешь, меня по болезни списали? — Он посмотрел на сыновей; принял мину строгого отца и приказал: — Марш спать. Мать, гони, посидели, и будет.

Он допил свою рюмку и продолжал.

— Я в училище как попал? Сдуру. Развели агитацию в военкомате, ну я и пошел. Одно слово — летчик! А чего мне слово? Чего в нем, в слове-то? Ты летишь, а никто и не знает, кто летит и куда летит. Вот ежели гробанешься, может, и узнают. Вот тебя во всем городе один я узнал, а не дотянули бы — все узнали. Помнишь Котцярова? Красавец парень! А после аварии? На «Ла-9»? Нет, думаю, это дело не по мне.

— Будет тебе,— спокойно сказала Марья Васильевна. Она смотрела на вспотевшего мужа отчужденно, ее сжатые губы выражали брезгливое пренебрежение.

— Ты бы Алексею Сергеевичу охоту устроил на зорьке... Вы же охотник? — обратилась она затем к Лютрову.

— Опять угадали. А что, есть куда сходить?

— Заметано,— послушно отозвался муж.— Мне завтра нельзя, на работу к четверем, а тебя шофер подбросит на луга, к Сафоновским озерам. И собаку возьми. Па-ар-шивая собака, но из воды подаст, только потому и держу. Ружье?.. Сейчас.

Он встал и нетвердо вышел в соседнюю комнату.

— Откуда вы? — просто спросила женщина.

— Живу в Энске, работаю в пригороде... Правда, сейчас мы летаем не со своего аэродрома. — Лютров вдруг замолчал, по лицу женщины тенью скользнуло выражение сожаления, словно он говорил совсем не о том, о чем она спрашивала.

Не дослушав, она вышла на кухню. Вернулся Колчанов. В руках у него было ружье и патронташ, набитый красными патронами.

— Вот. «Зауэр». Бой — что надо. Плащ и сапоги в прихожей.

Марья Васильевна внесла большую кастрюлю с пельменями. Первую тарелку она подала Лютрову, не взглянув на него, потом мужу.

Колчанов наклонился над горкой пельменей, окунув лицо в густой пахучий пар.

— Как тут вторую не откупорить, а? Маш?

Марья Васильевна покосилась на Лютрова, спокойно ожидая, что скажет

он. Лютров отрицательно покачал головой.

— Тебе больше нельзя, — холодно сказала она. —

— Маша, такой гость!

— Тебе когда вставать? Будешь свободный — пей.

— Во, понял? И все.

— Жена права, Петр Саввич. И мне хватит, завтра начальство мое прилетит, неудобно.

— Молчу! Дело есть дело.

Лютров слушал одни и те же разглагольствования о «плохом постанове дела», об отсутствии необходимой наземной техники для обслуживания самолетов, о том, что в Перекатах не хотят жить летчики, а стюардессы развратили местных барышень короткими юбками («У нас такое ни в жизнь не обозначилось бы, а тут — форма!»); что механики ничего не смыслят в своем деле и задарма получают деньги.

Лютров хорошо знал весьма распространенную категорию людей, которые видят огрехи везде, начиная от месткомовских постановлений и кончая модой на длину юбок, что не мешает им извлекать пользу из каждой буквы закона. А то, что Колчанов принадлежал именно к этой малопочтенной категории, Лютров не сомневался. В душе ему было наплевать на хорошие и плохие «постановы дела», он и не жаловался, а лишь доказывал свою непричастность к тому, что некогда может быть поставлено ему в вину.

— Будет, — остановила его жена, — совсем заговорил человека, а ему и отдохнуть нужно, десятый час!

— Это верно. Ты ему постели.

— Не твоя забота. Ступай ложись, — сказала она и направилась в соседнюю комнату. Колчанов послушно поплелся за ней. Через десять минут Марья Васильевна вернулась. В руках она держала большую подушку со свежей, только что надетой наволочкой, простыни были зажаты под мышкой.

— Я вам здесь постелю, это у нас самая большая лежанка, — улыбнулась она, подходя к тахте у окна.

Не давая себе отчета, зачем он это делает, Лютров поглядел в приоткрытую дверь спальни хозяев.

— Спит уже, — ответила она на его взгляд, — он как сурок: чуть выпьет или поест поплотнее — и разомлеет... Головой слаб.

— Я начинаю верить, что вы и в самом деле угадываете мысли, — сказал Лютров. Минуту она невозмутимо взбивала подушку.

— Разглядеть человека много ума не надо. А такой, как мой Петя, сам себя кажет: пригласил в гости, чтоб потешиться, вот-де какие у меня приятели, и сам же охаял вашу профессию, потому как не осилил... Чего в нем невидного? Ест, болтает одному себе в лад, и весь тут. Вот вы летаете, давно, поди, если мужа еще обучали, значит, дело по плечу вам, так и это видно... Человек вы не суетливый, глядите спокойно, весь для людей, тихий, вроде бы сторонний. Значит, сильный. Не кулаками, душой. А уж коли человек сильный не в начальниках ходит, значит, делом мастит да совестлив: ему людьми-то понукать стыдно, совесть не велит... Моему только дай власть, он всякому укажет, со всякого взыщет, всякого служить заставит, потому как совесть для него китайская книга: хоть год гляди, ничего не выкажет... А такие, как вы, совесть-то хранят свято, неприкосновенно, как намогильную плиту материну.

— Люди скрытны, Мария Васильевна, иногда их принимают за тех, кем они хотят выглядеть.

— Верно, иной и вырядится в человека, а приглядишься, дурак и скажется...

Лютров слушал женщину, как, наверно, в давние времена слушали пророчиц: от нее исходила покоряющая уверенность в своем всепонимании. Она говорила, как стелила постель, — споро, без лишних движений, нисколько не сомневаясь, что брошенная простыня ляжет так, как то должно быть.

— Прислали к нам молодого врача из Москвы. Давно это было. Высокий, волосы на лоб зачесаны, бородка стриженная, а самому лет тридцать. Стали бабы говорить: чудак, мол, а дельный, лечит знающе, заботливо. Что ж, думаю, чудного-то в нем, коли врач знающий? Борода на мужике не велика чудинка. Оказывается, висит у него на дверях записка, что входите, мол, все, кому до меня нужда, а попусту только белым синьорам можно. Что это, думаю, за белые синьоры? Санитарки, что ли?.. Шла как-то мимо, дай, думаю, зайду. Он у нас через два дома жил, у бабки Саши. Комната у него с отдельным входом, а на дверях и верно записка под стеклышком: «Входите, если нужна помощь врача, начался пожар, наводнение или вы белла синьора». Вот оно что... Вхожу. Сидит за столом в сорочке, не оборачивается, говорит: «Минутку». Стою. Долго писал, потом повернулся, поправил очки вот эдак, — она растопырила пальцы как пианист на октаву, — и говорит: «Слушаю». Разглядела я его получше и отвечаю: «Записку-то с дверей снимите». — «Это почему?» — «Пожар случится, выскочите. Наводнений у нас не бывает, а красивые женщины по объявлению не придут». — «Однако вы пришли». — «На дурака пришла поглядеть». Сказала, с тем и ушла.

— А вы злая.

— Не велико зло одернуть человека, коли тот выставляется.

— И снял записку?

— Дураки-то, они упрямые... Бабкина дочь приехала, она и сняла, да и его, голубчика, заодно прибрала к рукам, хоть и старше годами. Теперь в Энске живут, сошлись. Он, сказывают, с женой развелся, ее предпочел, несмотря что у нее — Валера, дочь взрослая... Отец-то ее совсем молодым помер, болел сильно... Хоть и шальная баба была, но и красавица, это уж чего там... Родить родила, а растить бабке Саше пришлось. Мать-то свою Валера не во всякий праздник видела. Появится в Перекатах на неделю, да и умахнет на год. Все в какие-то экспедиции ездила. Теперь муж ездит... Отчим в экспедицию, а Валера к матери погостить... Так и живут. Да в этот раз что-то не путем сорвалось. С работой рассчиталась, в тот же день билет взяла на самолет, ей муж мой доставал, со скидкой. А завтра, гляди, и умахнет... Девушка она хорошая, уважительная, да путных людей не знала. Маленькой была — обижали, кому не лень, выросла, тоже тунеядцы какие-то вокруг выются. В Энске-то, может, и замуж выйдет за хорошего человека или учиться пойдет... Да только отчим вот, говорят, против, чтобы она у них жила. Я-де своих детей бросил не для того, чтобы чужих кормить. Да и то, правду сказать...

Стоя у открытой форточки с сигаретой, Лютров слушал ее негромкий голос, следил за снующими над столом руками женщины, споро прибирающей посуду, и все больше проникался неприятием духа этого дома, его устоявшейся тишины, красных дорожек на хорошо выкрашенном полу, делающих неслышными шаги хозяйки, безропотного признания Колчановым превосходства жены, его собачьего послушания, а главное, того смысла сожительства этих разных людей, которое принижало их человеческую значимость. Что связывает их? Какие общие жизненные задачи они подрядились выполнить, несмотря на презрение женщины к мужчине? Причем

она даже не пытается это скрыть не только от него, но и от посторонних, а он понимает, не может не понимать, а значит, принимает такие условия, это не приводит ни к разрыву, ни к другим осложнениям, а напротив, не мешает им жить, растить сыновей и считать себя вправе корить образ жизни других.

Он едва сдерживался, чтобы не спросить, как это она со своим умом, проницательностью, своей недюжинной внешностью наконец выбрала в спутники себе человека явно не по плечу?

— Вы давно замужем за Петром Саввичем?

— Мужа моего мне дедушка присоветовал, — сказала она, словно не слышала вопроса, и едва не рассмеялась, приметив на лице гостя смущенную растерянность. — Вам ведь не то интересно, сколько я прожила с Петром Саввичем, детишки-то вон они, а что я в нем нашла... Дед у, меня, как бабка Саша для Валерии, одним родным человеком был. Отец на войне убит, мать померла, а дедушка жил и жил, и все книжки читал — старые, в кожаных переплетах, иных не признавал. Прочтет что ни то поучительное, меня зовет: «Слушай, внученька, набирайся ума. Ум что казна, по денежке собирается. Хорошие мысли не блохи, сами не набегут... Книга писана человеком крайнего ума. Вещие, говорит, слова, про нынешнее время сказано, а потому должен я увидеть, какой такой человек приданным твоим распоряжаться станет».

Последние слова хозяйка проговорила со спокойной уверенностью в их правоте, и после некоторого молчания — стоит, нет ли? — уточнила, что за ними разумелось:

— Мужниного тут немного, дом на дедушкины деньги ставлен... И уж совсем от болезней захирел, едва ходил, а все свое, все обо мне. «Какой парень глянется, ты, говорит, его ко мне, поглядеть». — «Ну тебя, говорю, дедушка». — «Да не бойся, внученька, неволить не буду, решать тебе, потому как равенство, а поглядеть приведи, может, и мое слово нелишне будет».

Лютров улыбнулся, ожидая, что и хозяйка усмехнется вздорным, на его взгляд, словам деда, но лицо ее оставалось неизменно спокойным, как и скупые, небрежно ловкие прикосновения Пальцев к убираемой со стола посуде.

— Когда аэропорт строили, народу понаехало много. Из деревень, да и совсем не наших. Клуб на стройке открыли, танцы почитай каждый день. И я раз увязалась за девушками. А как пришла да поглядела на приезжих женщин — груди вздернуты как повыше, повидней, бери, мол, кто смелый, твое. Губы крашены, ресницы крашены, в туалете курят, юбки в обтяжку... Испугалась я, вспомнила дедушкино чтение, да и бежать оттуда. Девчата меня за руку, погоди, ошалела, что ль, вместе пойдем... А рядом парень стоял в форменном пиджаке. «Правильное решение, говорит, девушка. Я тоже в город, говорит, так что могу проводить, если не возражаете». Поглядела, парень не особо крепкий, если что — уберегусь, да и в форме. Так и познакомились. С полгода ходил к нам. «Как, говорю, дедушка, приглянулся Петя?» — «А ничего, ничего... Головой не силен, но гнезда не разорит. Коли не жаль девичества, выходи, будешь сыта и обогрета».

Последнее было сказано негромко, из некоего отдаления, словно она не рассказывала уже, а размышляла вслух о ей самой непонятных вещах.

— Что ж, надо думать, прав оказался дедушка, — сказал Лютров.

«А вот девичества вам жаль», — заключил он про себя. Хозяйка вскинула на него внимательные глаза, будто услышала не то, что он сказал, а что подумал, но лицо ее не изменилось, и в невозмутимости этой жила, уютно угнездившись, некая прирученная и послушная правота. «Что бы вы там ни

подумали, — говорило это выражение, — а у меня свой расчет, не вашему пониманию чета».

Прибрав белую скатерть, под которой оказалась темная, бархатная, она прошла на кухню, погасила там свет, вернулась, включила бра у изголовья над тахтой, выключила большую люстру в виде цветка ландыша, пожелала гостю спокойной ночи и прикрыла за собой дверь спальни.

Лютров еще докуривал сигарету, когда за дверью в прихожую заворчала и несколько раз пролаяла собаки, послышался стук.

— Кто-то свой, — определила хозяйка, выходя в халате и наскоро закручивая в узел длинные волосы.

Она долго не возвращалась. Из всего приглушенного толстой дверью разговора Лютров разобрал только несколько раз повторенное просительное обращение: «Тетя Маша!» Наконец дверь открылась, и вместе с хозяйкой в комнату вошла высокая девушка в плаще и с чемоданом, обе стороны которого пестрели крупной белой клеткой по синему фону. Что-то необычное почудилось Лютрову в ее лице.

— Здравствуйте, — охотно, но тихо проговорила девушка, сверкнув огромными глазами. Она сразу внесла в дом нечто молодое, шумное, свободное.

— Видишь, — твердо проговорила хозяйка, имея в виду гостя, — так что переспишь на кухне.

— Ой, конечно! Спасибо вам, тетя Маша! Она так искренне благодарила хозяйку, что когда поворачивалась в сторону Лютрова, глядела и на него с благодарной улыбкой, и тогда он снова видел сверкающие глаза, но как ни пытался, не мог получше разглядеть в полутьме комнаты наполовину угаданную им красоту лица девушки.

— Снимай плащ и иди в кухню, дай людям покой, — строже, чем следовало, с нотками ревнивого укора в голосе сказала Марья Васильевна, стремительно направляясь в спальню.

Девушка поставила чемодан у двери, сняла «болонью», выказав острые маленькие груди, укрытые алой кофточкой, быстро повесила плащ на вешалку и послушно проследовала за Марьей Васильевной, неторопливо несшей подушку и байковое одеяло. Тощий постельный набор соответствовал застывшему на лице ее непреклонному неудовольствию, и потому Лютров решил, что попросившая ночлега девушка принадлежит к тем знакомым хозяевам дома, с которыми здесь не церемонятся.

На кухне зажегся свет, послышалось лязганье распорок раскладушки, донесся шепот: «Я сама, тетя Маша!»

Когда хозяйка выходила, Лютров успел через открывшуюся дверь заметить склоненную фигурку девушки, осыпавшиеся на лицо длинные прямые волосы.

В доме снова все стихло. Лютров принялся возиться с застрявшим внизу бегунком застежки на куртке и увидел вдруг слева на полу полосу света, тянущуюся в сторону кухонной двери. Обернувшись, он разглядел из приоткрывшейся кухонной двери призывные взмахи Валериной ладони. Он подошел. Его еще раз поманили, чтобы он склонился пониже.

— У вас есть сигареты?..

Лютров увидел предостерегающе приложенный к губам указательный палец. Он понимающе кивнул и просунул пачку.

Пока она неумело вытаскивала из пачки сигарету, дверь приоткрылась побольше, показалась матово-белая рука, худенькое плечо с пересекающей

ключицу бретелькой и кружевное начало сорочки.

— Спасибо, — шепнула она, возвращая обернутую целлофаном пачку.

— Вы ужинали?

Она отрицательно покачала головой.

— Там пельмени, поищите.

Она едва не прыснула от его заговорщицкого тона.

— Как вас зовут?

— Алексей.

— Меня Валерой... Спокойной ночи!

Когда Лютров разделся и лег, он вспомнил, что о Валерии хозяйка ему уже говорила. Это она наезжает к матери в Энк. Лютров долго прислушивался к тишине за дверью кухни, к тонкому пружинному скрипу раскладушки, представляя ее лежащей на ней, свернувшись калачиком, дышащую кухонными запахами, тяжело томился на своем снежно-белом крахмальном ложе. К удивлению самого себя, он вдруг как-то отчетливо понял, что же объединяет хозяев этого дома — неудавшегося летчика Колчанова и эту расчетливую женщину. Превыше врожденного гостеприимства и даже материнства и отцовства здесь почиталась тихая и прочная сытость. Умри завтра Колчанов, и сюда не преминут завлечь другого, столь же немудрящего и настырного добытчика покоя и обеспеченности.

Собака и впрямь была скверная. Избалованная вниманием и сытой кормежкой, развращенная бездельем, она рано постарела, поглупела и страдала одышкой. По званию это был дратхаар, по происхождению аристократ, хоть и без герба, но с гербовым свидетельством о предках, до пятого колена, как сказал хозяин, когда они ехали в машине. А по существу лентяй и шаромыжник, как и всякий опустившийся дворянин. Воды пес не терпел, подходил к ней с кошачьей брезгливостью и, если нельзя было обойти мелководье, он заглядывал в лицо Лютрову, будто спрашивая:

— Доколе брести-то?

Близко к чистой воде было не подойти, пришлось устраиваться на краю заболоченной части большого озера, на противоположной от восхода солнца стороне раскидистого ольхового куста.

С полчаса Лютров внимательно оглядывал небо над водой, ожидая начала лета утиных пар, но медленно ясневшее небо оставалось пустым.

От края болота, где они с дратхааром без толку отсидели долгую зарю, и до холмов вдали тянулась уже тронутая зеленью равнина. Небо скрыли облака, и, хоть давно наступило утро, все казалось, никак не обедняется. Обходя одну из бесчисленных мочажин в поисках уток, Лютров наткнулся на человека в тужурке на поролоне, какие иногда выдают егерям. Он стоял спиной к нему и скучающе размахивал толстым прутом, целясь в нечто у ног. Подбежавший дратхаар вывел человека из задумчивости. Малое время они смотрели друг на друга. Пес, видимо, подыскивал другого хозяина, пусть с палкой, лишь бы избавил его от утренней сырости и вернул на старый диван в снях.

Оглядевшись и приметив Лютрова, человек зашагал в его сторону. Шел он улыбаясь, будто с подарком, и Лютров невольно улыбнулся. Хитро сощурился глаза, человек ткнул палкой в сторону обманутого в своих ожиданиях дратхаара и проговорил то ли насмешливо, то ли сочувствующе:

— Испачкался.

Человек был стар, худощав, мал ростом, но быстроглаз и подвижен. Когда он, здороваясь, приподнял трех, на его небольшой круглой голове

обозначились короткие, совсем белые волосы, не только подчеркнувшие старость его, но и придавшие ей черты благолепия.

— Нетути, видать, дичи-то?

— Не видно, отец.

— То-то и оно, милоч, то-то и оно, — по-деревенски напевно посочувствовал старик. — В тридцатом годе утей этих летало — и-их!.. Несметно. Ноне же воронье одно. Оно, сказывают, по триста лет каркают, мать-перемать!

Он оглядел небо, словно выискивая исчезнувших утей.

— Эвон за тобой бугорок?.. Оттуда и до самой реки старица ширилась, угодя, значит. Пересохло. А с чего — неведомо.

Грех не помочь хорошему человеку, если ему хочется поговорить.

— Сами-то откуда, папаша?

— А из Сафонова, — он махнул рукой в сторону лугов. — Так и прожил при этой земле всю жизнь.

— Сколько же вам?

— Годов, что ли? А девяносто без одного, о как!.. Холеру помню. Я один и помню. Бугорок я тебе указал, так в ем холерные упокоены, яма в том месте была, туда и носили.

— И много померло?

— Да почитай вся деревня. Мы, Комловы, да Козыревы, да Боковы, да Ярские — только и родов осталось по неизвестной причине. Может, бог уберег, а может, бахтерия облетела, это как хошь понимай.

— Говорят, у вас в Сафонове одни староверы жили?

— Жили... Теперь ни старой веры, ни новой, всяк по своей живет. Вот и я сам по себе живу.

— Здоровье у вас хорошее.

— Ничего здоровье. С молодости не жалился, а теперь пуще. Это ведь как: до полста тянуть тяжело, вроде в гору, а с горы-то, сам знаешь, легче.

Старик все больше нравился Лютрову. От сигареты, предложенной Лютровым, отмахнулся:

— Не приучен. Отец табаку не терпел.

Говорил он выразительно, с легкой хрипотцой и с той непередаваемой опрятностью в голосе, за которой, как за фанерой перелистывать книги — угадывается библиофил, виден душевно талантливый человек.

С полчаса они говорили о разных разностях, а когда Лютров посетовал, что взятая им у хозяина собака явно не охотник, старик посоветовал:

— Шагай на гидру. Отмой да верни ее, шельму. Тамошняя вода чистая, колодезная, и берега песчаные.

— Что за гидра?

— Да пруд выгребла эта... механизация.

— Гидромеханизация?

— Она.

— Намывают что?

— Моют, мать-перемать. Дорогу на Курново.

— Далеко ли идти?

— Не. Пойдем, укажу. Пусть животная поклюеть индивидуально. Корова тут у меня в низине, старуха пасть посылаить, на свежие корма, да опасается, утопнет Буренка в болотине.

Пруд оказался в самом деле недалеко.

Они прошли заросли ольхи, спустились с песчаного берега к воде и, как по команде, остановились. На отмели вполоборота к ним стояла нагая женщина. Она была вся в брызгах. Ладные ноги, медлительная основательность движений...

— Иришка, никак! — охнул старик. — Ей-богу, она... эка ладная баба, мать-перемать... Бежим, однако, милоч, не в кине.

Они вернулись на другую сторону бугра и црисели у кустарника. Дратхаар вопросительно глядел на Лютрова.

— Матрены Ярской дочка, — доверительно прошептал старик. — В любую непогодь купается. Ишь где ярдань сгношила, сюда идти-то в полчала не управишься... Хороша, а?

— Хороша, старик.

— Блюдеть себя... А ради кого? Ей уж за сорок, а ни мужика, ни робят.

— Что так?

— А вот так. Был у ей муж, адакий с придурью. Мишка Думсков. Да житья-то промеж них с месяц никак всего и было. К матери сбежала.

— Случается.

— Чего не бывает, — согласился старик, отнюдь не утешившись таким выводом.

Метрах в трехстах над землей пролетел «Ан-2». «Видно ли ее сверху?» — подумал Лютров и подивился ревнивому чувству. Когда самолет затих, старик принялся говорить, раздумчиво, повествовательно, как это ведется на Руси, когда рассказчик приглашает посетить прошлое.

— Отец ейной, Павел Ярской, крепкий мужик был, в плотницком деле умелец, веселой души человек. Выпить любил, однако ума не пропивал, не охальничал. Дочь баловал, это да. Услышит бывало-ти, парни из-за Иришки передрались, гордится: «Ай, девка!.. Слышь, мать, председателю-то парню в месяц не отлежаться. Молодец, Иришка, отцова дочь! Знай наших! Теперь — живи, малец, помнить будешь!» У него присловье такое было — живи, помнить будешь... Да... В девках Иришка-то красавица была, парней возля нее как пчел. Где какая гулянка, она первая плясунья. Отец не противился. «Гуляй, говорит, сколь хочешь, нету моего тебе запрету, чтоб не гулять. Но коли нагуляешь по-бабьему, вот те слово — убью. Одна ты у меня, оттого не пожалею. Не спеши, свое возьмешь». Оно бы и впрямь так было, да тут война. Мужиков вымело. Иные-другие выходили замуж абы как, себя жалеючи, она — нет. Мать говорила, отца ждала, чтоб, значит, на свадьбе погулял, а его, Павла-то, в сорок четвертом под Яссами румынскими убило. А как война прогудела, то и парней-то ей под стать не шибко убереглось. Уходили миром, а вертались по одному... Ты вот скажи, милоч, верно ли, будто немцы в охотку воюют, от характера якобы?.. Все-де им нипочем?

Выслушав ответ Лютрова, старик ухмыльнулся невесело, пожал плечами.

— Может, и верно толкуешь, только, в пример, русскому человеку, как ни шей, не пришьешь такую воззрению, чтобы всякого инородца ни за что изничтожать. Не тот предмет. Мы народ людской, в добре славу почитаем.

Старик привстал, высматривая корову в просвете менаду кустами.

— И где она там, мать-перемать?.. Ну да ладно, не топор, сразу не утопнет.

Выглянуло солнце — словно развело огненным дыханием плотную пелену облаков. Мир повеселел. Ярче обозначилась девственная желтизна песчаного обрыва по ту сторону пруда, а за ним, присмотревшись, можно было увидеть тускло-медные стволы сосен на окраине Сафонова.

— Помню, свадьба у них неладом справлялась, не сладко на ней елось-пилося. Жених что ни слово — трясется паяцем, убью, орет, мне все нипочем,, потому как я Берлин брал, а вы тут одне тыловые крысы... Люди, какие с фронта приходили, солдатского звания не теряли, а этот...

Старик разволновался. Голос его все более суровел, становился неприязненным, словно он не рассказывал, а оспаривал несогласие собеседника.

— Мальцом-то парень как парень был. Суродовала человека война, на всю жизнь спортила. И Иришку через него достала. Девкой жила как летела, а замуж вышла, глядь, и без крыла. Помаялась с месяц да вернулась к матери, все меньше сраму. А тому раздолбаю и горя мало. «Таких баб и где хоть найду. Подходи и «битте пробирен». По сей день побирается, а жены все нет... Э, чего уж там!

Он поднялся и оглядел пруд.

— Иди, мой кобеля... Ушла.

Женщина уходила ленивой походкой рослых людей. Свободного покроя платье сминалось на влажном теле крупными складками. Они молча смотрели ей вслед.

— Идет, а куда идет?... Нехорошо бабе эдак-то, без мужа, без робят, а? Нынче как понимают?

— Нехорошо, отец.

— Чего хуже... Однако ж иттить пора, а то, гляди, взаправду сгинет старухина частная собственность.

Он попрощался и боком спустился в ложбину, заросшую ольхой.

А Лютров все глядел в спину уходящей, испытывая какое-то родственное чувство к ней. Судьба Ирины Ярской, не поступившей своим человеческим достоинством ради ущербного благополучия Марии Колчановой, представлялась ему жестоко неправомерной. Разве может быть так неможно человеческое достоинство, так слепа и нетребовательна жизнь, наделяющая людей своими благами?

Он сидел над обрывом, следил, как бегут по лугам тени распуганных солнцем облаков, и был в том состоянии, когда впервые для самого себя открываешь, во что повергает людей вынужденная посадка. Дальше лететь невозможно, время девать некуда, невольная остановка вперед распisanного движения подсказывает: остановись и ты, подумай, все ли есть у тебя для большой дороги... А что пройдено, то пройдено. Хотел ты того или нет, все, что было с тобой и чего не было, — твое. А ты — это тончайшая вязь духовного, накопленного тобой, и если до сих пор казалось, что жизнь твоя выткана из всего хорошо осмысленного, то, наверно, потому, что ты никогда не задумывался, так ли это. Ты глядел только вперед, как в полете у земли, когда набираешь скорость.

Впрочем, нельзя сказать, что ты никогда не задумывался, так ли все ладно у тебя. Разве ты не думал об этом осенью, получив от вдовы брата Никиты записки о детстве?... Ты держал в руках записки брата и в тайной тревоге думал: кому от тебя перейдет память о них, твоих родных людях — матери, деда, Макара, брата Никиты?

Но тогда эта тревога незаметно оставила тебя, как недолгое недомогание. Она не могла пустить глубоких корней, потому что рядом был Сергей со своей веселой уверенностью, что, несмотря ни на что, все на этом свете идет как следует...

Ничто так не отяжеляет прожитых лет, как потери. Лютрову тридцать

восемь, и это не молодость. Молод Долотов, о котором даже Боровский говорит: «Этот мальчишка заставит себя уважать». Но и «мальчишке» тридцать четыре. И все-таки он молод, молод какой-то нелегко уловимой внутренней напряженностью юноши, который обрел самую нужную, самую пригодную для жизни форму, и его невозможно застать врасплох — так содержательно ловок он.

Из стариков летает один Боровский, живая реликвия фирмы. Летает и не думает уходить на пенсию, как это сделал Фалалеев, которого Боровский еще до войны учил летному делу, а затем перестал замечать и даже здороваться. Теперь уже ветеранами считают их — Гая, Козлевича, Лютрова, Костю Карауша. Остальные пришли по-разному, позже. Каждый год приходят молодые ребята. Они зовут Лютрова по имени-отчеству и, кажется, любят его. По крайней мере, так говорит Гай. Среди молодых есть настоящие летчики. В них что-то от Бориса Долотова.

Но Лютрову не обрести больше такого друга, каким был Сергей Санин. Хоть Лютров и любит Гая, чувствует, ценит его внимание. В те трудные дни после гибели Сергея Гай будил Лютрова телефонными звонками по утрам.

— Встал?

— Ага.

— Оскоромился надясь? — не очень весело звучал в трубке его голос.

— Малость.

— Отмокай... Погода плохая, считай, свободен от полетов.

— Нет, Гай, я приду.

— Своди на ус... И забегай вечером, жена просила, Житья не дает, ругается, говорит, тебя, крошку, все бросили.

— Жениться тебе надо, — наставительно шептала золотоволосая жена Гая, — или просто сойтись с женщиной.

— А с замужней можно?

— Боже, конечно! — принимала она шутливый намек. И спрашивала недоуменно:

— Как же это ты один? С ума сойти. Была же у тебя..., эта... длинная, зеленая? Лютров усмехнулся.

— Ладно, пусть не она, пусть другая, — продолжила жена Гая, и голубые ее глаза излучали душевную теплоту щедрой на сострадание русской бабьей натуры.

Где же она, эта женщина, которая займет в его душе место матери, друга? По доброте душевной жена Гая предполагает, что стоит Лютрову захотеть, и ему повезет. Совет счастливой женщины. Как бы она отнеслась к такому совету, будь Гай на борту «семерки»? Где и как искала бы она все то, что нашла в коричневых глазах мужа? Знает ли она, что Гай — это все, что выпало ей, что больше ничего не будет? Как ни приспособляйся к мыслям, голосу, рукам и телу другого, рожай ему детей, но тебе никогда не будет так, как было с ним. И никакие советы не помогут.

Видимо, и впрямь не хватало ему вынужденной посадки, старого города Перекаты, чтобы так больно прикоснуться к собственному одиночеству, взглянуть на самого себя с тем же участием, с каким сострадал гордой женщине Ирине Ярской девяностолетний человек. Сколько видел, сколько всего пережил на своем веку этот крестьянин из деревни Сафоново, а живая душа в нем неистребима, и никакие потери не отвратят ее от людей, не сделают черствой и глухой. И в этом все начала.

На память пришел рассказ Санина о первых минутах приземления после прыжка из горящей машины.

— Иду по деревне, — вкрадчиво, словно боясь быть услышанным или стыдясь чего-то, начинал Сергей. — Рука в крови, на голове ЗШ с разбитым светофильтром, парашют ребятишки волокут. На душе смутно, сам понимаешь. А тут затащил меня председатель к себе — ну там самовар, водочки, закусить чем бог послал. И понимаешь, сидит рядом старушка в белом платочке — ветхая такая, глядит на меня приветными глазами, тихая, скорбная. «Как же это ты, сынок?» — «Да вот, бабушка, неудача...» И чувствую, как от сердца отлегло малость: так-то, Леша, откуда ни свались к нашим людям, кругом ты свой, везде дома, на всей родной земле. Ведь народ наш как одна семья...

Лютров потрепал за ушами прильнувшего к его ноге дратхаара, улыбнулся вопросительно вскинутым на него глазам собаки и встал, потягиваясь, напрягая затекшие мышцы, наслаждаясь ощущением силы и свободы в себе. «Нужно жить, нехорошо этак-то», — подумал он.

Во всем теле было такое ощущение, будто он пробудился от тяжелого сна. На душе было радостно. Потянуло к людям, к ребятам из экипажа, рассказать и об этой встрече и о своем просветлении, захотелось услышать чей-нибудь беззаботный смех, окунуться в людскую суету. «Какое славное утро!..»

Оглядывая бескрайние луга с высоты холма над прудом, он видел, как над зеленеющей далью, над бесчисленными озерами, над крышами едва видимого города Перекаты лучисто и празднично разгорается день, омывающий глаза пахучим свежим ветром, возвращающий память к минувшей ночи, будто к своему предтече, к дверям в доме Колчановых, где Лютров услышал негромкое, детски обязательное «здравствуйте!»).

Так оно и случается среди людей, такими вот и бывают немислимые совпадения. А может быть, есть законы, подчиняясь которым его прошлое должно было напомнить о себе как раз тогда, когда появилась эта девушка? Чтобы уравновесить тяжесть пережитого вспышкой надежды?

Но почему она, ведь он и не успел разглядеть ее по-настоящему.

На это никто не ответит. Да и нужен ли ответ? Надо ли доискиваться до причины, почему одно небесное тело так любовно заливает светом другое, а «здравствуйте!» тонкой большеглазой девушки не молкнет в его душе, живет радостной вестью. О чем?

Когда она улетает? Ведь она улетает, это о ней говорила хозяйка дома. Если мне повезет, я могу еще застать ее у Колчановых. Или в аэропорту. Только бы не спугнуть, не оттолкнуть как-нибудь. Далась ему эта охота! Теперь они вместе добирались бы в аэропорт и по дороге по-настоящему познакомились.

К девяти часам он вернулся к большому озеру, где попусту отсидел зарю, и уже побрел было вслед за дратхааром, обсохшим и повеселевшим, по дороге к городу, но увидел петляющую по лугам навстречу ему черную «Волгу». Быстрота, с какой неслась машина, и то, что она появилась раньше оговоренных десяти часов, настораживали.

— Петр Саввич говорит, ваше начальство прилетает, — сказал шофер.

Разогнав машину в обратный путь по гладкой луговой дороге, он спросил:

— Небось и не стреляли?.. Ясно, весна. Тут бы салаш хороший, чучела или пару подсадных, а так что. Вам бы с Петром Саввичем, он-то места знает...

Сбавив скорость у отлогого спуска к реке, по дощатому настилу наплавного моста «Волга» выскочила на другую сторону.

Сразу за излучиной показались первые, совсем еще деревенские избы

городской окраины. На одной из них вкривь и вкось плясали буквы: «Веселые ребята». Мощенная булыжником улочка намекала на сельское прошлое окраины городка.

Чем ближе подъезжали к дому Колчановых, тем сильнее хотелось узнать, там ли еще Валерия?

Мария Васильевна еще чаевничала.

— Садитесь, успевайте. Чай горячий. Мы перед вами тут с Валерией трапезничали. О вас говорили. «Я, говорит, уже познакомилась с ним». — «Ну, говорю, и выходи за него замуж. В обиду не даст...» Она у меня от ухажеров пряталась, проходу девке просто не дают.

— Что, к матери собирается?

— Так сегодня и улетаёт... «Нужна, говорит, я ему».

— Во сколько самолет?

— В четыре или в пять. Сначала, говорит, к девочкам на работу зайду, а оттуда на аэродром. Лютров посмотрел на часы.

— Хорошая она девушка, — сказала Марья Васильевна.

— Ваша правда. Случится быть в Энске, заходите. Адрес и телефон я Петру Саввичу оставлю. До свидания.

Самолет прибыл после полудня. Кроме представителей завода двигателей и механиков, вместе с Даниловым и Гаем прилетел один из замов Главного — тучный Разумихин, о котором в КБ сложилось мнение, как о человеке умном, несомненно правой руке Старика, но «не понимающем политесу» в обхождении. Разумихин помнил Лютрова по работе на «С-04», они часто встречались в ту пору, и теперь, по прошествии многих лет, эта встреча и тон, в каком велась беседа, были отмечены налетом сообщничества, предполагающего, будто они знают друг о друге много больше, чем это может прийти в голову окружающим.

— Молодчина, — булькающим басом повторял Разумихин, хлопая Лютрова по плечу. — И вы не лыком шиты, не растерялись. Так его разэтак! Кто штурман? Ты? Голова шурупит... Ну пойдём глядеть. Поглядим, поматерим двигателистов да будем решать, как дальше жить.

Гай, склонившись к земляку Косте Караушу, слушал подробности полета, наверняка обращенные Костей в анекдот.

Высокий узкоплечий Данилов долго не отпускал ладони Лютрова и, как всегда, без тени улыбки высказал свои соображения:

— У меня было время узнать кое-что об этой полосе и рассмотреть ее с воздуха. Минимум необходимой длины для «С-44», но не это самое страшное, скажу вам по секрету. Толщина бетона не должна была выдержать машину. Вас выручил лессовый грунт.

Дождавшись своего времени, Гай взял Лютрова под руку и, принудив его поотстать от всех, негромко спросил:

— Данилов сказал тебе о «девятке»?

— Нет.

— Он назначил тебя на доводку «С-14». Перегонишь этот дормез и принимайся за дело.

Это было самым неожиданным из всего, что он услышал сегодня.

После катастрофы «семерки» на коллегии министерства ставился вопрос о целесообразности дальнейших испытаний «С-14», высказывались сомнения в верности самой «идеологии» конструкции, которая-де не радуется пока ожидаемыми летно-техническими данными. Возобновление работы после длительного запрета значило, во-первых, что Соколову не просто было убедить

коллегию дать добро на доводку самолета; во-вторых, от результатов испытаний «девятки» зависит не только авторитет КБ Соколова, но, что на порядок важнее, сроки запуска в серию первого сверхзвукового самолета подобного класса. Неудача перечеркнет труд тысяч людей, вынудит начать разработку проекта машины заново, а для этого нужно время.

Если в такой ситуации Данилов назначил ведущим летчиком «С-14» Лютрова, а не того же Долотова, обладающего, несомненно, большим опытом работы на машине, то причиной тому или какие-то особые соображения начальника отдела летных испытаний, или не обошлось без доброжелателей.

— Ты руку приложил? — спросил Лютров Гая.

— Бог с тобой, Леша! Ни сном ни духом! — ореховые глаза Гая погрузстнели. — Ты что, не знаешь Данилова? Он то едва шевелится, шага не ступит без «расширенного заседания», а то вдруг — бац! — «примите к сведению, Донат Кузьмич». Кстати, а почему бы и нет?

На недолгом совещании перед отлетом Разумихин объявил, что все присутствующие, в том числе «эти, трам-тарарам, бракоделы-двигателисты», пришли к заключению, что после установки нового стыковочного хомута машину надлежит перегнать на аэродром базирования и поставить для смены двигателей. А поскольку у экипажа нет возражений, командиру корабля предоставляется право определить время отлета после окончания ремонтных работ.

Сразу же после совещания Разумихин, Данилов, Гай и несколько представителей завода отправились к ожидавшему их «Ил-14».

Возвращаясь со стоянки «С-44», Лютров зашел в здание аэропорта.

Народу в зале ожидания было немного. У двойных стеклянных дверей выхода на привокзальную площадь Лютров столкнулся с ребятами из экипажа.

— Леша, перекусить не желаешь? — спросил Карауш.

— Вы ужинать? А куда?

— Здесь на втором этаже ресторан! Шашлык, цыплята, телятина... Почти как в Одессе.

— Хорошо, я только загляну в гостиницу, вымоюсь.

— Вылет на когда? — спросил Саетгиреев.

— На завтра, если все будет в порядке.

— По холодку?.. А то полоса в обрез, — сказал Чернорай.

— Полосу отремонтируют, я узнавал.

— Мы пошли... — сказал Карауш.

Они направились по широкой лестнице на второй этаж, а Лютров, шагнув было к выходу, почувствовал на руке выше локтя чьи-то цепкие пальцы.

— Проводите меня в камеру хранения, а?

— Валерия!

— Здравствуйте!

— Здравствуйте! — Лютров растерялся. — Куда вас проводить?

— В камеру хранения, я чемодан возьму.

— Это где?

— Вот там, через площадь. Я боюсь, там парень... Владька. Он вообразил, что может... командовать. Не хочет, видите ли, чтобы я улетала... А я к маме.

Она смотрела то на Лютрова, то на трех парней, мирно стоявших на углу небольшого зарешеченного здания камеры хранения. Один из троих, маленький, лохматый и горбящийся в блатной манере, брэнчал на гитаре. Двое других с нарочитой ленцой поглядывали по сторонам.

— Эти? — спросил Лютров.

— Ага. Проводите? Я только возьму, и обратно... Самолет через сорок минут.

— Кто же они вам?

— Бывшие друзья.

— А получше в этом городе па нашлось?

Она виновато улыбнулась и отрицательно покачала головой, плотнее сжимая его руку.

Они пересекли площадь. У входа в камеру хранения Лютров вспомнил, что в последний раз дрался двадцать лет назад, и теперь прикидывал, кого следует уложить первым, если эта троица выкажет кулачные намерения. Решил — гитариста, такие бьют в спину и не всегда кулаками. Валерия торопливо отдала служительнице камеры хранения бляшку, висевшую у нее на пальце. Лютров взял чемодан, уже знакомый, синий в белую клетку, и они направились в обратный путь. Парни стояли лицом к ним, засунув руки в карманы, гитара висела за спиной музыканта. Круглоголовый парень в черно-красной капроновой куртке и аляповатых башмаках на толстой подошве что-то говорил, не глядя на друзей. Музыкант, сощурившись, смотрел на Лютрова и покачивал головой.

— Ага, бояться, — шепнула Валерия, — и Владька тоже.

— Какой он?

— В куртке... Он у них хороводит. А этот, с гитарой, Митрофан, противный, как жаба.

Они вошли в зал. Валерия выбрала место поближе к трем, в новеньких мундирах, сержантам кавказского вида, игравшим в нарды, и облегченно выдохнула:

— Уф... Вот спасибо вам!

— Не на чем, — ответил Лютров, вглядываясь в покрасневшее от волнения лицо девушки, на котором сменялись выражения то непонимания, то заинтересованности, то доверчивого ожидания... «Господи, да откуда ты такая?» — думал Лютров, не решаясь ни уйти, ни остаться, ни даже отвести глаз от ее лица.

Она заметила его удивление и улыбнулась дружески.

— Вы летчик? — она посмотрела на его кожаную куртку. — Я не с вами полечу?

— На нашем самолете не возят пассажиров. Да и не попадете вы с нами в Энк.

— Откуда вы знаете, что я в Энк?

— Тетя Маша говорила.

Вот и первая шутка. Невесть какая, но была достаточной, чтобы их рассмешить. Лютров присел в кресло рядом.

— Я знаю. Вы прилетели на том, на большом?

— Да.

— А когда обратно?

— Может быть, завтра.

— Тогда не уходите, а? Пока я сяду в самолет? Тут хоть и милиция, а я все равно боюсь... Вам не трудно?

— Что вы! Но чем просто так сидеть, пойдемте поужинаем?

— А я успею?.. Правда, я сегодня еще и не обедала. Вообще все кувырком. Ночевала у тети Маши, днем просидела у девочек на работе. Никак не могла

дождаться вечера.

Они поднялись в полупустой зал ресторана и сели за столик у окна, отсюда виден был, в конце ряда «Ли-2» их «С-44».

Она, проследив за его взглядом, спросила:

— Ваш?

— Да. Нравится?

— Ну и самолетище! Я таких и не видела... Ой, а мы не прозеваем?

— Нет... Скажите, пожалуйста, посадки у вас объявляются? — спросил он у подошедшей официантки.

— Обязательно. По радио. Что будем заказывать?

Лютров посмотрел на Валерию.

— Мне... все равно, чего-нибудь.

Он заказал, что быстрее можно подать и съесть, — котлеты, по-киевски, бисквиты и кофе.

— Знаете, я впервые в ресторане.

— Не много потеряли.

— Нет, я потому... Вам со мною неловко, наверно?

— Неловко? Поглядите на моих друзей. Вон в уголке... Разве не видно, что они умирают от зависти?

— От зависти?

— Конечно. Да и не только они. Разве у кого-нибудь еще есть такая красивая спутница?

— А вы их позовите к нам.

— Не хочу.

Ее рассмешило выражение, с каким сказал это Лютров. В это же самое время Костя Карауш встал и с независимым видом вышел из ресторана.

— А что вы скажете им про меня? Скажите, что мы старые знакомые, ладно?

— Я так и решил. Что вы собираетесь делать в Энке?

— Работать. Я чертежница. До осени поработаю, а потом попытаюсь еще раз поступить в институт. В вечерний.

— Вы уже бывали в Энке?

— Да. Я там часто бываю. Целое лето жила, когда отчим уехал. Он и сейчас в отъезде, работает на севере. Приедет через год... Маме одной скучно.

— Вы бы вместе жили?

— А бабушка? Ей дом жалко. И не хочет она совсем. Когда я как следует устроюсь, я ее к себе заберу. Знаете, какая она хорошая... Я ведь без отца росла, возле нее. Невезучая, да?

— Почему? Я тоже рос без отца, видите, какой вырос,

— Ага, — сказала она и опять засмеялась. Но неожиданно смолкла.

За стулом Лютрова остановился Костя Карауш. То, что у него кто-то за спиной, Лютров понял по выражению веселого недоумения на лице Валерии.

Выждав, когда за столом замолчали, а Лютров повернул к нему голову, Костя склонился, как метрдотель на дипломатическом приеме, и, все еще держа руки за спиной, проговорил:

— Прошу прощения... Несколько мужчин, пожелавших остаться неизвестными, просили передать вашей спутнице... Вы позволите?

— Мы позволим, Валера?

— Позволим!

— В таком разе прошу! — Костя вытянул руку.

— Ой!

В руках у него покачивалось несколько длинноногих красных тюльпанов.

— Ой, спасибо!.. Откуда они?

Костя сделал вид, что открывать тайну ему нельзя, приложил руку к сердцу и, очень довольный исходом миссии, отошел.

— Какой он потешный, этот ваш друг!

— Ага. Одессит, веселый.

— А вы где живете?

— В Энке.

— Вдруг встретимся!

Лютров написал на листке блокнота номер своего телефона и протянул ей.

— Это на случай, если вам опять понадобится провожатый.

— Я и так позвоню. Правда, у мамы нет телефона, но я из автомата, хорошо?

— Лишь бы было слышно.

— Знаете, хорошо все-таки, что я вас увидела. Мне теперь даже смешно, что я боялась, пряталась.

— Ну и слава богу. Я тоже рад, что увидел вас.

Пока они сидели за столом, и потом, когда он провожал ее к обтертому «ЛИ-2» и стоял у трапа в общей очереди, чувствуя безбоязненные прикосновения совсем освоившейся с ним девушки, Лютров проникся уже совсем родственной причастностью к ее отъезду, о чем-то тревожился, а в момент, когда она, еще не протянув руки за чемоданом, вопросительно поглядела на него, испытал такое сильное желание обнять ее, наговорить каких-то благодарных слов, что едва принудил себя отдать ей вещи, и при этом был так растерян, что не слышал сказанного ею на прощанье. А когда увидел ее поднимающейся по трапу, мучительно ждал, что она повернется на прощанье, кивнет ему, но она не повернулась и не кивнула.

Вылетели они в конце следующего дня. Тасманов заправил самолет минимумом топлива, и они поднялись, не пробежав и двух третей взлетной полосы, окатив Перекаты неслыханным здесь ревом двигателей, и резво пошли вверх, оставляя за собой четыре едва приметных дымных следа.

— Надеюсь, еще не капает, уважаемый Иосаф Иванович? — спросил Костя Карауш.

Каждый из экипажа улыбнулся: все подумали об одном и том же.

Когда легли на курс, Лютров повернулся к Чернораю:

— Слава, возьми управление.

— Понял, командир.

Скинув шлем, Лютров привалился к спинке катапультного кресла и прикрыл глаза, повинувшись желанию заново пережить в воображении встречи с Валерией, собрать воедино все, что успел увидеть и узнать об этой девушке с византийскими глазами.

Он не мог верить, что она надумает ему позвонить. У девушек ее возраста не может быть ничего общего с тридцативосьмилетним мужчиной. Но ведь бывают чудеса? Гай, например... Ведь никому не кажется странным, что, несмотря на ощутимую разницу в возрасте, они живут счастливо?

Лютров шаг за шагом вспоминал минувшие два дня и невесело улыбался про себя: нужно было потерять пятьдесят тонн горючего, сделать вынужденную посадку, рискуя развалить машину, чтобы встретить бывшего курсанта, благодарного ему за то, что он так и не научил его летать, познакомиться с его

непростой женой, провести пустую зарю на охоте, растревожиться судьбой совсем незнакомого ему человека — Ирины Ярской, всполошившей в нем все давнее и недавнее, и наконец увидеть Валерию, с ее незащищенностью, доверчивостью к нему, с ее немыслимыми глазами, такую легкую и непрочную среди всего прочного, сработанного на жизнь, что было в доме Колчанова...

Было тягостно от простой, до боли ясной мысли, что по своей вине, по душевному невежеству разминулся где-то в прошлом с такой же, теперь бесконечно далекой от него девушкой.

На женщин, которых знал Лютров в прошлом, при всей корректности отношений с ними, он глядел сквозь дымку известной простоты, чтобы не сказать больше. И не только потому, что в среде курсантов, а потом и женатых друзей в разговорах о женщинах присутствовал налет пренебрежительности, не потому, что связи с женщинами принято было скрывать, как нечто дурное и стыдное, а потому еще, что это дурное и стыдное считалось таким и теми женщинами, которых он знал.

Заканчивая училище, он познакомился и недолго дружил с работницей типографии военного городка, Звали ее мудрено: Радиолиной. Жила она у старой тетки. Дом их стоял на окраине города, над глухим оврагом. Радиолине боязно было возвращаться туда после работы одной, особенно в осенние вечера. И ему казалось, что поэтому она выбрала его, рослого и сильного.

В замкнутом мирке училища изо дня в день видишь одни и те же лица. Видели друг друга и они. Сначала в каком-нибудь коридоре, неловко пытаюсь уступить друг другу дорогу, улыбались. Потом каждый отмечал про себя, что вот-де идет она, они, переглядывались, где-то однажды разговорились, стали здороваться. Случайно встретились в городе. Наконец на правах добрых знакомых сидели рядом на собраниях, ходили в кино — в училище и в городе, ели мороженое, первое послевоенное лакомство, которое можно было купить на улице. Осенью он часто провожал ее. Сначала до калитки дома, потом до крыльца. Там и поцеловались. Она относилась к нему с подкупающей доверчивостью, их отношения, насколько он мог судить, были чистыми, хорошими. Случалось, он с нетерпением ждал вечера, чтобы встретить и проводить ее домой. Было приятно обнимать ее, она не противилась.

Он стал бывать у нее дома, пить чай вместе со смешливой старушкой, ее теткой.

В начале зимы его зачислили в рабочую бригаду, нужно было установить дюжину столбов электропередачи, освещали новый тир. Лютрова послали крепить изоляторы. Дело пустяковое: просверлить коловоротом три дырки да закрутить скобы с насаженными на них белыми чашками.

Это был последний столб рядом с подстанцией на первом этаже жилого дома. Лютров вскарабкался на него уже в темноте, свет из окон дома позволял закончить работу. Устраиваясь поудобнее на монтерских «когтях», он увидел в освещенном окне второго этажа знакомого преподавателя — невысокого, полнеющего весельчака с румянцем на холеных щеках, с маленькими усиками, которые он то сбрасывал, то отращивал. Сейчас они слегка отросли и были так ровно подстрижены, что казались нарисованными. Лютров принялся было за дело, но отворилась дверь, и он невольно покосился в окно. Вошла женщина. Пока она пересекала комнату, он узнал Радиолину.

Офицер поднялся из-за стола, прошел мимо нее, запер дверь. Радиолина прислонилась спиной к стене и, как показалось Лютрову, с улыбкой следила за офицером. Она не сменила позы и когда он подошел к ней, положил руки ей на

плечи, притянул к себе, чтобы поцеловать. Все с той же улыбкой она глядела, вскинув голову, на его руку, когда он, чуть отступив, потянулся к выключателю. Лютрова обуял страх разоблачителя. Обдирая руки и скользя «когтями», он слез со столба и посмотрел наверх. Квадрат окна стал черным.

— Вот она какая! — только и нашел что сказать Лютров по пути в казарму, начиная верить во все дурные слова о женщинах.

И все-таки не то, что он увидел и узнал, было самым скверным, а то, что он ничем не выказал, что знает о ее посещении квартиры женатого офицера, и по-прежнему провожал ее до дому, а когда там однажды не оказалось тетки, посчитал себя вправе решиться на то, чего раньше не посмел бы сделать.

Все, что произошло тогда между ними, было и не могло не быть мерзко и пошло непередаваемо: и потому, что она была близка не с ним одним, и потому, что происходящее не могло быть описано иначе, чем только языком дурным и стыдным. Самым же ужасающе стыдным для него было то, что она была его первой женщиной. Ему и теперь иногда становилось не по себе, когда он вспоминал полутьму жарко натопленной комнаты и себя с ней.

Но у человека нельзя отнять человеческое. Несмотря ни на что, в Лютрове неистребимо жило затаившаяся в глубине памяти другое событие, почти лишённое деталей, оно все чаще приходило на ум как смутное подозрение о таком влечении к женщине, где не чувственность, а иное чувство определяет стремление прикоснуться, приласкать, защитить ее...

Ощущение родственности доверившейся тебе жизни, приобщение к дыханию восхищенного тобой существа и еще что-то неожиданное и тревожное, но в ту пору так и не разгаданное оставила после себя эта девушка.

Лютров хорошо помнил осень на большой реке, отпуск и поездку к брату в госпиталь, где Никита пробыл больше года после ранения на Курской дуге. Брат вышел к нему тогда за ворота госпиталя, опираясь на большую дубовую палку, витиевато изрезанную каким-то солдатом-умельцем.

...Ее имя было Оленька, она говорила, что в семье ее зовут Алешкой. Познакомились они на теплоходе «Софья Перовская».

Теплоход рейсом из Верхней Волги в Балаковские заторы заканчивал навигацию и потому простаивал по нескольку часов у каждой пристани, у каждого дебаркадера. Почти восемь дней добирался до Балакова, так что у Лютрова оставался всего один день для встречи с Никитой.

Восемь дней и ночей провели они с Оленькой на теплоходе, прогуливаясь по холодным палубам, ночи напролет простаивая в узких проходах, у теплых перегородок, за которыми, сопя и ухая, работали машины; они почти не спали, он и эта девушка из Балакова. Лютров уже не помнит, какие слова помогли им так неожиданно довериться друг другу. В его памяти остались ее печальные и растерянные глаза, ее взгляд, каким она провожала его в обратный путь. На лице ее не было ни отчаяния, ни бабьей жалости к потерянной радости, просто она не ждала ничего другого, а потому и не понимала, что же это такое — огромное, невиданное пролетело над ней? «Что это было? Ну, помоги, скажи, что?» — спрашивали ее глаза. Такой он и запомнил ее, девушку из Балакова. А другие? Те, что были потом, когда он стал вполне самостоятельным человеком и мог соблазнительно щедро расплачиваться в ресторане?

Спутницы этой поры совсем не были похожи на Оленьку-Алешку и ничего не могли прибавить к тому, что ему было известно. Ни прибавить, ни убавить. Настолько ничего, что даже имена их вспоминаются не вдруг. Как звали ту артистку, с которой тебя познакомили в День авиации? Она

напоминала некую разновидность дикой кошки с долгим и гладким телом, чьи неторопливые движения отмечены грандиозной целесообразностью, скрытой силой и уверенностью в себе. В фигуре ничего выступающего, в одежде ничего лишнего. Чаще всего на ней было неплотно облегающее вязаное платье цвета первых весенних листьев, такая же шапочка детским чепцом, аккуратно прикрывающая уши и волосы до последней пряди и придающая матово-смуглому лицу ту меру инфантильности, которая если и не молодит, но выдает склонности. Ее глаза казались темно-серыми до тех пор, пока она не поворачивала их в сторону. Тогда в глубине зрачков рождался густой зеленый тон, словно рассыпанная по кругу райка зеленая пыльца становилась плотнее, как голубизна стекла при взгляде на торец. Ее губы, безупречно выкрашенные в густо-морковный цвет, какой идет к определенному оттенку зеленого, очень выразительны, но подвижность делает их неуловимыми в очертаниях. Они соблазнительны, но слишком опытны. Женщин с таким ртом не пугает откровенность за гранью пристойного, они умны, наблюдательны, догадливы и умеют взять все до предела от дарованной внешности. И вообще все, что можно взять. Ее заботила лишь наследственная склонность к полноте да боязнь огласки. Она выбрала странное место для свиданий: он ждал ее на Каменной набережной под мостом. Она приходила туда во второй половине дня, шла пешком от своего дома и без конца оглядывалась. Это и называлось любовью.

Однажды Лютров почувствовал себя дублером, что подменяет актеров в непосильных для них трюках. И больше не останавливал свою «Волгу» под мостом.

Санин был терпимее, его веселые, все понимающие глаза умели видеть в женщинах не более того, что им нравилось в себе, а потому они считали Сергея интересным мужчиной, несмотря на следы ожогов на скулах и подбородке. Впрочем, все скабрезное, походя адресованное женщинам и женскому, всегда вызывало в нем приступы раздражения.

— Наследие кабацкого мира мещан, нравственный маразм, духовная суть подонков, — ругался он. — И почему так: в куче мужики говорят не о девушках и женщинах, а «про баб»? Ведь наедине с ними самая глухая душа отыскивает красивые слова? Недотепы.

К Лютрову наклонился Чернорай:

— Леша! Иду на четвертый разворот. Сам сажать будешь?

— Да.

— Что за девушка была с тобой? — спросил Костя Карауш, когда Лютров застегнул шлем.

— Что, хороша?

— Все они в девках хороши, — отозвался Чернорай. Поглядев на лицо второго летчика, Лютров улыбнулся: жена Чернорая имела обыкновение публично напоминать о своих правах на его внимание, в чем хоть и была не одинока, но беспардонность применяемых ею методов выводила из себя Чернорая.

— И где ты ее откопал? — не унимался Костя. — Хоть бы научил, как это делается.

— Тебя научишь. А за цветы спасибо. Ты это лихо придумал.

— Идея Булатбека, ему и кланяйся.

— Но доставал-то ты. — Саегиреев и смотрел на Лютрова, и говорил так, словно оправдывался.

— Да, Костя, где достал-то? Я там даже ландышей не видел.

— Ха! Аэропорт все-таки. Зашел к ребятам в летную комнату — так и так, говорю, провожаем девушку, нужен букет. А там как раз «Ил-14» из Астрахани прилетел.

— Слава, выпускай шасси.

— Понял. Шасси выпущены.

— Давай закрылки.

Через минуту «С-44», рокоча колесами, вольно катил по длиннейшей полосе аэродрома.

К концу мая, с увеличением светлого времени суток, установилась стеклянно-ясная погода, и летно-испытательная база грохотала так, как на этом свете грохочут только аэродромы.

Со времени возвращения из командировки Лютров всего второй раз появился на базе: в начале месяца и вот теперь. Все это время он пробыл в КБ, работал на тренажере, помогая разработчикам уточнять «идеологию» будущей автоматике на управлении «девятки». На аэродром его вызвал Гай-Самари: утверждалась программа первого вылета «С-441», и Лютрову, как члену методсовета, надлежало быть на заседании.

Он представлял себе, в каком состоянии сейчас, да и все эти дни, находится Чернорай. «С-441» была не только первой его опытной машиной, которую он поведет с самого начала испытаний, но это был такой пассажирский лайнер, какие еще только осваивала мировая авиация. Создание машин класса «С-441» хоть и признавалось в принципе возможным, представлялось специалистам проблемой с сотней неизвестных, «слишком большим шагом, который нельзя сделать, не разорвав брюки», по выражению популярного западного авиационного журнала. До первого вылета этого лайнера оставались считанные дни, и если погода продержится, то где-нибудь в середине июня Слава Чернорай отпразднует «свой день».

Когда-то такой машиной для Лютрова была «С-04», и она долго после первого вылета вела себя безукоризненно. До тех пор, пока в полете целевого назначения пущенная с крайнего пилона ракета не повредила гидравлику выпуска шасси, из-за чего стойка правой ноги надломилась на пробежке после посадки. Последние триста — четыреста метров машина была неуправляема. Сорвавшись с полосы и надломив правое крыло, они с Сергеем Саниным едва не вернули себе шею.

— Ты понял что-нибудь? — спросил Лютров, выбравшись из самолета.

— Чудак! Понял, что мы с тобой беседуем, а в остальном всегда можно разобратся.

В другой раз их выручил паренек-электрик из отдела экспериментального оборудования. Шасси не хотело выходить дальше чем до половины пути. Они носились над летным полем, пока было горючее, и Лютров понял, что сажать придется «на брюхо». А в это время тот самый паренек-электрик прибежал к Данилову со схемой электрооборудования самолета и предложил остроумнейший вариант аварийного выпуска, для которого нужно было отключить от питания почти все бортовые системы. Решение было основано на его собственных предположениях о причине невыхода шасси, и паренек оказался прав. Прюделав все предложенные с земли манипуляции, Лютров с радостным удивлением воспринял вспыхнувший зеленый огонь сигнала: «Шасси выпущено».

Как почти все машины Старика, «С-04» стояла на вооружении несколько лет. КБ Соколова умеет делать машины надолго. Но всему свой черед: недалеко то время, когда на смену «С-04» придет второй год «пробующий голос «С-224».

Шагая вдоль ангаров к зданию летной части, Лютров видел, как садится на малую полосу и тут же взлетает истребитель-бесхвостка. Видимо, снимались посадочные характеристики. Кто на самолете? Гай-Самари? А может, Витюлька Извольский, которого Гай недавно выпустил и очень старательно готовил к испытаниям на штопор?

На ближней стоянке, в двухстах метрах от окон здания летной части, механики гоняли все четыре турбовинтовых двигателя «С-440». Дождевая лужица на бетоне под винтами растекалась и дрожала, охваченная мелкой концентрической рябью. А еще дальше, по ту сторону рулежной полосы, у нового «С-224» осатанело срывались на форсаж два мощных спаренных двигателя. Этот всепогодный многоцелевой перехватчик в прошлом году поднимал Борис Долотов и уже облетали Лютров, Чернорай и недавно зачисленный на фирму Федя Радов.

Когда Старик снял Долотова с «С-14» за самовольный выход «за звук», ожидали, что последуют какие-то еще более суровые меры, говорили даже, что Главный вообще собирается отказаться от услуг Долотова, но он не только не отказался, но и ничего не имел против, когда Данилов давал Соколову подготовленный им приказ о назначении Долотова ведущим летчиком на «С-224». Прав был «корифей»: «мальчишка» заставит уважать себя, хотя, кроме нешуточного выговора, ничем еще не отличен.

Взрывная струя «С-224» рикошетила от отбойного щита, неслась вверх, насыщая бледную голубизну неба легкой дымной вуалью. От рева дрожала земля, Лютров чувствовал эту дрожь через подошвы ботинок, видел, как мелко поблескивали стекла на ангарных воротах.

Беззвучные в этом грохоте, по площадке катили тучные топливозаправщики, автомобили с пусковыми генераторами, заправщики жидкого кислорода. Дважды мимо Лютрова пронесся красно-белый «РАФ» Наденьки, единственной девушки на всю шоферскую братию аэродрома. Летом в клетчатой мальчишеской рубашке, зимой в старенькой меховой летной куртке и вязаной шапочке, девушка-шофер обречена была выслушивать бесконечные шуточные заигрывания летчиков, пока доставляла их от парашютной к стоянке самолетов и обратно. Наденька никогда не отзывалась на реплики такого толка и лишь косила на болтунов строгими серыми глазами. Единственный, кто повергал ее в растерянность, заставляя краснеть и отвечать невпопад, был Гай-Самари.

Впрочем, не только ее. Наделенный изысканной вежливостью, неизменно в белоснежной сорочке и безукоризненно отглаженном костюме, Гай выглядел «аристократом» даже среди самых молодых и самых модных щеголей летного состава. Его появление в конструкторских отделах фирмы вызывало оживление среди женской части сотрудников.

— Девочки, кто это? — восклицала какая-нибудь вчерашняя студентка.

— Гай-Самари, старший летчик-испытатель. Или, ежели по-заграничному, шеф-пилот, — отвечали посвященные. Иногда прибавляли: — Соколов к нему слабость питает. — Похож на итальянского графа. И фамилия какая-то... — размышляла вслух вчерашняя студентка.

И если мужчины иронически интересовались, откуда у нее познания об итальянской аристократии, то женщины молчали, им казалось, что сравнение

вполне подходящее. В КБ его ценили (и не только Старик), не за впечатляющую внешность, а за недюжинную пытливость, за аналитический ум, за редкую способность докопаться до причин самых непредвиденных отклонений, отрицательно влияющих на поведение опытной машины. Никто лучше Гая не мог обосновать психологически неизбежные действия человека за штурвалом в самых запутанных происшествиях, отчего он и был постоянным членом всех аварийных комиссий.

Минувшим летом с серийного завода сообщили о склонности некоторых из выпускаемых истребителей вибрировать на больших высотах. На заводе чуть ли не вслух говорили о каких-то дефектах в аэродинамической компоновке самолета. Когда об этом сказали Старику, он хмыкнул и велел послать на завод Гая. — Донат разберется.

Донат сделал несколько полетов, но они не дали разгадки. Предложенный для проверки самолет отлично вел себя до высоты двенадцати тысяч метров, но стоило затем включить двигатель на форсажный режим — и машину начинало «знобить». Дефект обнаруживал себя только в разреженной атмосфере, но откуда исходит вибрация? По несколько раз в день Гай сажал машину с чувством человека, который ничего не может прибавить к уже известному. Подрулив к стоянке после очередного полета, он принялся под насмешливыми взглядами заводских летчиков с пристрастием осматривать закрылки, лючки, каждый стык обшивки, пока не добрался до выхлопного отверстия двигателя. И тут нужно было быть именно Гаем, чтобы отыскать едва приметные глазу следы наклепов в том месте, где тронутая цветами побежалости жаропрочная сталь выхлопной камеры прижималась к обресту обшивки фюзеляжа. Гай запросил рабочие чертежи и убедился, что на них указан лишь максимально допустимый зазор между несущей большие вибрационные нагрузки выхлопной камерой и кромкой фюзеляжа, а на заводе умели работать и подгоняли фюзеляж едва не вплотную к двигателю.

Зазор увеличили до максимально допустимого, и после следующего полета Гай возвращался, по его словам, «как после свидания с девушкой, которую ты очень ждал».

Его сдержанности, такту, умению вести себя можно было позавидовать. «Воспитанный человек должен уметь слушать», — говорил он и делал это как никто. Обращался ли к нему моторист на стоянке, старая уборщица летных апартаментов Глафира Пантелеевна или один из заместителей Старика, глаза Гая излучали на собеседника столько внимания, готовности помочь, что самый мнительный человек уходил с уверенностью в расположении к нему шеф-пилота.

— Ты родился дипломатом, Гай, — говорил ему Костя Карауш, его земляк.

— Я рос в Одессе, Костик, — улыбаясь, отвечал Гай.

— Я тоже, — с кислой миной парировал Карауш, давая понять, что не только обаятельные мужчины вскормлены Одессой.

Что касается происхождения, то родословная Гая не поддавалась расшифровке. По воспитанию он был типичным русским парнем, разве что красив был не по-здешнему. Как-то в непринужденной беседе с молодящейся дамой из КБ Гай заметил, что принадлежность к нации определяет не прадед по материнской линии, а врожденная способность думать и говорить на языке народа, среди которого ты родился и вырос. Фамилия, порода, кровь — это мистика; всякое стремление к обособленности на этом основании или глупо,

или подозрительно.

— А все-таки кем вы себя чувствуете? — не сдавалась дама-физиономистка.

— Зулусом, — не очень вежливо ответил Гай и заторопился куда-то.

— Юмор какой-то, — растерянно улыбнулась дама.

— Юмор, — это когда смешно и тому, над кем смеются, — глубокомысленно пояснил Костя Карауш, — а сатира — это когда ему уже не смешно.

— Да? — сказала дама, ничего не разобрав.

— Не иначе, — подтвердил Костя. А когда дама ушла, добавил:

— Дура. Ей хочется видеть в Гае «восточного человека», милого ее склонностям.

У Гаю были иссиня-черные волосы, заиндевевшие мазками седых прядей, зачесанных от висков за уши; лоснившиеся от старательного бритья сизые щеки, всегда гостеприимно распахнутые глаза цвета орехового комля, решительный нос, размашистая походка и широкая душа, раскрытая для всякого доброго человека. Все в нем бросалось в глаза, все было незаурядным. Он напоминал людей искусства — актеров, художников, в традиционном представлении о людях свободных профессий.

Рассказывая о себе в тоне печальной иронии, Гай говорил, что его мама преподавала музыку. Он запомнил это потому, что «ученики приходили к ним в комнату и давили гаммы, как клопов». Может быть, это помогло им, и они стали Рихтерами и Гилельсами, но когда теперь он слышит пианино, у него отваливается нижняя челюсть, а шея и щеки покрываются красными пятнами.

Его жизнь укладывалась в анкету с той легкостью, с какой она заполняется у тех, кто не знает темных пятен в своем прошлом, кто, не мудрствуя, старательно идет по однажды избранной дороге. С восьмого класса перешел в спецшколу ВВС, оттуда в летное училище, потом служба в воинских частях на востоке. Школу летчиков-испытателей закончил одновременно с вечерним факультетом института и после назначения на фирму Соколова сменил ушедшего на пенсию начальника летной службы Тримана знаменитого авиатора тридцатых годов, ровесника Чкалову, Громову, Спирину. Слабость Старика к Гаю выказывалась в том, что он назначал его на самые сложные заказы, на испытания экспериментальных образцов тех самолетов, которые несли в себе наибольшие надежды КБ. Говорили, что Гай был единственным из летчиков за всю историю фирмы, которого Старик называл по имени, в то время как родного сына величал по имени-отчеству. И не чудачества ради, а дабы не отличать от тех работников, на которых простирались не знающая компромиссов десница Главного. Ведущие инженеры из бригады тяжелых машин слышали, как на вопрос директора серийного завода, кто такой Гай-Самари и почему именно его присылают поднимать головной экземпляр запущенного в серию «С-44», Старик сердито ответил:

— То есть как кто такой? Летчик. Божьей милостью.

До той минуты, когда Гай сшиб своей «Волгой» студентку медицинского института, рискованно перебежавшую улицу, он был непременным участником холостяцкого времяпрепровождения в компании с Лютровым и Саниным. Памятное происшествие повлекло за собой непредвиденные последствия, развивавшиеся с быстротой и поворотами в стиле новелл О' Генри.

Не дожидаясь, пока прохожие накостыляют ему за содеянное или подоспеет милиция, Гай мигом отвез пострадавшую в травматологический

пункт ближайшей больницы, благо она находилась неподалеку, и в первые дни просиживал у ее больничной кровати на втором этаже столько, сколько было позволено, а затем и того больше.

На базе уже ползли слухи о «трагическом» происшествии.

Движимый состраданием к земляку, Костя Карауш спросил Гая, будучи с ним на борту «С-44» в одном из долгих полетов:

— Что это за история с пешеходом, Гай? Ты сбил кого-то?

— Да, Костик, — улыбнулся Гай. — Это оказалась моя жена.

Больше Костя ни о чем не спрашивал, он ничего не понимал: у Гая никогда не было жены. А произошло вот что.

К концу пребывания в травматологическом отделении, когда привели в порядок раздробленные пятки девушки, ее ждала еще одна неожиданность: неудачливый шофер предложил ей стать его женой. Надо полагать, едва подлечившаяся студентка почувствовала себя в состоянии шока второй раз, иначе трудно объяснить ее согласие. Золотоволосая медичка знала о своем женихе не более того, что можно увидеть в ее положении. Но что-то успело разглядеть, хоть и была почти вдвое моложе своего жениха. Наверно, не только его умение носить костюмы с непринужденностью манекенщика, но и ту самую живую душу - что сама по себе сказывается в человеке и зовется обаянием

Она говорила Лютрову, что влюбилась в Гая уже постфактум, выигрыш выпал при игре втемную. Впрочем, они разделили его поровну — жили на редкость дружно и как-то легко, необременительно друг для друга, точно два хороших человека, знали, были уверены, что встретятся, будут любить друг друга и что это в порядке вещей. С тех пор, со времени их необычного знакомства, прошло более трех лет, а чуть пополневшая жена Гая, уже врач-педиатр, все еще глядела на мужа как на обретенное чудо, словно не решалась до конца поверить, что оно принадлежит ей.

Когда Лютров заходил к Гаю, жившему в одном доме с ним, а это случалось особенно часто после гибели Сергея Санина, и они, послушные привычке, заводили профессиональные разговоры, она никогда не прерывала их, находила себе какое-нибудь дело в затененном углу большой комнаты, старалась как можно «меньше присутствовать» и украдкой поглядывала на них через плечо. Хотела она того или нет, все в ее облике выражало обезоруживающе стыдлившую совсем девическую привязанность к мужу. И для этого ее чувства все на свете, казалось, было пустяками, кроме того, что Гай жив, Гай здоров, Гай курит, Гай смеется, кроме того, что он рядом.

Она легко и быстро нашла общий язык с друзьями Гая и была пленительна своей непосредственностью, открытостью, умением принимать человека таким, какой он есть, — редкое свойство красивой женщины.

Если верить многодетному Козлевичу, а он считал, что знает толк в докторях, то жена Гая ко всему прочему была еще и отличным детским врачом, готовым приехать по первому звонку, днем и ночью, если у кого-нибудь из сорванцов Козлевича появилась сыпь на животике или синяк на затылке.

— А-ты можешь а-поверить мне, — говорил, слегка заикаясь, Козлевич какому-нибудь коллеге-отцу, — лучше жены а-Доната никто тебе не поможет.

Союз двух счастливых людей, мужчины и женщины, выпадал из стойкого представления Лютрова о хлопотности семейной жизни. Если бы он не знал Гая, то решил бы, что его дурачат. В такие минуты Лютров считал, что не женат и не живет такой же привлекательной жизнью лишь потому, что подобное совпадение счастливых случайностей — редкость, а он не одарен ни обаянием

Гая, ни его удачливостью. Но теперь, вернувшись из Перекаатов, Лютров начинал подозревать, что по-настоящему никогда не пытался определить, почему все-таки вот такая семейная жизнь заказана для него? И вспоминал голос Валерии: «Я позвоню вам, из автомата только...» — счастье представлялось ему и близким и невозможным.

У подъезда летной части Лютров встретился с Володей Рукановым, ведущим инженером истребителя-бесхвостки. Неулыбчивый ведущий Гая-Самари отличался неколебимой серьезностью, способной охладить всякую попытку к легкомыслию, как если бы к этому его обязывала принадлежность к когорте людей, обремененных ответственностью за скверные порядки в этом мире.

Блеснув ограниченными стеклами очков с золотыми дужками, он посмотрел на Лютрова так, словно определял, готов ли тот слушать или ему еще подождать.

— К концу дня придет Николай Сергеевич. Есть распоряжение собрать летный состав в его кабинете. Руканов сделал паузу и добавил:

— Ему сообщили, что Боровский обвинил службу летных испытаний в катастрофе «семерки», не менее того... Коль скоро потребовалось вмешательство Главного конструктора, особое мнение Боровского может дорого ему обойтись, не так ли?

«А тебе-то с какой стороны это важно?» — подумал Лютров, ничего не ответив Руканову.

...Методсовет перед первым вылетом, в сущности, необходимая формальность — так считали многие молодые летчики.

Внешне как будто все так и было. Ведущие конструкторы различных самолетных систем вкупе с представителями фирм-смежников вслух докладывают о том, что куда продуманней изложено в соответствующих документах, — о готовности систем и изделий к первому испытанию в воздухе. На стенах зала заседаний висели раскрашенные схемы, диаграммы, таблицы. Выступающие знакомили присутствующих с принципами обеспечения надежности работы изделий, с резервированием возможных отказов дублирующими устройствами, с методами проведенных наземных или летно-лабораторных испытаний всего, что входит в жизнеобеспечение самолета. И на этот раз, как и обычно перед первым вылетом, вопросов почти не было. Следуя привычному порядку, председатель спросил командира о готовности экипажа, зачитал короткую записку о рекомендуемых метеорологических условиях и пожелал успеха присутствующим.

Но пустая трата времени на подобных методсоветах была лишь кажущейся. Лютров знал, как важно для летчика до конца поверить в готовность машины, и не по документам, а на этом, столь представительном «конклаве», обладающем пропастью знаний и опыта по каждому освещаемому докладчиками вопросу; как важно для летчика их молчаливое согласие с выводами докладчиков. Это не просто их согласие, это молчание тех, кто может подняться, подойти к схеме и своей эрудицией перечеркнуть поспешные заключения, высказать полновесное сомнение в правильности предпосылок для успокоительного вывода. Это молчание успокаивает любое тревожно стучащее сердце. И потому внешне театрализованное, обреченное на якобы сонливую бездеятельность совещание, по существу, имеет значение той главной подписи, которая как будто ничего не меняет в существе дела, но подтверждает подлинность документа.

Когда почти все разошлись, Лютров подошел к Чернораю.

— Голова кругом, а?

— Не говори, Леша. Уж скорей бы вылет! Чувствуешь себя как в лифте, который никак не остановится...

Лютров направился в комнату отдыха летчиков, чувствуя, что соскучился по лицам ребят за время командировки и работы в КБ, по стуку бильярдных шаров, по вечным перепалкам круглолицего Козлевича с Костей Караушем, по мальчишескому смеху Витюльки Извольского. И даже хмурый Борис Долотов являл собою какую-то часть привычной картины жизни летной службы базы, без него тоже чего-то не хватало.

Комната отдыха — залитое светом помещение с огромными, во всю стену, окнами, формой напоминало половину шестиугольника, средняя грань которого выходила на летное поле. В центре стоял бильярд, слева от входа два шахматных столика, затем круглый, прочно сработанный стол для домино. Стулья, диваны, столики с отечественными и зарубежными журналами на них стояли у боковых стен. На низких подоконниках пестрели выпуски экспресс-информации, справочники, каждый вечер убираемые Глафирой Пантелеевой в стеклянный шкаф. Иногда в компанию деловых изданий попадал завезенный из заграничной поездки рекламный журнал с не очень одетыми красотками, восседающими за рулем спортивных автомобилей, катеров, яхт; рекламные проспекты авиационных выставок, все с теми же стереотипными улыбками безымянных девиц, как если бы присутствие их загорелых телес превратилось в некую форму благословения прогрессу.

Единственный портрет, висевший рядом с большой, в половину задней стены картой страны, изображал Николая Сергеевича Соколова.

Портрет был скверным. В генеральской форме с регалиями Старик выглядел нарочито благолепно, каким он никогда не бывал в жизни, как никогда в жизни не был военным, в чем нетрудно было удостовериться по старомодным овальным очкам, они-то были всегдашними, сросшимися с гражданским обликом Главного.

Как правило, в комнате было тихо, как в холле санатория, но при нелетной погоде, в дни собраний, иногда по утрам, когда в ней оказывалось много народу, становилось шумно, стучали костяшки домино, травил «правдивые истории» Костя Карауш, обменивались новостями вернувшиеся из командировки, обсуждались летные происшествия. Но прояснялось небо, в диспетчерской трезвонили телефонами ведущие инженеры, и комната отдыха с разбросанными на подоконниках брошюрами пустела.

И на этот раз в кресле у залитого солнцем окна сидел, откинув голову на спинку, Гай-Самари. Он, видимо, только что вылез из своего «малыша», у висков еще не рассосались красные пятна от зажимов защитного шлема.

— Привет, боярин! Один?

— А-а, Лешенька! Дорогой мой!

Придержав в своей руке руку Лютрова, он качнул головой в сторону самолетной стоянки, где черно-оранжевый тягач подталкивал к отбойному щиту истребитель-бесхвостку.

— Я с утра на «малыше». Никак не мог быть на совещании.

— Видел.

— Ну и как глядится?

Зная пристрастие Гая к истребителям, Лютров пошутил:

— Разве это ероплан? Крыла чуть-чуть, горючего два ведра, а хвоста и

совсем нет.

— Так зато научная вещь, начисто лишена чувства юмора.

— Пробовал шутить?

— Искушался.

— Извольского выпустил на нем?

— Давно. Уже готовится к полетам на штопор? Ты знаешь, у него идет на «малыше»: каждый полет, как наглядное пособие, — чисто, грамотно.

— К осени освободится?

— Витюлька?

— Да.

— Непременно. Программа на двенадцать полетов. Разговору мешал нарастающий, секущий звук турбовинтовых двигателей «С-440».

— «Корифей» намыливается? — спросил Лютров.

— Он.

— Надолго?

— Нет, здесь в зоне.

— Тебе твой ведущий ничего не говорил о приезде Старика?

— Нет. По какому случаю?

— Я потому и спросил, надолго ли полет у Боровского. Помнишь, на совещании у Данилова «корифей» разыграл негодование, раздухарился из-за чепуховой неточности в составлении программы испытаний этого своего корабля, связал ошибку с катастрофой «семерки» и выдал все вместе за принципы постановки испытательной работы на базе?

— Ну! Я еще подумал, что примерно так фабрикуются теоретические предпосылки для правительственных переворотов в банановых республиках... И кажется, Данилов пожаловался Старику?

— После истории с Чернораем Данилов не посчитался со скверным настроением Боровского...

— И поехал к Старику?

— И поехал к Старику.

— Допек «корифей» Данилова, да и свидетелей много было. Так что Старик?

— Его ждут сегодня на базе. Решил поговорить разом со всеми.

— Читай: с Боровским, — Гай жестом отстранил всякие предположения о каких-то иных целях Главного. — Главный отвинтит ему уши.

— Ну, если уж Володя Руканов озабочен, суди сам. С него-то какой спрос?..

— Никакого. Но милый Володя себе на уме. Уж он-то настроится на нужную волну. В его тактических методах продвижения по службе должное место занимает умение блюсти реноме вышестоящих товарищей. Усек?.. Не собственный престиж, а «ихний», и он делает это с рвением и тактом хорошего дворецкого. Это не дешевый подхалимаж, а стратегия. Володя никогда не скажет болвану, что он болван, не встанет и не уйдет из зала, когда на трибуне битый час «докладает» тот же Юзефович, как это третьеводни проделал Долотов, а вслед за ним начальник бригады прочности Буним Лейбович. Руканов не прост, Лешенька! Он врос в дело, как хорошо подогнанная пружина. Если ты услышишь от него нечто определенное, можешь быть спокоен, тебе выдали результаты трижды проверенного... Он пришел в авиацию не ваньку валять, он знает дело, он понял, что Старик любит работников. Кто из ведущих

может похвастаться тремя вызовами в КБ для сугубо конфиденциальных бесед? Кстати, Володя ни словом не обмолвился не только о вызовах к Главному, но и о предмете разговора. Казалось бы, слухи о внимании Старика ему же на пользу? Ан нет, он тоньше, ему не нужна дешевой популярности. Достаточно того, что о нем прослышал Главный со товарищи. К тому же он знает, как трудно обрести безусловное доверие Деда и как легко его потерять. Но что ни говори, для руководителя базы, для первого зама Старика и даже для министра Володя — наиболее предпочтительный вариант. Я не из тех, кто с чистой совестью бросит в человека камень только за то, что он хочет сделать карьеру...

Слушая Гая, Лютров мысленно сравнивал его наблюдения со своими.

Уравновешенная порядочность Володи Руканова, тихая склонность оставаться в стороне от всего, что не безусловно или может дурно повлиять на его репутацию толкового инженера, настораживали. Что похвального в том, что Володя никогда не воевал с начальством, да и вообще никак не высказывал своего отношения к драке, предпочитая в лучшем случае «при том присутствовать»? Настоящее дело не оставляет времени для «делания карьеры»,

— Боровский тоже на свой манер фрукт, но — работник! — продолжил Гай-Самари. И с отличным послужным списком, за что ему да простится грех гордыни. Ведь куражится-то из опасения остаться в стороне от больших дел, от настоящей работы. Ну, есть у человека эдакое... Но брось на одну чашу весов эти качества, а на другую положи летный талант «корифея»? Слон и моська.

— Стремление «делового человека» заполучить право руководить, наставлять, командовать из убежденности в своем призвании к этому и добиваться пусть громкой, но трудной работы — не одно и то же.

— Володя очень способный инженер.

— Донат Кузьмич! — прервал Гая диспетчер. — Вас к телефону. Секретарь Добротворского.

— Понял. Иду. Уже беспокоятся, чтобы я вас, позвонков, не растерял до приезда Деда.

Гай вышел.

«Нельзя бросать камни в человека только за то, что он хочет сделать карьеру». А ты либерал, Гай!..

«Сколько их, которые хотят? Когда он ее сделает, будет поздно, — подумал Лютров, — а ты сейчас даешь его сомнительным поползновениям эдакое оправдание...»

Вернулся Гай.

— Все правильно, — сказал он Лютрову, — сейчас говорил с Даниловым. Просит сажать всех, кто в зоне, вызывать, кто отдыхает, и никого не отпускать с работы.

— Слухи подтвердились?

— Если Володя сказал, это уже не слухи. Едет. Знаешь, я боюсь Старика. А, что там я: когда он разговаривает с инженерами в КБ, у тех дрожат руки и мозги перестают работать. Почему? Никто не знает. Ведь он ни разу не злоупотребил властью. В чем дело, Леша?

— Не его боишься, а самого себя рядом с ним. Так и кажется, что ему видна твоя глупость. Это и есть самое страшное. Для меня, во всяком случае.

— Ты, пожалуй, прав. Когда Долотов выскочил за звук на «С-14», помнишь?.. Он вызвал его к себе, а заодно и меня. «Ну, говорю, Боря, сейчас из тебя вытряхнут твои партизанские способы доводить машины». — «Бить будет?» — спрашивает и криво улыбается. Да ведь вижу: улыбается-то звуку

своего вопроса, а не сути. Идет как на растерзание. И я, глядя на него, начинаю верить: вот войдем сейчас к Старика и получим полновесные затрешины. Зашли. Сели. У него генерал, Данилов, какие-то ученые мужи из летного института. «Извините, говорит, мне надо вот с этими разгильдяями словом перекинуться». Те вышли. Сидим. У меня левая нога трясется, так я ее рукой прижимаю. Гляжу, Долотов поднимается. Голова опущена, лицо белое. «Я больше не буду...» — «Господи, думаю, что он говорит!» Старик встал, подошел к нему и то с одной стороны в лицо заглянет, то с другой. И молчит. Наконец положил руку на загривок, тряхнул, похлопал, прическу ему пригладил. «Иди», — говорит. И все. Боря — пулей в дверь. А Старик глядит ему вслед. «Хорошие люди у нас, Донат, а? Не бывает лучше. Но выговор ты ему, подлецу, напиши. За моей подписью. Он на меня не обидится, а Другим наука. Другие-то могут оказаться невезучими».

— Кстати, это произошло тогда, когда ему нужно было уехать. Я о Долотове.

— Думаешь, не простое совпадение?

— Трудно сказать. После его сумасшедшего полета машину поставили на нивелировку, стали снимать двигатели, вот он и освободился. Кажется, это было в феврале?

— Вроде так. У него ежегодные поездки на восток, наверно, какой-нибудь дружеский сабантуй, а? Говорили еще, что не то жена, не то теща кому-то в жилетку плакалась. Ты не видел ее, Борькину жену? Тоненькая, глазки растопыренные, пальчики прозрачные, когда подает, брать боязно. Чуть что — в краску. Ей бы белый передничек да в школу, в седьмой класс. Не верится, что она женщина. Ну, да ладно. Твои-то дела как, что с «девяткой»?

— На тренажере все получается.

— И много нового?

— Демпферы рысканья, тангажа, а главное — автомат дополнительных усилий на штурвале.

— На строгие режимы?

— Да.

— Будешь уточнять, когда и как он должен срабатывать?

— Да у них все подобрано предположительно.

— Человек предполагает, а бог располагает. В экипаже-то знаешь кто?

— Да. Извольский, Козлевич, Карауш? Гай кивнул. Он не сказал: «Знаешь, кто за Санина?» — но каждый раз, когда он видел чью-либо фамилию в графе «штурман-испытатель», которого записывают третьим в полетном листе, ему, как и Лютрову, казалось, что человек этот занимает место Сергея Санина. Вот и сейчас они вместе вспомнили об этом и замолчали, глядя, как заруливает на «С-440» посаженный раньше времени Боровский.

Минуту они наблюдали, как спускается по приставной лестнице экипаж подрулившего самолета.

Одним из последних, вслед за высоким седым ведущим инженером, вышел Боровский. Движением руки с затылка на спину снял кожаный шлем и, обнажив коротко остриженную голову на сильно загорелой шее, стал похож на профессионального боксера из американских фильмов. Его нельзя было не выделить из всех, кто проходил мимо, поднимался по трапу или спускался с него; медлительный, рослый «корифей» будто и не замечал суеты вокруг самолета, не вдруг поворачивал голову к тем, кто обращался к нему, отвечал коротко и так, что переспрашивать не всякому, хотелось. И только когда его

подозвал к передней стойке шасси и стал ругаться, показывая на спаренные колеса, старейший бортмеханик Пал Петрович, Боровский склонился к нему и принялся что-то объяснять.

— Чего это он? — спросил Лютров Гая.

— Пал Петрович?.. Он всегда ругается после рулежек, считает, что на его корабле надо пошустрее разворачиваться. У него теория: чем медленней движется машина на развороте, тем большие напряжения на резину передней ноги.

— У «корифея» есть склонность к малым радиусам на разворотах...

Когда Боровский прошел от самолета к зданию летной части, Гай медлительно произнес:

— Вот и на совещании у Данилова он слишком круто повернул... А Старик — это не Пал Петрович...

— А, товарищ Лютров! Приветствую будущего командира! Здоров, Леша! Где пропал?

Это зашел летавший с Боровским Костя Карауш. На его сером комбинезоне было расстегнуто едва ли не все, что возможно расстегнуть, так что коричневая исподняя рубаша просматривалась до пояса. Защитный шлем он держал за ремешки, как котелок.

— Гай, чего это нас посадили? Дед собирает? Зачем?.. Серьезно? — Костя присвистнул.— Ну, отцы-командиры, я вам не завидую. Так просто Дед не приедет, он вам пыжа воткнет!.. Мне? А я чего? Я — беспартийный.

— Нет, Леша, ты видел эту казанскую сироту?

Главный подъехал к административному корпусу на своем «ЗИЛе», покойном и прочном, как старое кресло. Он тяжело вынес из машины тучнееющее тело, освобожденно выпрямился и оглядел встречающих — Добротворского, Данилова и стоящего в стороне от них Иосафа Углина, бывшего ведущего инженера «семерки», одетого в поношенный селечочно-серый костюм.

Видимо, так и не вспомнив, кто это, Соколов изумленно поверх очков поглядел на ведущего и ему первому протянул руку.

Главный был по-стариковски суров, однако разговаривал неожиданным для его вида молодым ироническим баском, обладал цепкой памятью и неслабеющим трудолюбием. Каждое появление Соколова на базе воспринималось окружающими как подтверждение принадлежности знаменитого имени живому человеку, строившему летательные аппараты, когда еще не многим было знакомо слово «авиация». В день его шестидесятилетия одна солидная газета написала: «В этом человеке ярко воплотился русский инженерный гений, духовная сущность которого неотделима от подвижнического служения народу, от сыновней любви к Родине, и осознанного долга споспешествовать ее славе». И это было правдой. Его ум пестовал самолетостроение почти от его истоков до сверхзвуковых кораблей; о творческой интуиции Главного, академических знаниях, умении найти лучшее из сотен возможных решений рассказывали в стиле анекдотов об остроумии Пушкина.

Вот это, и только это, давало ему непререкаемое право управлять работой одного из крупнейших в стране конструкторских бюро.

Смолоду неказистое, к старости лицо его оплыло глубокими складками;

белые короткие волосы не скрывали неправильной формы шишковатую голову; одряхлевшие, сурово нависшие веки затенили нетерпеливые глаза-льдинки, всевидящие, всепонимающие. Создавалось впечатление, будто Старик давно и прочно огрубел, отстранился от живого пульса дней, от необходимости общаться с окружающими, но как только он начинал говорить, это впечатление исчезало. Властный низкий голос, то насмешливый, то пытливый, недвусмысленно выдавал великолепного собеседника, не терпящего бесед применительно к его возрасту. Все в поведении и одежде было без позы, без претензий. Носил двубортные пиджаки, сорочки без галстуков, но застегнутые на все пуговицы, зимой — дубленое полупальто, треух, легкие войлочные ботинки. Глядя на него, трудно было поверить, что не только самолеты, но и КБ, аэродром, подъездные дороги, жилые кварталы фирмы назывались его именем, хотя никто никакими указами этих названий не присваивал. Из-за внешней непрезентабельности он легко терялся на людях, подчас попадая в курьезные истории.

Рассказывали, как-то в конце рабочего дня, когда в сборочном зале завода уже было нелюдно, Старик рассматривал многоцелевые закрылки поставленного в ангар «С-44». На крыле несколько работниц торопились окончить клейку лоскутов ткани к элеронам. К утру намечалась наземная отработка управления, а потому работа была срочная. Вид лысого старика в плохоньких очках вывел из равновесия одну из женщин. Что пришло ей в голову, бог весть. Скорее всего, как всякая женщина, она чувствовала себя неловко, будучи обозреваема снизу.

— Что уставился, старый хрен! — напустилась она на Главного. — Стал и стоять, будто дело делать! А ну уматывай!..

Узнавшие Главного одергивали подругу за халат, шептали:

— Замолчи! Чего мелешь?.. Вот дура...

Это был едва ли не единственный случай, когда на Старика прикрикнули; ни один человек в здравом уме не решился бы на такое.

Главного легко угадывали по манере отрешенно опускать голову при ходьбе, закладывая руки за спину и потешно взбрыкивать ногами, когда на пути попадался камешек. Чем больше он был озадачен, тем дальше зафутболивал всяческую нечисть из-под ног.

Впервые встречаясь с человеком, он величал его только по имени-отчеству, однако всем сослуживцам говорил «ты», и это не выглядело невежливо.

Иногда кто-нибудь из новичков инженеров, следуя моде демонстрировать «широту взглядов», небрежно замечал о старческой немощи Главного, о том, что Старик «не тот», а если и продолжает руководить фирмой, то номинально, гонорис кауза, так сказать, вроде почетного президента. Такие высказывания в кругу старых работников базы оборачивались для «смельчака» тем же, чем обернулась попытка забросать грязью Вольтера на известном рисунке Домье: хулитель оказывался по колено в грязи. «Смельчак» трезвел, понимая, что сморозил глупость. Одному из таких верхоглядов Костя Карауш сказал:

— Никогда и никому, кроме мамы, не доказывай, что ты вундеркинд.

Едва Старик скрылся за двойными дверями с надписью золотом по небесно-голубому «Главный конструктор», как в диспетчерской длинно зазвонил телефон.

— Николай Сергеевич приглашает летный состав. Лютров вошел последним, вслед за Витюлькой Извольским. Все старались сесть подальше,

стулья возле большого, как бильярд, стола, где сидел Старик, исподлобья оглядывая входивших, пустовали. Лишь Нестор Юзефович, нимало не смущаясь, что выглядит фигурантом, представляя собою заболевшего Добротворского, одиноко восседал одесную начальства, с подобострастной строгостью оглядывая каждого входящего, словно тот должен был входить как-то иначе. Между Гаем и Саегиреевым, опустив голову и теребя брелок на связке автомобильных ключей, сидел начальник отдела испытаний Данилов. Под его пальцами то и дело поблескивал кружочек металла, сделанный в виде древней монеты с изображением чеканной головки женщины.

Минуту в большом кабинете, залитом лучами закатного солнца, было тихо. Забывшись, Старик чертил что-то на листе бумаги, подперев левой рукой тяжелую голову.

— Все? — спросил он.

Ему никто не ответил, даже Юзефович; скажешь «все», ан какой-нибудь подлец и подведет.

Старик переводил взгляд с одного лица на другое, покручивая в руках пестрый карандаш. И неловкое молчание, и причина, ради которой они собрались, и то, что предстояло услышать, было настолько чуждо человеческой величине Главного, что Лютрову стало стыдно за амбицию Боровского. Для Юзефовича подобные истории были вполне в масштабе его личности. Он и сейчас, как губка, напивался сдавленной атмосферой скандала, освященного присутствием Главного. Одно это сознание, что Старик участвует в привычных Юзефовичу делах, было невыносимо. Хотелось, чтобы Дед закричал, обозвал всех последними словами.

— Ты! — как удар гонга прозвучал голос Старика.

Карандаш в руках Главного нацелился в грудь Гая.

— Что скажешь о катастрофе «семерки»?

Гай поднялся, машинально проверил, на месте ли галстук:

— Мне... известны выводы аварийной комиссии.

— Мне тоже, — перебил его Старик. — Я хочу знать, считаешь ли ты эти выводы обоснованными?

— У меня нет оснований ставить под сомнение документы комиссии, — Гай наконец понял, чего от него хотят.

Старик махнул рукой, садись, мол, и направил карандаш в сторону Чернорая.

— Ты?

— Считаю заключение комиссии убедительным, — мешковатый и широкоплечий, Чернорай переступил с ноги на ногу и сел.

— Ты?

— Чего я, умнее других? — Долотов покосился на «корифея».

— Ты? Ты? Ты?

Последним поднялся Лютров.

— Под заключением комиссии стоит моя подпись.

Старик кивнул, подводя черту, и замолчал. Заметно было, что в этой части собеседования он и не ожидал иного результата.

Неопрошенным оставался Боровский. Главный или не хотел к нему обращаться, или не решил, как к этому приступить. Он встал из-за стола, прошелся от угла до угла стены, закинув руки назад и разглядывая паркет. Пнуть ногой было нечего. Дойдя до Боровского, остановился.

Тот медленно поднялся, оказавшись на голову выше Старика.

— Ну? Скажи ты? — тихо произнес Главный.

Крупное лицо «жорифея» в редких рябинах на лбу и щеках стало серым. Он либо впал в прострацию, либо решил молча принять кару.

— Молчишь, сучий сын! — фальцетом взвизгнул Старик и от волнения пожевал губами. — Счастлив твой бог, что молчишь!

Вернувшись в кресло за столом, он некоторое время барабанил пальцами по стеклу на зеленом сукне.

— Запомните, никто не мог прямо или косвенно способствовать несчастью. Никто не мог и предвидеть его. Ни вы, ни я. Знаю, более опытный летчик справился бы. Но это не выход, и я не виню Димова. Когда не удастся с достаточной убедительностью сослаться на несовершенство какой-либо самолетной системы как на причину катастрофы, причастным и непричастным к расследованию овладевает соблазн предполагать криминал в действиях летчика; мертвые сраму не имут и возразить не могут, а техника не терпит неосведомленности, неосторожных выводов. Человек же для всякого дурака достаточно изученная и порочная система. Дурак ставит человека на порядок ниже автоматических устройств, это модно. Если дурак образован, то обязательно моден. Но посади дурака в полностью автоматизированный самолет в качестве пассажира, он сбежит из него в салон «ЛИ-2», откуда при желании нетрудно разглядеть человека за штурвалом... Да, специфика аэродинамической компоновки тяжелых сверхзвуковых машин требует новых решений в цепи управления: в строгих режимах летчик не может полагаться на свою реакцию. В сжатых до долей секунды отрезках времени человек не способен мгновенно перерабатывать получаемую информацию; он, как теперь говорят, всего лишь одноканальная счетно-решающая система, склонная к ошибкам в отборе и оценке сигналов. Но это не значит, что человек не пригоден больше для управления современными машинами, нужно лишь вовремя переориентировать его способности. Мы же, конструкторы, не всегда, к несчастью, достаточно оперативно предугадываем и разрабатываем то, что нужно дать в помощь летчику... Вот о чем говорит катастрофа «семерки», а не о слабости Димова и не о пороках испытательской практики. Автоматические устройства по мере развития авиации должны восполнять то, чего человек лишен в силу своей природы. Заменить же его удастся, когда соберут дубликат конструкции мира. Это справка для дураков...

Старик закашлялся и сник, изнемогая от удушья. А когда кашель оставил его, он долго сидел отдуваясь, пузыря щеки.

— Нам предстоит разработать принципиально новую систему управления... многократно резервированную, достаточно сложную в коммуникационном отношении, наконец, конструктивно сложную из-за большого количества исполнительных устройств для обеспечения безопасности полета. Кроме прочего, важнейшим критерием качества новой системы управления является величина запаздывания отклонения рулей по усилиям на органах управления. Думаю, через месяц, много — полтора, начнем устанавливать на «девятку» новые, более эффективные демпферы тангажа, затем автомат дополнительных усилий, который потребует серьезных полетов по доводке. Кто из летчиков назначен на «девятку»?

— Лютров, — подсказал Данилов.

Сощурившись, Старик посмотрел на Лютрова и улыбнулся.

— А вторым?

— Извольский.

— Ты, что ли? — Старик смотрел на Витюльку откровенно улыбаясь.

— Я,

— Не боишься, что пришибет?

— Не, он смирный.

В комнате дохнуло весельем. Старик смеялся, пока не закашлялся.

— Вот и все, — сказал он, пряча платок в карман. — Все, что касается «семерки». «С-14» — первая машина с таким весом и такими летными данными. Первая! Это следует уяснить тем, — он посмотрел в сторону Боровского, — кто пытается давать субъективные толкования происшедшему несчастью. — Он минуту помолчал, оглядывая лица летчиков. — Неужели вы... могли предположить, что я вот так просто прощу человеку, хоть в малой степени виновному в гибели людей? Я приехал не для того, чтобы наказывать за чванство, спесь и всякое дерьмо. Но мне не безразлично, что вы думаете обо мне... и как расходуете энергию своих нервов, и, наконец, что думаете о тех, с кем работаете. А потому предупреждаю: противопоставляющих интересы собственной персоны интересам дела выгоню за ворота. Надеюсь, в моих словах нет неясных мест. Вы свободны.

Выходя из кабинета Главного, Гай-Самари, как это показалось Лютрову, демонстративно подошел к Боровскому и, положив руку ему на плечо, стал говорить о чем-то с выражением живого участия на лице. Разговор их продолжался и в приемной.

Ожидая, пока Гай освободится, чтобы вместе ехать домой, Лютров стоял рядом с Костей Караушем, смущавшим своими комплиментами светловолосую секретаршу Добротворского, чей кабинет находился напротив апартаментов Главного. От генерала вышел Руканов. Приметив у окна Гая, он направился к нему и потянул за рукав, приглашая для разговора наедине, что, на его взгляд, было важнее беседы Гая с попавшим в немилость Боровским. Но произошло весьма неожиданное. Всегда вежливый Гай вдруг слишком громко, чтобы это было случайным, одернул своего ведущего:

— Володя, ты же видишь, я с человеком разговариваю!..

Опешив от такого поворота дела, Руканов поправил очки и растерянно оглядел приемную. Костя Карауш с таинственным видом поманил его пальцем. Когда Руканов подошел, Костя сделал вид, что собирается сообщить ему нечто по секрету. Руканов подставил ухо, ожидая, видимо, услышать объяснение странному поведению Гая.

— Поимей уважение! — подражая Гаю, громко сказал Костя.

Последним из кабинета Главного вышел Данилов. Он подошел к Боровскому.

— Игорь Николаевич, планируется большой полет на вашей машине, не возражаете, если вторым летчиком с вами полетит... э...

— Хоть мешок сажайте, — сказал, как выругался, Боровский.

Опустив голову, Данилов пошел к выходу. У него был вид человека, который ненароком сделал больше зла, чем хотел.

«Не везет человеку, — подумал Лютров, когда ему сказали, что у ведомого Боровским «С-440» зависла на полпути правая стойка шасси. — Неделю назад получить выволочку от Старика, а теперь еще это. Не слишком ли?..»

Боровский кружил над аэродромом — вырабатывал топливо. Вдоль полосы выстроились пожарные машины. Слушая в диспетчерской переговоры

Боровского с руководителем полетов на КДП, Юзефович посчитал необходимым сказать и свое слово.

— Передайте, пусть сливает топливо и садится на грунт, — Юзефович даже зарумянился от чувства сопричастности к событию и так оглядел присутствующих, словно приглашая их оценить сказанное.

Через минуту в динамике послышался медлительный бас «корифея»:

— Скажите тому, кто вам это посоветовал, чтобы он учил свою бабушку... Сливать — значит облить топливом крылья и помочь машине загореться. А садиться на грунт с одной ногой на такой машине, когда под самолетом бетонная полоса, может только ненормальный.

У Юзефовича вытянулось лицо. Стоявший у окна Костя Карауш запричитал:

— Айя-яй!.. Делай людям добро после этого!

За посадкой наблюдало множество людей. До последней секунды «С-440» катил по полосе так, будто обе стойки основного шасси были в порядке, и только когда скорость упала до предела, самолет нехотя прижался правым крылом к бетону, развернулся поперек полосы и замер. Это была мастерская работа. Подъехавшим пожарникам нечего было делать.

Возвращаясь на «РАФе» с места аварии, Гай-Самари заметил:

— Мне хочется высказать ему свое восхищение, но... Сидевший напротив Чернорай возразил: — Боровский запросто мог сгореть, хвалить его не за что.

— Что ты имеешь в виду?

— Лопасты винтов. Надо было зафлюгировать их со стороны невыпущенной ноги. Если бы он это сделал, винты бы не вращались, не размалывали сами себя на бетоне и не пробиты бы обломками топливные трубы, размещенные в плоскости вращения. Ты видел пробоины на гондоле среднего двигателя?..

О чем бы ни говорил Чернорай, у него было неизменное, всегда безучастное выражение лица, как у человека, которому все происходящее вокруг однажды уже показывали. И оттого наблюдательность его производила всегда неожиданное впечатление. Рядом с ним как-то некстати были восторги, споры, горячность.

Было известно, что Соколов сам добился перевода Чернорая из стратегической авиации к себе на фирму. В воинской части, где служил Чернорай, произошло две аварии во время полетов на двух разных самолетах Старика. В первый раз самолет вошел в штопор, и все члены экипажа по приказу Чернорая покинули корабль. Оставшись один на борту, командир вывел самолет из штопора в самые последние минуты. Второй раз, тоже оставшись один, он посадил большой самолет на вынужденную, рискуя не только машиной, но и самим собой. Соколов поехал посмотреть место приземления — узкую полосу луговой поймы. Самолет не имел ни одной видимой поломки и стоял в десяти метрах от обрыва реки, как на выставке.

— Кто сажал?

— Майор Чернорай.

— Это который в штопор попал?

— Так точно.

— Хочешь ко мне? — спросил он майора после разбора аварии.

— Кто к вам не хочет! — ответил Чернорай. Его назначение ведущим летчиком нового лайнера было далеко не случайным, это понимали все...

Но выволочку, которую устроил «корифею» Старик, по справедливости

должен был бы разделить и Нестор Юзефович.

Как это нередко бывает с выскочками, Юзефович более всего был озабочен самоутверждением.

Он принадлежал к той категории людей, которые нисколько не сомневались в своей пригодности к любому посту, и если чего и не хватало им, чтобы выдвинуться, так это подходящего случая. Юзефовичу такой случай представился. Бывший заведующий складом цветных и черных металлов принял обязанности заместителя начальника одного из филиалов фирмы. Увы, не надолго. Юзефович остался без места сразу после окончания войны, когда вставшие перед КБ задачи потребовали коренной реорганизации дела.

Вот тогда-то в руки Соколова и попало письмо на трех страницах, в котором бывший заместитель начальника филиала просил предоставить ему работу, мотивируя просьбу многословным описанием тяжелого положения семьи.

— Кто это? — спросил Старик Разумихина, разбирая папку «На подпись».

— Ну-ка... А, этот,— лицо Разумихина, приняло нехорошее выражение. — Это Юзефович.

— Вижу. Ну и что? — Старик не терпел неясных ответов.

— Тяжелый человек... С ним никто ужиться не может, в каждом видит личного врага.

— Ишь ты, гусь.

Старик крутил в руках лист бумаги, не зная, что с ним делать.

Отчего он не закрыл ему двери на фирму? Ведь одного слова Старика хватило бы, чтобы Юзефовича и след простыл в авиации.

К неудовольствию Разумихина, Старик отложил письмо в сторону.

— Узнай. Если врет, никакой работы. И Разумихин добросовестно выполнил поручение.

Он разыскал человека, который лучше многих знал семью Юзефовича и мог рассказать о ней, не лукавя перед начальством. Человеком этим был рабочий Иван Ефремов, высокий пожилой медник, с виду неприветливый и уж никак не добрый, живущий по соседству с Юзефовичем и сделавший его сыну — калеке от рождения — особенные протезы, благодаря которым мальчик мог передвигаться по квартире.

Иван Митрофанович Ефремов был известным человеком. Соколов, не моргнув глазом, мог бы отказаться от услуг иного доктора наук, но посчитал бы тяжким уроном для опытного завода фирмы, вздумай Ефремов уволиться. В свои нередкие и все-таки всегда неожиданные посещения завода Соколов первым делом шел в медницкий цех, к грохочущему механическому молотку, за которым с листом дюрала обычно простаивал Ефремов. Приметив Главного, медник не торопясь останавливал молоток, откладывал работу, вытирал почерневшие от алюминия руки и хрипло произносил, улыбаясь одними глазами:

— Здравствуй, Николай Сергеевич.

Внимание Соколова было данью уважения к высокому искусству медника, одного из немногих на заводе, кто способен был выбить из листа дюрала сложнейшие по кривизне детали обшивки самолета, да так, что они ложились на уготованное место, как влитые. А в те трудные военные годы, когда Главный месяцами не покидал завода, налаживал выпуск самолетов, Ефремов, этот мрачный полуоглохший человек, приходил в редкие свободные дни на квартиру Соколовых, чтобы хоть чем-нибудь помочь по хозяйству. Ремонтировал

водопровод, конопатил окна, прочищал батареи отопления, чинил ботинки сыну Соколова, тогда еще школьнику. Нередко перед началом работы он поднимался в апартаменты Соколова в здании КБ, куда пускали по специальным пропускам, и говорил вахтеру:

— Вызови Николая Сергеевича.

— Вы кто такой?

— Скажи, Ефремов зовет. И стоял, пока Главного не вызывали.

— Возьми, — медник отдавал ему сверток. — Юля Николаевна наказывала теплые есть, в тряпицу укутала.

Обычно в свертке лежали пирожки с картошкой и луком, любимое лакомство Соколова.

Непростое, по-своему примечательное зрелище составляли эти два человека — известный авиационный конструктор и рабочий-медник, в чем-то главном повторявшие друг друга.

Что же общего было между ними? О чем они могли беседовать?

Люди недалекие усматривали в их общении что угодно, только не естественное в своей простоте уважение друг к другу работников одного времени, одного духовного облика, равных смыслом прожитого и будущего — их трудом, той главной сущностью людей, ценность которой непреходяща.

Как и Соколов, Ефремов не ждал указаний, когда видел нужду в своих способностях, за что не раз вызывал гнев мастера, считавшего, что тот занимается «черт знает чем, какими-то самоделками». Где мастеру было знать, что единственная медаль, которой его наградят, появится у него благодаря «самоделкам» Ефремова.

В 1942 году из Англии стали поступать самолеты «харрикейн», истребители далеко не первоклассные, да еще и со снятым вооружением. Пригнанные машины стояли в ожидании, пока их оснастят оружием. Работу по изготовлению лафетов под необходимое вооружение для ста пятидесяти «харрикейнов» поручили как раз тому филиалу, где работал Юзефович. На изготовление конструктивно довольно сложных лафетов шли в основном толстостенные цельнотянутые трубы из высоколегированной стали. Но едва было налажено производство изделий, как имевшиеся в запасе трубы кончились, а поступление новых было столь мизерно и нерегулярно, что выпуск лафетов практически прекратился. Чем это грозило Юзефовичу, он понимал хорошо, и носился по всем поставщикам, складам, но труб нигде не было. «Харрикейны» стояли. Юзефовичу позвонили и вежливо попросили назвать срок оснащения изделиями английских истребителей. Он сказал, что «приложит все силы, чтобы через неделю...». Прошла неделя, а труб не было. Юзефовича снова предупредили. Он вызвал начальника отдела снабжения, принялся стучать по столу и кричать, что тот работает на немцев. Но и после этого трубы не появились.

Как раз когда Юзефович выяснял, на кого работает начальник отдела снабжения, в кабинет главного инженера филиала вошел Иван Ефремов.

— Ты что? Что это? — спросил главный инженер, не понимая, для чего медник положил ему на стол кусок трубы. Медник молчал.

— В чем дело, Иван Митрофанович? Чего ты ее мне приволок? — заорал главный инженер, вспомнив о глухоте рабочего.

— А ты — гляди, разуй глаза.

Совет был как нельзя кстати: на столе лежала самодельная труба со сварным швом по всей длине.

— Согнул?! Из листа?

Ефремов кивнул.

— А лист? Лист, где брал?

— Его на складе — завались, никому не нужен.

Главный инженер был изумлен: не только толщина стенок, точность и чистота изготовления трубы отвечали всем требованиям, но и прочность ее почти не уступала цельнотянутому.

Сборка конструкций началась в тот же день и не прекращалась до тех пор, пока все сто пятьдесят «харрикейнов» не были оснащены лафетами.

...Беседа Разумихина с медником состояла в основном из вопросов и длинных пауз. Ответы Ефремова были односложны и назревали в нем не вдруг. Но и сказанного им было достаточно, чтобы получить представление о семье Юзефовича. А поскольку Разумихин не мог позволить себе и тени неправды в отношениях с Главным, чье уважение ставил выше своих симпатий, то и доложил ему все, что услышал и от кого услышал.

Есть на удивление безрадостные, глухие ко всему внешнему, живущие как в бреду семьи. Такая семья была у Юзефовича, на чьем иждивении состояла престарелая теща и жена — толстая, рыхлая женщина. Эти родные по крови люди были посторонними друг другу, да и всем вообще. Единственное, что их объединяло, — это крыша над головой да тягостная привязанность к четвертому члену семьи — сыну Юзефовича, калеке от рождения.

Выслушав Разумихина, Главный написал наискось по письму: «Разумихину. Устрой куда-нибудь. Соколов».

В ту пору заканчивалось строительство летно-испытательной базы, и Разумихин вызвал к себе ее будущего начальника. Протянув письмо Добротворскому, сказал:

— Посади эту ... где-нибудь.

Зная Разумихина, Добротворский не придавал значения оскорбительному слову и, ничтоже сумняшеся, назначил Юзефовича помощником ведущего инженера, в обязанности которого входило в основном разъезжать по фирмам-смежникам и «выколачивать» своевременные поставки самолетного оборудования.

В новом для окружающих качестве Нестор Юзефович начался после единственного в своей жизни прыжка с парашютом — из той самой машины, которую так и не успел посадить Иван Моисеев. Подсказкой для несколько поспешного назначения помощника ведущего инженера и. о. начальника комплекса послужили несколько причин. Во-первых, Юзефович мозолил глаза, ожидая компенсации за пережитый ужас; во-вторых, как помощник ведущего сгоревшей машины он остался «безлошадным»; в-третьих, после ухода на пенсию прежнего начальника комплекса под рукой не оказалось кого-нибудь в равной степени находящегося не при деле.

Получив должность с оговоркой и. о., Юзефович старался уверить начальство в своем безусловном служебном соответствии, «потому как он имеющий опыт».

Это было трудно. Юзефович боялся находящихся у него под начальством дипломированных инженеров, грамотных, знающих, которыми фирма щедро пополнялась в последние годы. Что противопоставить умным зубастым инженерам? Заслуги? Стаж? Старо. Утверждалась эзопова мудрость: жизнь, как басня, ценится не за длину, а за содержание. Оставалось одно — как можно чаще ставить людей в положение зависимости от персоны и. о. начальника

комплекса. Как и все недалекие люди, Юзефович никому не доверял. «Никому верить нельзя, каждый ищет, где больше платят». «Мне не важен опыт, мне не важно образование, мне важно содержание». (Последнюю фразу любил повторять Костя Карауш.) Невежество и подозрительность Юзефовича все преломляли на свой лад. Юзефович усматривал низкие цели в желании помочь делу без корысти, не по обязанности; оскорбительный намек — в модном костюме подчиненного; вызов — в умении быть вежливым с тем, с кем он почитал себя вправе обращаться по-хамски; провокацию — в приглашении к языку формул, и так без конца. Чтобы оказаться в центре кляузных событий, затрагивающих подчиненных, нужно было заставить их проникнуться той же тревогой за свое место, в какой пребывал он сам. Пусть маленькая эта власть, но она принуждает людей смотреть на него как на и. о. начальника комплекса, первыми протягивать руку, нести бумаги на подпись, так или иначе зависеть от него. Он изо всех сил насаждал вокруг себя атмосферу недоверия, подсиживания, сведения счетов по мелочам, чтобы не остаться однажды в обстановке ясности, которая разом выкажет подлинные величины каждого; он боялся чистоты, как иные породы рыб боятся прозрачной воды.

Уязвленное самолюбие Боровского оказалось на руку Юзефовичу. Юзефович был не настолько глуп, чтобы видеть в Боровском родственную душу, но достаточно умен, чтобы угадать возможность его использования, как биты для игры. При всяком удобном случае он давал понять «жорифею», что лично он за его назначение командиром нового лайнера, но Боровский должен сам действовать, «показать этим соплякам», что с ним шутить накладно, иначе его затрут и т. д.

Боровский вынес из этих бесед главное — подтверждение своей правоты, а затем бесхитростно лез напролом, не желая соглашаться на «вторые роли» в фирме, где отработал тридцать лет, не допуская и мысли, что рядом с ним работают летчики, ни в чем или почти ни в чем ему не уступающие.

Лето началось туманами и обложными дождями, словно расплачивалось за ясноглазую весеннюю теплынь.

Из-за плохой погоды несколько раз отменяли первый вылет «С-441». Бесконечные отсрочки измотали экипаж, механиков, ведущих инженеров, аэродромные службы. Нависшая над летной базой хмара на картах синоптиков выглядела широкой заштрихованной полосой, протянутой от Скандинавии до Приазовья. Плавно изгибаясь, полоса эта разделяла два эпицентра с почти равным атмосферным давлением, и облачность как бы застыла между ними.

По утрам на площадке перед зданием летной службы собиралось множество автомобилей, фото- и кинорепортеров, спецкоров газет. Техника заставляла киношников всякий раз заново выстраиваться по сторонам взлетной полосы, устанавливать треноги киносъёмочных аппаратов и тягостно ждать, пока на КДП не объявляли отбой.

Синоптики на вопросы о видах на следующий день неизменно отвечали:

— Может, прояснится, а может, и нет.

— Как у той бабушки? — усмехались уставшие ждать корреспонденты.

— Какой бабушки?

— Которая надвое сказала.

Репортеры побывали у всех, кто соглашался сказать «два слова» об экипаже.

Операторы, назначенные на самолет сопровождения к Борису Долотову, с утра садились «забивать» в домино вместе с экипажем, в полной уверенности,

что они-то не опоздают сделать свое дело. После каждой партии двое проигравших должны были пролезть под бильярдным столом, играть же в бильярд было невозможно из-за наплыва жаждущих запечатлеть или описать первый вылет «С-441». Чаше других выигрывали Долотов и Костя Карауш. Это казалось несправедливым, подогревало страсти осовевших от безделья болельщиков.

— Умственная игра, — иронизировал, ни к кому не обращаясь, один из спецкоров, называвший себя писателем, — вторая по сложности после перетягивания каната.

— А вы присядьте, — советовал Карауш. — Попробуйте, инженер человеческих душ.

Спецкор не выдержал... И через десять минут, растопырив длинные руки и худые ноги, писатель проползал под бильярдом.

Наконец небо очистилось. Еще при выезде из города Лютров заметил голубые просветы между облаками, а когда подъезжал к базе, Чернорай выруливал на старт.

По всей километровой линии рулежной полосы плечом к плечу стояли люди. И хотя давно прошли те времена, когда новый самолет мог попросту не взлететь, первый вылет по сей день таит нечто, вызывающее тревогу. И чем дольше тянутся приготовления, тем сильнее беспокойство в душах людей.

Слева от застывшего на стартовой площадке лайнера стоял «ЗИЛ» Главного. Соколов мерил шагами кромку бетона, не поднимая головы, выслушивал ведущих инженеров КБ и летной базы, коротко говорил что-то, изредка вскидывая глаза на собеседника. Когда Чернорай доложил о готовности и об этом передали Главному, тот сел в автомобиль, и шофер ходко покатил вперед, по непомерно широкой для «ЗИЛа» взлетной полосе. Все свои самолеты Главный провожал в первый полет у места отрыва от земли.

Долотов уже с полчаса утюжил небо над летным полем. На кромках лишенных стекол иллюминаторов его самолета свистел воздух: в отверстия, как в бойницы, фотографы и кинооператоры нацелили свою глазастую технику. Дождавшись, когда Долотов вышел на прямую к месту старта, Чернорай вывел двигатели на взлетный режим и снял корабль с тормозов.

Люди затаили дыхание. Теперь лайнер будет бежать, пока не взлетит. Время разбега отсчитывалось ударами сердец, и с каждым ударом сердце каждого словно увеличивалось в объеме. Магия рождения самолета никого не оставляет равнодушным, независимо от степени причастности к его созданию. Да и как ее измерить, эту степень?

«Наш!» — это и общая награда, и общее звание, и общее достоинство, и одинаковый для всех хмельной вкус радости.

Наблюдая за разбегом, Лютров испытывал чувство, похожее на страх и знакомое мотогонщикам, оказавшимся на заднем сиденье мотоцикла.

Оторвалось от земли колесо передней стойки шасси, острое окончание фюзеляжа подалось в небо. И вслед за тем последовало как бы прощальное касание бетона многоколесными тележками основного шасси. Уже в воздухе, но еще не в небе, лайнер обрушивается на Главного и всех, кто стоит рядом, победный рев четырех двигателей.

На дрожащих от волнения губах Соколова проскользнула, прячась в глубоких складках щек, растроганная улыбка. От сострадания к этой улыбке, вызванной, может быть, последней радостью великого инженера, у Лютрова перехватило дыхание.

После трех проходов над летной базой Чернорай старательно посадил машину и зарулил на стоянку.

Напряжение ожидания перешло в открытую радость. Экипаж сходил по трапу навстречу улыбкам, рукоплесканиям; победа десятков тысяч людей сделала четверых из них триумфаторами.

Чернорай не показался Лютрову взволнованным - ни когда его подбрасывали над головами, ни когда его истово целовал Старик, ни когда он отвечал на вопросы разгоряченных журналистов, ни на коротком разборе полета в кабинете начальника базы. Апартаменты Старика превратили в банкетный зал.

Торжественное застолье началось сдержанно, театрально, а закончилось весело и бестолково. Говорились речи, тосты, от поцелуев у Чернорая вспухли губы. Все ждали, когда избранный тамадой Боровский даст слово Гаю, сидевшему справа от Лютрова. Шеф-пилот умел говорить так, что все сказанное им запоминалось.

И вот Гай поднялся. Костюм цвета мокрой золы с красной искоркой, тускло-красный галстук. Красивое лицо его было серьезно и спокойно, он уже знал, что скажет, и все, глядя на него, смолкли, притих звон вилок.

— Этот год — как жизнь, — просто сказал Гай. — Начался он с проводов в последний путь четверых наших товарищей, наших друзей. Сегодня — большой праздник: Слава Чернорай вместе с нашими самыми молодыми ребятами Федей Радовым, Гришей Трофимовым и Колей Харебовым поднял в воздух самолет, которым мы можем гордиться. Это большой праздник. Но есть старый обычай: в день большого праздника выплескивать из бокалов часть вина, дабы поубавить себе удовольствия, потому что день твоей радости может совпасть с горем других. Этот обычай напоминает: не забывай о тех, кто не может разделить с тобой твоего веселья. Слава Чернорай и все сидящие здесь не обидятся на меня, если я в такой день приглашу помянуть тех, кто был рядом с нами и кого уже нет, кто никогда больше не придет на наши праздники: Георгия Димова, Сашу Миронова, Сергея Санина, Мишу Терского. Пусть каждый из нас выплеснет из себя чуточку праздника и вспомнит о них!

Выпили молча. А затем сидевший справа от Гая Костя Карауш, растроганный, поцеловал оратора.

— Люблю тебя, Гай! Умница!

Через час, когда вино и время ослабили напряжение от рвущегося наружу запаса слов, когда уехал Старик и его помощники, голоса за столиками стали вольными, разговоры потекли десятками самостоятельных ручейков.

Когда удалилось и базовское начальство, Костя принялся «давить» своим шумным косноязычием начальника бригады прочности деликатнейшего Бунима Лейбовича Шалита, к несчастью сидевшего рядом, справа от Кости. И вот уже от его анекдотов смеется, закинув голову, Гай, утирает слезы Буним Лейбович, довольный хохочет Костя.

Механик Пал Петрович влюбленно глядит на тамаду и говорит что-то, не замечая, что его никто не слушает.

Рядом с ним улыбается собственным мыслям Козлевич. Они у него сейчас настолько хорошие, что от удовольствия он нет-нет да и принимается хлопать в ладоши, приговаривая на мотив: «Валенки, валенки, не подшиты, стареньки»:

— Ла-адушки, ла-адушки, где были, у бабушки!..

Если ему еще выпить, он станет генеральски строгим, начнет подходить к знакомым и незнакомым, говорить вступительно: «Ну!» и, не меняя выражения лица, плотно целоваться — как благодарить за службу.

Сидящий справа от него Долотов, судя по оживлению облепивших его молодых ребят из КБ, тоже «завелся». Замкнутый, необщительный, Долотов был человеком особых статей. Начать с того, что ему везло как заговоренному. Дважды кряду: сначала в экипаже испытателей серийного завода на «С-440» — машину затянуло в неуправляемый крен из-за чрезмерно заниженной скорости захода на посадку с остановленными на одной стороне двигателями, они «промазали» полосу и врезались в ограду летного поля; и во второй раз на этой же машине с Тер-Абрамяном во время вынужденной посадки на лес, — в обоих случаях летавший вторым летчиком Долотов был единственным, кто мог рассказать о случившемся сразу же после аварии. Исход же аварии первого предсерийного «С-14», у которого во время захода на посадку внезапно остановились двигатели, выглядел неправдоподобно: упавшая машина разломилась надвое, а между тем никто из экипажа не пострадал. Вел самолет Долотов. На его счету значилось первое поражение воздушной цели истребителем-перехватчиком ракетной атакой «в лоб»; он поднимал «С-14», испытывал стартующие под крыльями самолета-носителя крылатые ракеты... Но никакие происшествия и никакие работы не делали его разговорчивее, ничего не меняли в складе характера. То малое, что было известно о нем, не позволяло составить сколько-нибудь законченного представления о его прошлом. Говорили о тяжелом детстве парня, об эвакуации из Ленинграда детского дома, где он рос, о бомбежке эшелона с детьми под Ярославлем, о лице фашистского летчика, увиденного Долотовым в открытом фонаре «Ю-88», когда тот уходил от земли, оглядывая результаты очередной атаки беззащитного эшелона. Все это, видимо, особым образом вылепило характер Долотова, наделив парня пронизательным и беспощадным умом. Летавших с ним Долотов удивлял настойчивостью, с какой добивался безукоризненного выполнения указанных в задании полетных режимов. Грубоватые остроты Кости Карауша обходили Долотова стороной, не иначе одессит имел случай убедиться, что шутить с этим парнем накладно.

Жена Долотова была дочерью прославленного аса второй мировой войны, командира авиаполка на востоке, в котором после училища служил Долотов. Его знакомству с будущей женой как-то способствовало то, что в учебном бою Долотов одолел аса на своем «МиГ-15».

Лютров, Гай-Самари, Санин, Костя Карауш и в особенности Извольский, которого Долотов уважительно называл по имени-отчеству — Виктор Захарович, — все они, каждый по-своему, любили Долотова, но не пытались навязать ему свое общество. Отчего-то не казалось странным, что на работе у него нет близких друзей. Будучи безупречным работником, Долотов оставался «человеком в себе» в отношении тех проходящих событий дня, о которых принято перекинуться словом в свободную минуту. О его отношении к Гаю Лютров узнал случайно, будучи во второй кабине нового истребителя-спарки. На правах летчика-инспектора Долотов выпускал его на облетанной им машине. Они заканчивали обязательный часовой полет, в котором выпускаемый прodelывает все предложенные инспектором маневры. Лютров посадил спарку в самом начале большой полосы и почувствовал, что Долотов взял управление.

— Долго бежать. Подлетнем немного, — сказал он.

Лютров так и не понял, для чего это ему понадобилось. Пока машина набирала полетную скорость, а затем отрывалась от земли, полоса оказалась на исходе. Поняв, что может не уложиться, Долотов поспешно бросил спарку на бетон так, что в ответ получил один за другим три «козла». Запахло «жареным».

На последнем подскоке, когда машина была в воздухе, Долотов успел поставить на тормоза колеса шасси. При следующем касании самолет точно прилип к земле. Колеса оставили позади три черные искривленные полосы от стертой резины.

Долотов молчал. Молчал и Лютров. Долотов все так же молча рулил на стоянку, и Лютров решил, что ничего и не услышит о неожиданном эксперименте инспектора, но тот вдруг заговорил:

— Из такого положения могут выбраться только Гай и Долотов.

Дорого дал бы Лютров, чтобы увидеть лицо человека в первой кабине. Ему стало весело. Чудной выглядела похвала Долотова самому себе.

— Но войти в такое положение тоже не всем удается?

— Воспитанные люди, Леша, отличаются от невоспитанных тем, что умеют не замечать чужие промахи.

— Будем надеяться, что на КДП сидят воспитанные люди.

Долотову повезло и тут: полетов в этот день было много, и его, единственную на памяти Лютрова, странную выходку никто не заметил. Выбравшись из кабины, Долотов посмотрел на стертую до непригодности резину колес и сказал, растерянно улыбнувшись:

— Видел ты еще такого дурака?

Зная характер Долотова, Лютров ни словом не обмолвился о происшедшем и, вспомнив о полете на спарке сейчас, на банкете, с интересом наблюдал, как после нескольких рюмок исчезает замкнутость Долотова. Он доказывал что-то ребятам из КБ, прерывая собеседника косноязычным словом: «Пджди, пджди, пджди!..»

Да и не только в Долотове происходила эта перемена, у всех сидящих за столом менялись и голоса, и лица...

Уже никто не слушал ни тамаду, ни запоздалых ораторов, порывающихся перекрыть всеобщий шум вспышками невнятного красноречия. Боровский раздумянулся и как будто помолодел, что не осталось без внимания Кости Карауша.

Лютров подумывал захватить с собою Карауша да убираться домой, когда к нему повернулся Гай.

— Слава зовет.

Лютров вопросительно поглядел на героя вечера. Чернорай указывал ему на место рядом с собой.

— Садись, Леша. Только не поздравляй, я уже ничего не чувствую.

— Все равно именинник, куда не денешься.

Крупное лицо Чернорая принадлежало к тем мужским лицам, что с годами не покрываются морщинами, не вянут, а становятся мосластыми — грубеет и все более проступает сквозь кожу костяк черепа.

— Погоди. Чего я тебе хотел сказать?.. Вот, черт, забыл!

— Вспомнишь. Что такой невеселый?

— Шут его знает, не по себе что-то... А тут еще Гай душу разбередил.

— Брось. И после нас кто-то будет здесь летать.

— Все так... Но Димову больше подошла бы громкая работа. Он на пять лет моложе меня, и потом, это такой парень был... Честный, чистый, умница... Его отец, болгарин из Молдавии, бывал у нас в части по праздникам, все покручивал усы, на сына любовался. Хороший такой дядька, на моего батю похож, тоже крестьянин. Станешь ему говорить, чтоб не забыл приехать на следующий праздник, а он смеется и отрицательно качает головой. Так у них, у

болгар, заведено; качает из стороны в сторону головой, значит «да», а сверху вниз — «нет»... Не дожил старик до января. Может, это и лучше. А тут еще Жоркина девушка...

Чернорай рассеянно крутил рюмку, отливающую цветами нефтяного пятна на воде.

Столы опустели. Торопясь покончить со сверхурочной работой, официантки убирали посуду. Часы над пустующим столом Главного показывали без малого девять.

Неожиданно возле них выросла растрепанная фигура ведущего инженера Иосафа Углина. Он стоял в перекошенных очках на блестящем носу, серый пиджак был расстегнут. Углин держал перед собой до половины налитую рюмку коньяка и старался быть торжественным.

— Вячеслав Ильич... и Алексей Сергеевич! Я хочу поздравить Вячеслава Ильича с... посадкой! Небывалой и нежной для такой машины. Да. Не думайте, что я пьян. Я намеревался сказать об этом раньше, но не решился... Перегрузка на шасси во время касания земли равнялась... Как вы думаете? Ноль пятнадцати сотым!.. Можете записать это... для биографии.

— Спасибо, мне очень приятно.

— Чернорай добродушно усмехнулся.

Ведущий тряхнул головой и отошел.

— Проси его на «девятку», — сказал Чернорай, — это стоящий парень...

— Да, я знаю.

Они помолчали.

— Леша, понимаешь, какая штука, — не очень уверенно начал Чернорай, — я должен съездить к Жоркиной девушке, да одному неловко как-то. Ты должен помнить ее, меня с ней на похоронах видел... Ждала ребенка, ну, а потом... Недавно привез из больницы, девка чуть дуба но дала. Ты человек свободный и не пьешь, как погляжу, составь компанию, а?.. Вот спасибо, Костя... Забирай одессита, по пути завезем, я на машине. Ты тоже?.. Слушай, оставь свою на территории, ну что мы цугом поедем... Вот и добро.

Костя дурачился, задавшись целью разыграть Чернорая. Сидя на заднем сиденье, он просовывал голову между Лютровым и Чернораем и выговаривался от души.

— Слышь, Леша, завтра об нем в газетах настрочат, которые в домино играть не умеют... Такой-сякой, родился, постился, учился. И вообще — воздерживался. Накопил и машину купил.

— Костя, ты когда-нибудь замолчишь?

— Знаем мы вас, героев нашего времени, верно, Леша? Одни интервью давать будете этим, которые инженеры. «Мое мнение такое: физкультура способствует, а витамины натошак — пользительно!»

— Леша, ослобони! — взмолился Чернорай, глядя на Лютрова.

— Потерпи, скоро довезем.

Но Костя и сам вскоре поутих, заговорил про Азорские острова, а когда остановились возле его дома в пригороде, расчувствовался, долго обнимал Чернорая, а заодно и Лютрова.

Теперь в черте города Чернорай вел машину так, как ездят автомобильные воры. Послушно плелся за перепачканным бетоном самосвалом с надписью «Не уверен, не обгоняй», загодя притормаживал у знака «Стоп». Стрелка

спидометра не продвигалась дальше отметки «50», даже когда впереди просматривалась свободная даль дороги.

— Не дай бог, остановят, — сокрушался он, — оставят без прав.

— Отдадут. Прочитают завтрашние газеты, и отделаешься отеческим назиданием. Известность, брат, не шутка...

— И ты, Брут?... Известность... Пошумят неделю и забудут. Кто, кроме нашего брата, помнит первых летчиков «Максима Горького», «Летающего крыла»?.. Ты не поверить: меня сегодня больше всего радовало, что Боровский — веселый... Будто не я, а он слетал... Я так чувствую себя неловко перед ребятами: ведь распишут, будто и в самом деле сотворил невесть что...

— Не бойсь, не переоценят. Воздадут должное. Чернорай замолчал, выбираясь из тесноты перекрестка, улица была запружена машинами, и надо было быть внимательным.

— Здесь, — Чернорай остановил машину, и они вы шли. — Тихо как, а? Будто и не город. У меня в багажнике припасено кое-что, помощи-ка!

Он нагрузил Лютрова тяжелыми пакетами, сунул под плащ, в карманы брюк две бутылки, запер «Волгу» и огляделся.

— Видишь бетонное крыльцо-модерн, через два дома? Туда.

В прихожей пятиэтажного, гостиничного вида здания их встретила пожилая женщина в длинном халате с мотком розовой шерсти в руках.

— Эт куда вы? Кто такие?

— К Любе Мусиченковой. Ее комната на втором этаже.

— Этаж знаете, а порядку не знаете? Время сколько? То-то что одиннадцатый. Если в бабье общежитие будут шастать по ночам, это не общежитие будет, усекли?..

— Вы уж извините, что не вовремя. Мы родственники, — напропалую врал Чернорай. — Прямо с вокзала, проездом, времени в обрез. Люба-то больна, знаете, наверно?

Что-то в их облике возымело-таки действие: по-слоновьи качнувшись, женщина отступила.

— Идите. Да чтоб к одиннадцати и духу не было. Усекли?

— Усекли, — отозвался Чернорай.

— Глядите! Чего в свертках-то?

— Всего помаленьку, фрукты, пирожные.

— Вينيща нет?

— Упаси бог! — заверил ее Чернорай и протянул коробку конфет.

— Это вам, за понимание и душевность, к чаю...

— Ты Любаше отнеси, родственничек, — сторожиха нахмурилась. — Она после больницы ой как плоха!

Они поднялись на второй этаж, прошли по плохо освещенному коридору и остановились перед дверью с цифрой 22 на голубом квадратике. Чернорай негромко и, как показалось Лютрову, опасливо постучал.

За дверью послышался шорох

— Кто там?

— Прошу прощения, Любочка. К вам можно? Дверь отворилась. Придерживая полу халата, перед ними стояла невысокая худощавая женщина с рассыпающимся узлом волос на затылке. Лицо не просматривалось, комнату освещала настольная лампа на столе у нее за спиной.

— Вячеслав Ильич!

— Добрый вечер! Не разбудили?

— Что вы! — испугалась она. — Заходите. А вы — Лютров? Я вас сразу узнала, вы самый большой из летчиков, и Жора мне о вас говорил... Вот вам стулья, а я вот тут устроюсь... У вас вино? Почему?

— Есть повод. Вы об аэродромных делах ничего не знаете, а я сегодня именинник, вот и приехал с вином. Не выгоните? Мы не надолго.

— Что вы, Вячеслав Ильич!

Когда она присела на кровать, свет лампы ярко охватил половину лица, подернутого желтизной, четко обозначил синеву под глазами. Выражение заинтересованности их визитом, торопливость голоса и то, как она слушала или двигалась, выдавали растерянность. Было ли это следствием слабости или сознания неправомерности внимания к себе друзей Димова, которому она «никто», трудно сказать. Она беспрестанно перебирала пальцами, сжимая над грудью воротник халата, слушала, улыбалась, как если бы этот поздний визит двух мужчин, которых она принимает в халате, выглядел само собой разумеющимся. Чернорай постучал ногтем по бутылке.

— Вам можно?

— Чутьочку, ладно? Вот только переоденусь. В комнате не было ширмы. Она распахнула дверцу шкафа и, стоя за ней, бесшумно сменила халат на темное, слишком свободное платье.

— Вот и все. Давайте помогу.

Пока она нарезала лимоны, а Чернорай пыхтел, коверкая ножом полиэтиленовую пробку бутылки, Лютров оглядел комнату. Две кровати с тумбочками у изголовий, у окна стол, за которым они сидели, справа от входа шкаф с зеркалом. Вот и все, если не считать недорогого магнитофона на тумбочке у ее изголовья да большой фотографии Димова над кроватью. В нижнем углу снимка округлым школьным почерком, какой остается у женщин, так и не окончивших школы, было написано: «Если ты мужчина, и если знаешь, на что способна любовь, пожалей меня, не говори «нет»...» Минуту Лютров томился, вспоминая, где он читал эту мольбу, и наконец вспомнил: надпись была обнаружена археологами на стене погребенного города, в Помпеях. «Если ты знаешь, на что способна любовь». На что же?

— Хорошо, что вы навестили меня. Скучно одной. Галя, подруга моя, в отпуску, в доме отдыха... Я уж решила, что вы забыли про меня.

— Некогда было, Любочка, дела. Сидели у моря, ждали погоды.

Чернорай разлил коньяк, старательно вывалил в блюдце с сахаром дольку лимона и вдруг заговорил так, словно только что вспомнил о такой надобности:

— Да! Мне нужно вам кое-что сказать, Люба... Не смотрите на Лешу, он не помешает. На днях я получу кучу денег и смогу отправить вас на юг, в санаторий... Врач советовал, даже адрес дал, это возле Ялты, кажется. Словом, отправитесь набираться сил. Не вздумайте отказываться, не то мы поссоримся.

Теперь на лице ее четче обозначилась растерянность. Она переводила глаза с Чернорая на Лютрова с видом человека, который не может понять происходящее.

— Вам нужно подлечиться, Люба. Слава прав. Вид у вас нездоровый... И обстановку сменить не худо.

— А как же на работу?

— Какая там работа, к черту! Посмотрите на себя, вас узнать невозможно. Хватит об этом... За ваше здоровье! И не возвращайтесь, пока снова не станете красивой, договорились? — В голосе Чернорая чувствовалось облегчение.

— Спасибо, — рука ее, державшая стакан, опустилась, губы дрогнули.

— Пейте, пейте, спать лучше будете.

— Я сейчас, я выпью, — едва успев поставить стакан на край стола, она привалилась на кровать, уткнула лицо в подушку.

Чернорай посмотрел на Лютрова: видишь, какие дела, как бы я тут без тебя.

— Ну вот, — Чернорай встал и склонился над ней, — я думал, вы поздравите меня... Ну, Люба? Зачем так?

Он присел на кровать, приподнял ее за плечи.

— Ну? Что же это получается? У вас гости, а вы?..

— Простите меня... Я сейчас, — не поднимая головы, она прижала платок к заплаканным глазам. — Вот и все, больше не буду...

Оттого, что в стакане было слишком мало коньяку, она попыталась выпить залпом, но поперхнулась, закашлялась, попыталась улыбнуться.

— Так-то лучше. В двадцать лет после любой передрыги кажется, что кругом одни концы. А жизнь, Люба, дело долгое и всячески неожиданное, наперед ни черта не загадаешь...

Немногословие Лютрова, его положение случайного гостя, не то чтобы смущало ее, но, видимо, вызывало опасение, что он неправильно поймет происходящее, не узнает главного, — так выглядело побуждение Любочки рассказать ему обо всем, что и как было у нее с Димовым.

Говорила она сбивчиво и долго. Но причиной долгого потока слов была жалость к себе от уверенности, что за все это она не заслуживает такого наказания. Иногда прорывалось раздражение человека, у которого отняли нечто, принадлежащее ему. Казалось, погибнув, Димов не сдержал обещания, и это было жестоко по отношению к ней. Но была в ее словах и боль большого чувства. Она прорывалась меж строк, сама собой, и в какой-то степени сглаживала неоправданное побуждение говорить о себе, а не о погибшем.

— ...Проснусь ночью и никак в толк не возьму, со мной ли все случилось?.. И такое во мне происходит, будто с ума схожу. Есть забываю, людей мне видеть неинтересно, и все мне лень, будто сто лет проспала. Галя накажет за хлебом сходить, я помню, а идти не хочу... И все чего-то забыть боюсь, а чего не знаю... Тут на магнитофоне Жорин голос, я как стану забывать его лицо, то запускаю и слушаю... Закрою глаза и вижу, как живого, вспоминаю, как познакомились в поезде, как мне страшно стало, что он сидит против меня. От страха я какая-то веселая стала и рисковая, гляжу на него и улыбаюсь. «Вы так улыбаетесь, будто знаете меня?» — «Знаю, говорю». — «Уж не в одной ли конторе работаем?» — «Да». — «Дела! Как же я вас раньше не заметил?» — «Где вам! Вы все, летчики, такие, никого не примечаете». И вроде бы не то говорю, не по себе как-то, а он смеется, ерунда, говорит, и подал мне «Огонек», сам сбоку сел. Листаем вместе журнал, а там — картина Рембрандта... Я покраснела, а он так потешно стал объяснять, что она означает, сказал, что ходил на выставку, где ее показывали. А я и сама там с Галей была и, оказалось, в один день с ним. Он мне про «золотой дождь» толкует, а мне на ум Галины слова пришли. Она как увидела эту женщину на картине, и давай смеяться: «На тебя, говорит, Любка, похожа, такая же толстая». Вспомнила я про это, чего-то стыдно стало, листаю страницы, а пальцев своих не чувствую. Потом мы весь вечер пробыли вместе. Раньше я думала, что он гордый, а у него привычка такая смотреть куда-то вверх.

Внимание к ней Димова, парня, о каком она и мечтать не могла, подняло ее в собственных глазах, придало ей уверенности в своем будущем, освободило

от скованности.

В день катастрофы она не пришла на работу, отпросилась в женскую консультацию, куда ходила не столько по необходимости, сколько по настоянию Димова. После осмотра, когда старый врач мыл руки, а Люба стояла за ширмой и одевалась, она услышала:

— Супругу скажите, пусть не волнуется, — у врача был смешной хохолок волос на облетевшей голове, и весь он был добродушный, как доктор Айболит. — А еще скажите, чтобы он вас запомнил такой. Не всякий мужчина, знаете ли, понимает, как украшает молодую женщину беременность. А между тем прекрасней она никогда не бывает. Если б юноши понимали это...

Краснея от веселой дерзости, она ответила:

— А он понимает.

— Я рад за вас. Не всякая женщина может это сказать. Ваш супруг настоящий мужчина, знаете ли...

— Он летчик.

— Ах, так!.. Тогда я молчу...

Вспоминая о словах доктора, она улыбалась про себя и осторожно шагала мимо низкой литой ограды бульвара, терпеливо ждала у перекрестка, пока зажжется зеленый свет, спокойная и довольная легко дающимся терпением. С беременностью пришла незнакомая дотоле полнота восприятия окружающего, чувство глубокого согласия с порядками жизни, примирение с прошлым, настоящим и будущим. В ней утвердилось то непередаваемое ощущение душевного и телесного здоровья, что свойственно лишь опрятной юности в пору расцвета.

Ей нужно было в аптеку. Но у самых дверей она увидела знакомую женщину, старшего инженера лаборатории, в которой работала.

— Вы уже знаете, Любочка?

— О чем?

— У нас катастрофа, погиб весь экипаж...

— ...Вошла я в аптеку, потолкалась у прилавка, как пьяная, и поехала домой: чувствовала, что погиб Жора. Сама не знаю почему... И вспомнила, как Галя сказала, когда увидела его. «Ничего у тебя с ним не выйдет...» И показалось мне, будто и я не верила, а только и ждала, как все это кончится. Вот и дождалась... Только и осталось от Жоры вот эта фотография да его разговор на пленке...

«А ребенок?» — подумал Лютров.

— Магнитофон надо бы наследникам отдать, а кому, не знаю...

— Бросьте об этом думать, — сказал Чернорай.

— Вот и все...

— Вот и все, — вслед за ней повторил Чернорай. — Выпьем, Леша, на дорожку. Выпьем за здоровье Любочки, помянем еще раз Жору, — рукой с приподнятым стаканом он указал на магнитофон. — Выпьем за хороших людей... А вы не скучайте, мы еще увидимся... И готовьтесь хорошенько отдохнуть... Живым надо жить, вот какая штука.

Она тоже спустилась и немного постояла у дверей, провожая их глазами.

Петляя по ночным улицам, Чернорай сердито молчал. Натыкаясь на лобовое стекло, свет уличных фонарей выхватывал из полутьмы кузова лоснившиеся скулы грубого лица, устало приспущенные веки глаз. И только подъезжая к дому Лютрова на Молодежном проспекте, Чернорай хмуро сказал:

— Поменьше бы нам следить на этом свете, не хватать добрых людей

своими бедами...

— Все мы на одной фирме, Слава, куда нам друг от друга? — сказал Лютров. — Ну, будь здоров! Завтра ты проснешься знаменитым.

— Завтра я проснусь на том же месте, где и вчера... Да! Я еще на банкете собирался сказать тебе! Всю память отшибло... Ты знаешь, я видел ту девушку из Перекатов.

— Где?

— Все эти дни я по утрам за Гаем заезжал, и мы иногда подвозили его жену, а на обратном пути от ее медицины встал я у светофора и вижу — она. Шла быстро так, на работу, наверно.

— Ты уверен, что это она?

— Ну, Леша. Те же волосы, та же красная кофточка. В Перекатах она, правда, повеселее была... Я еще Гаю сказал, что видел ее с тобой, а он: «Пора бы, говорит, господу богу так бросить кости, чтобы Лешке повезло...»

— Так где же ты все-таки видел ее?

— Постой... Где-то на той стороне реки, на Каменной набережной, точно не помню... А что, надо было догнать?

— Надо бы...

— А ведь я подумал... Да с этим вылетом в голове, сам знаешь...

— Она грозилась позвонить, да что-то никак... Или, может, меня не застает?

Большие часы в квартире Лютрова встретили его долгим боем. Пробило двенадцать.

Он налил ванну и, пока плескался, а затем пил чай, не без иронии думал, что господь бог — шулер, которому не хочется, чтобы он, Лютров, «наследил» среди людей... Ничья жизнь ни в малой степени не связана с ним настолько, чтобы быть задетой случайностями его работы. Но в этом нет утешения...

Сама по себе его жизнь немногочисленна или вообще ничего не стоит, если он в стороне от людей. Человеку надлежит испытывать боль, сострадание... Иначе нельзя. Иначе не может быть. Нельзя быть ни верным, ни добрым, ни справедливым, не научившись сопереживать чужую боль. Можно не верить в бога, в зависимость между разумом и миром, но нельзя отрешиться от своей сопричастности ко всему, что есть человек... И Слава Чернорай остался таким, каким был всегда, если, как о близком человеке, хлопчет о девушке друга... Он не жил и никогда не сможет жить одной своей жизнью.

Так и должно быть.

Для человека возможен лишь один вид жизни, один вид мужества — числить себя со всеми, делить с людьми все праздники и кровавые беды и не ставить это себе в заслугу.

Еще раз коротко пробили часы. Маятник красного дерева с золотистым диском — ликом солнца — мелко задрожал, сбиваясь с ритма, словно на него покушалась невидимая сила. Но отзвучал строгий старинный звон, отделивший прожитую меру времени, прохрипели пружины, и по-прежнему ровно забился ее пульс, оставляя позади все виденное и услышанное за день. День прожит. За ним, как за лучом на экране локатора, явились и отошли в прошлое малые и большие дела на земле. Где-то там прожила свой день и Валерия, у которой свои заботы в этом большом городе. Чернорай сказал, что она невеселая...

Лютров открыл дверь в меньшую комнату, включил свет и увидел себя в большом зеркале раскрытой дверцы шкафа. Белая рубашка с расстегнутым воротом оттеняла смуглое лицо. Он не помнит, чтобы ему говорили лестное о

его внешности. Если не считать восторгов брата Никиты.

— Лица находятся в соответствии с мыслями, а одежда — с потребностями. Это изрек Гейне. Ты у меня, Леша, великолепен! У тебя лицо гладиатора, таких больше не делают...

Да, постарел. Не мог не постареть, а пережитое — не оставить следов. Ничто не проходит бесследно.

Никита был кабинетным человеком, преподавателем истории. Немного художником. И оттого с неизменным уважением относился к профессии брата, к его друзьям, втайне считая, что работа летчиков-испытателей сродни миссии японских камикадзе. Когда Лютров, приезжая к брату в Москву, интересовался его делами, Никита отвечал всегда одной и той же фразой:

— Ты жив, здоров, остальное пустяки. После похорон бездетная вдова брата, тоже учительница, принесла Лютрову папку с рисунками Никиты, наброски воспоминаний о детстве и несколько исписанных им тетрадей.

Он просил передать это вам, Алексей Сергеевич. Больше всех и всего на свете он любил вас, — тоном учтвого сожаления, как о неисправимом ученике, сказала она.

Лютров присел к письменному столу, зажег настольную лампу и отодвинул нижний ящик. Вот они, бумаги Никиты. Толстые тетради рукописных набросков, небольшая красная папка со стопкой машинописных страниц и в самом низу — большая, серая, с его рисунками.

Просматривая машинописные страницы, собранные в красной папке, Лютров убеждался, что для брата во всей его жизни не было ничего радостней тех радостей и горше тех обид, что выпали на их долю в то далекое время, когда они с матерью и дедом Макаром жили в слободке, на самой дальней окраине приморского городка, в старом доме — последнем на пути к Севастопольскому шоссе. Никита бережно хранил в памяти ушедший мир, тосковал по нему и воспроизводил на бумаге с таким тщанием и подробностями, словно детство кончилось только вчера.

Листая бумаги, вчитываясь в открытые страницы, Лютров переводил их на язык собственной памяти и начинал жить заново той зыбкой туманной жизнью, какой живут в прошлом.

Отца они с Никитой не помнили — он рано умер — и детство свое прожили с матерью и дедом. Последнее место работы деда находилось в полукилометре от слободки, на Ломке. Так называли нагромождение камней рядом с печью, где жгли известь. Каждый день после школы они с Никитой носили деду обед, умещавшийся в одной тарелке, обвязанной маминой косынкой.

Скалы над Ломкой были рыжими, в потеках размытой дождями глины, и казались совсем рядом от слободки, но тропинка петляла вверх так затейливо и долго, что они здорово уставали, пока добирались к деду. Там, где стояла его сторожка, скалы нависали над головой, было жутко смотреть на их рыхлую тяжесть. Вершины напоминали окостеневшие существа, прорвавшие тесную тьму земли, чтобы дышать, видеть солнце.

От подножья скал вниз тянулась глубокая балка — временное ложе пересыхающей речки, до дна заросшее молочаем, соломенно-желтыми метлами злых колючек, кустарниковым можжевельником. За площадкой у жерла печи начиналась груда многотонных обломков, некогда рухнувших с высоты.

Четверо рабочих крошили их до размеров кулака, загружая огненную яму сахарно-белым булыжником. Ниже печи располагались корыта для гашения извести, работая возле которых и ослеп дед. Молодость свою прослуживший кучером в приморском имении господ Мальцевых, некогда владевших землей городка, дед Макар доживал век «присмотром» за немудрым инструментом камнеломов, за горой угля да отстоявшейся до трещин готовой известью в огромных корытах.

Они уехали из Крыма после смерти деда. Измученная безденежьем мать продала домишко и увезла сыновей под Москву, в рабочий поселок у большого строительства, куда ей помогла устроиться приятельница. Мать говорила, что там «будет полегче жить». Из Севастополя поезд уходил ночью.

Первое, что увидели братья из окна вагона на рассвете, была желтая равнина, такая ровная и бесконечная, что совсем непонятно было, зачем она людям. Море исчезло. Случилось непоправимое, непонятное, невозможное. Исчезло нечто несомненное в их восприятии окружающего. За ночь канула в небытие привычная картина мира, созданная вместе с ними. Сколько ни смотрел двенадцатилетний Алеша Лютров в оконное стекло вагона, море не появлялось. Огромное, занимавшее, казалось, половину света, оно осталось там, куда убегали серые телеграфные столбы, неприглядные деревни, меловые холмы, глубокие овраги. Небо было пусто. Не было гор. Исчезли кипарисы, высокие светло-зеленые платаны, причудливые стволы розовых «бесстыдниц», как называли эти гладкие деревья, росшие в городском парке. Все потускнело, все лишилось тех нарядных красок, какими окрашивалось море в разное время дня, предгорья—осенью, миндалевые рощи—весной.

Поезд гремел железом по железу, скрежетал и лязгал, словно нес в себе приметы того края земли, куда они ехали навсегда.

Громыхнул мост, оловянно блеснула широкая полоса воды.

«Река»,— догадался Лютров и вспомнил, что в Крыму так называли мутный поток, бегущий после дождей мимо рыжих скал Ломки.

К вечеру стало холоднее. В купе говорили, что в пять утра поезд прибудет в Москву и что там пора быть заморозкам. Мама принялась стелить им на верхней полке, и как всегда, когда она что-нибудь делала, лицо у нее было простым и хорошим, а руки уверенными, быстрыми, старательными. От их прикосновений становилось уютно, как дома. Забравшись на полку, Лютров долго смотрел на нее сверху. Она заметила это, поднялась и спросила, почему он не спит, а он обнял ее голову и поцеловал, чтобы она поняла, что он ее любит. Мама, скрытно от всех, улыбнулась, сказала: «Спи, капелька моя»,— и долго поправляла казенное одеяло, хотя в этом и не было надобности. Лютров повернулся к спящему Никите, обнял его расслабленное тонкое тело и уснул.

Мама разбудила их до рассвета. Поезд покачивало на стрелках.

А в Москве моросил дождь и пахло паровозом. Пассажиры громко переговаривались с встречающими. Толстая попутчица, высунувшись из окна вагона, гневно звала носильщика.

В метро, а затем в пригородном поезде было тепло, но на улице зябко, дождь не кончался. Они промокли, пока добрались до рабочего поселка, к одному из трех двухэтажных домов, стоявших у поредевшего соснового леса. Ключ от комнаты хранился у соседей, а тех не оказалось дома. Мама оставила их с Никитой в подъезде, они долго ждали ее, глядели на улицу и чувствовали себя брошенными.

В комнате тоже было холодно. Пока мама укладывала узлы, они с

Никитой стояли возле двери, смотрели на заплесневелый кусок белого хлеба на столе, на маленькое зеркало рядом с черным диском репродуктора, на кровать с тремя, вместо четырех, блестящими шарами на списках и не верили, что уже приехали, и будут жить здесь.

Они разделись, умылись теплой водой, подогретой на примусе, и сели завтракать.

— Вот мы и у себя, — без конца повторяла мама. А они молчали. Комната была унылой, как чужой сарай с ненужными вещами, в ней все запылилось, особенно старый фанерный чемодан, из которого торчал желтый лоскут, прикушенный крышкой. Чемодан был выдвинут из-под кровати, и мама дважды ударила о него щиколоткой.

Им не хотелось, но они ели брынзу, ошпаренную кипятком, и пили чай. С трудом проглатывая еду, Лютров вспоминал их домик на слободке, пегую собаку Весту и не в силах был понять, что есть на свете причины, ради которых мама должна была продать дом и уехать сюда, в этот сырой, холодный поселок, в пустую комнату.

Никита не выдержал. Рот его искривился в крике.

— Ма-а!.. Миленькая! — завыл он и задохнулся. — Уедем отсюда домой, насовсем!..

Мама побледнела, схватила его в охапку, прижала к себе, как маленького, и нее гладила и гладила, раскачиваясь, убаюкивала, прижимая к груди светлую голову, пока не расплакалась сама, — закрыв лицо руками, причитая чужим голосом, сделавшись непохожей на себя.

— Некуда нам ехать... Здесь работа, продукты в магазинах, а там?.. Работать негде, дедушка помер. Что там делать? Подыхать с голоду?..

Так заканчивалось их детство в записках Никиты, так оно было в действительности. О жизни в Подмосковье, о фронте и тяжелой ране в спину, которая, возможно, и породила злокачественную опухоль, — обо всем этом он ничего не писал. Даже в тех тетрадках, что были с ним в больнице. Лютрову трудно было читать эти коротенькие, обращенные к нему карандашные строки.

«...Иногда я думаю, Леша, дорогой мой летчик!.. Если бы моя смерть пригодилась тебе, я был бы спокоен, как дикарь. Я знал бы, ради чего жил, и в конце пути на меня дохнул бы успокоительный холодок вершины».

Он уложил на место бумаги брата и вытащил обтянутую холстиной большую папку его рисунков.

Скала в море. Треугольная глыба на ярком закатном солнце. Тень выявляет стеклянно-прозрачную толщу воды, ее чистую зеленоватую глубину. На видимой стороне монолита нечетко намечены уступы, откуда прыгали мальчишки городка. Явилось забытое ощущение свободного падения навстречу колышущейся водной поверхности, после которого всякий раз следовал шумный удар и долгое, иногда до испуга долгое, возвращение из глубины, завершающееся жадным вдохом с горько-соленым привкусом вспененной воды.

Будто застывшая в падении средиземноморская сосна, растущая на красной земле обрыва, обильно осмолившая надрубленное основание. Четкий, уродливый силуэт дерева заслужил быть нанесенным на герб городка, если у жителей его обнаружится склонность к геральдике. Сколько раз пытались срубить ее, сколько тайных и явных браконьеров вгрызались в нее секирообразными топорами, но сосна выстояла. Раненная, с торчащими обломками ветвей, с остатками чахлой плоской кроны, напоминающей деревья на японских гравюрах, она жива и по сей день.

Горелая дача. Так эти развалины назывались слободскими ребятами. Разрушенные до основания каменные стены, четыре кипариса саблевидной кривизны, размытое дождями запустение и чудом сохранившийся кусок плиточного пола, яркий лоскут в стиле восточных арабесок. От него веяло тоской о поверженной красоте, о жестокости насилия над гнездом человека. Обнаженная свежесть красок красно-бело-золотистой мозаики немо кричала о всесии и тщете прекрасного.

Виды городка. Контуры окружающих его гор. Пляж с пестрыми фигурами купальщиков. Их домик у мальцовой дороги к Севастопольскому шоссе. Кладбище. Рыжие скалы Ломки. И цветы. Цикламены, тюльпаны, золотистая охра львиного зева, гладиолусы... Штрихи карандашей казались худосочными, обедняющими живую плоть бутонов, придавали им нарочитую рельефность, чеканную изящность, какой не обладает природа.

Он перевернул последний лист и спрятал в стол папку с рисунками.

Невозможность оставить в чьей-то памяти и чьих-то руках дорогое тебе и есть одиночество. Настоящее одиночество придет, когда тебя не станет... Как оно пришло к Жоре Димову. Его сын не родился, а отец умер, голос на пленке тоже исчезнет, его сотрут и запишут модную песенку...

Лютров прилег на тахту. Над ней висела большая фотография. Он, Санин, Гай-Самари. Вспомнилась золотоволосая жена Гая. Лютров попытался и не мог представить ее в положении девушки Жоры Димова. Что бы ни случилось с Гаем, она сохранит не только ребенка, живую плоть мужа, но и всякую малую вещицу, все, что способна будет унести с собою в старость...

Наверное, и Валерия поступила бы так же. Если бы любила.

Он приобщил бы ее к своему детству, юности, ко всему, что в нем есть... И тогда эти рисунки стали бы дороги ей, как и ему. Когда все в тебе принадлежит другому, это и есть душевная близость... Если встретишь, ты Расскажи ей обо всем. Расскажи ей о древнем, как музейный мрамор, приморском городке, над которым на склоне предгорий ютилась твоя слободка. Расскажи о море, горах, виноградниках, тропинках и дорогах, о всей хорошо прогретой и щедро омытой теплыми дождями земле берега.

Расскажи, как выплаканная небесами вода живо стекает по склонам, сначала мимо неказистых домов слободки, затем по бесконечным лестницам, мимо вилл и дворцов к морю. И так по всей прибрежной части городка, от бывшего господского дома графа Милютина, известного реформатора русской армии, до роскошного пансионата у таврских стен на западе.

Тут и мавританские купола, и средневековые зубчатые башни со щелями-бойницами, и античные портики, увитые глициниями, и островерхие крыши со шпильями а-ля Швейцария, и лепные ампирные орлы вперемежку с символическими фигурами, изображающими то истину, шествующую в смелой наготе с факелом над головой, то правосудие, ослепленное тугой повязкой с узлом на затылке... Все это добротное сработанное великолепие тянется к небу, виснет над водой, вязнет в зелени платанов, пирамидальных тополей, лавровишневых кустов. Хранящие прохладу и резкие запахи, парки берега живут в памяти рядом с женскими именами — названиями вилл: «Камея», «Эльвира», «Ксения».

Расскажи ей, что в этом городке, каких нет больше на земле, и появился на свет ты, Алешка Лютров.

Расскажи ей о голодных и прекрасных годах детства, наделенных всеми чудесами Вселенной, собранными в слободке. Там жил кумир мальчишек —

повар, единственный человек в мире, рискующий прыгать в воду залива с сорокаметрового уступа скалы над морем, там по вечерам играл трубач, оглашая раннюю темноту то хайтармой Спендиарова, то кокетливым танцем маленьких лебедей, то модными песенками, то не известными никому долгими тягучими мелодиями.

Расскажи о зарослях можжевельника на склонах горбатой горы на западе, об оливковой роще, о сладком и горьком миндале, о возвышающейся над купами прибрежных деревьев конусообразной секвойе — единственной в городке, которую пионеры из детского санатория, размещенного в бывшем дворце Мальцева, наряжали под Новый год как елку и которая потом умерла, стала коричневой до кончиков ветвей, но еще долго стояла как живая выше всех деревьев берега.

Расскажи ей о первых минутах пробуждения, о возвращении в жизнь, когда с облегчением убеждаешься, что скрывшееся вчера синее полотнище моря вернулось, вернулся привычный сладковатый запах земли, разогретой утренним солнцем после ночного дождя, вернулись и снова покачиваются упругие кипарисы у ограды дома, вернулась необходимость идти в школу, в которой решительно все непонятно. Но зато потом тебя ждало море, и ты вскачь нес к нему свое выжженное солнцем тело, такое удобное, что его и не замечал совсем.

Приходило время обедать, и ты вместе с братом стоял за стеной кухни большого санатория, где работала мать. Это была плохая еда. Она унижала и тебя, и Никиту, унижала мать в ваших глазах, рождала смутное чувство сиротства, ранила мальчишеские души...

А потому лучше оставь это и расскажи ей о ваших походах в горы, под опорные стены севастопольской дороги, где росла ажина и куда вы с братом наведывались после посещения деда на Ломке. Исцарапанные шипами кустарника, перемазанные соком ягод, вы говорили друг другу о ни с чем не сравнимом великолепии избранных вами профессий.

Ты грезил полетами. У берега, на развалинах дворца вельмож Нарышкиных, где лучше всего игралось в казаки-разбойники, тебе случалось в потасовке отстаивать свое толкование трех букв на борту прославленного самолета «АНТ-25»: «АНТ», по-твоему, значило «Анатолий Николаевич Туполев»... Будущий летчик, ты не мог быть неправым...

Расскажи ей о шхуне, груженной длинными сосновыми бревнами, бросившей якорь у Нарышкинского камня, что неподалеку от рыбацкой пристани. Дни выгрузки бревен были для тебя днями преклонения перед обшарпанной громоздкой посудиною с облезлыми законопаченными бортами, провисшей паутиной вантов, с перекошенными реями на мачтах... Пока шхуна стояла на якоре, твои дни начинались с тревожного взгляда в сторону причала: не исчезло ли судно? Бревна грузили в рыбацьи ялы пирамидой. Гребцы у кормы едва просматривались за тяжелыми кругляками. Вода залива и кромка берега густо замусорились красноватой корой, кое-где на волнах покачивались оброненные стволы, напоминая тела убитых дельфинов. И все время, пока шхуна стояла у берега, вокруг разносился незнакомый запах смолистой древесины.

Вечером манил город, и нужно было изловчиться удрать из дому до того, как мать примется искать затрепанный томик А. Ф. Писемского «Тысяча душ», зажигать керосиновую лампу-«молнию» и прилаживать ее на край стола, ближе к изголовью своей кровати.

По вечерам вся пляжная публика была празднично одета, кружила

говорливым потоком по проспекту с расставленными на нем Адонисами, амазонками, Гераклами, Афродитами. Нашествие нарядных людей, пришлые запахи дорогих духов, шорохи многих шагов по гравию дорожек, призывный смех женщин в темноте... Возбуждение было разлито в воздухе, влекло к беготне, к озорству, к курению папирос. Четкие остроконечные силуэты вилл растворялись в густеющей бирюзе заката. Когда гасло небо, являлось таинство кино, отгороженного от бесплатного любопытства высоким забором. Из-за него, как из совсем непонятого мира, вместе с шипением, треском и свистом донельзя потрепанной пленки неслась музыка. В воздухе, пронизанном лучом киноаппарата, насыщенном табачным дымом, кишели смех и стенания зрителей — русских, украинцев, греков, татар.

...Когда Лютров заснул, ему снилось желание быть на родине.

Гай шел на истребителе западнее аэродрома, на высоте около тысячи метров. Ему осталось сделать небольшой круг со снижением, чтобы выйти к полосе. Он запросил посадку, сбавил обороты, стая снижаться, и — двигатель остановился. Хуже не придумаешь. Гай попытался запустить — не выходит. Тишина, и стрелки по нулям. Перед выходом на прямую к полосе не хватало ни высоты, ни скорости.

С остановкой двигателя вся механизация лишилась энергии, Гай сажал истребитель без выпущенных закрылков, на «гладкое крыло». Маленький самолет пронесся в нескольких метрах над зачехленными «С-04», пересек бетонную полосу и выскочил на лужок перед деревней. И пока его трясло на лужке, Гай подыскивал подходящее возвышение на рельефе, чтобы с его помощью до заборов деревни суметь погасить сумасшедшую скорость.

Вначале на глаза попало крыльцо прочной дедовской кладки, — видно, вход в овощехранилище. Гай не решился: прочно.

А вот за ним — телеграфный столб. Масса подходящая. Ему показалось, что к столбу прислонился человек. На мгновение он закрыл глаза. Кто-то решил понаблюдать за посадкой... Чем-то ледяным окатило спину.

Но это был всего лишь «пасынок», подпорка. Кое-как уцепил крылом, но столб — пополам, крыло в лоскуты, а истребитель по-прежнему несся вперед с небольшой поправкой по курсу. Появившийся неведь откуда высокий бугор нарытого песка выглядел последней надеждой, до деревни оставалось метров сто. Гай круто развернул машину у основания бугра, чтобы боком ткнуться к отлогому скату и там увязнуть. Самолет вскинул хвост, вздыбился на крыло и закувыркался в сторону на манер циркового акробата, когда тот колесом выкатывается на арену. Таким образом Гай и доколесил до недостроенного коровника, насмерть перепугав работавших там женщин. Истребитель встал на ребро и привалился к стене.

Минуту Гай соображал, жив ли. Затем принялся с предосторожностью — как бы не сработала катапульта от сотрясения предохранительных устройств — выбираться из кабины. Остекленная крышка подалась удивительно легко. Отбросив ее, он вспомнил, что крышка связана с предохранительной чекой катапульты. Но уж везет так везет: чека лишь слегка вышла из гнезда. Гай расстегнул ремни и предстал перед колхозницами.

— Здравствуйте, — сказал он, держа руку на затылке.

Прикатив на «РАФе» к коровнику, Лютров застал там две пожарные машины и «Скорую помощь». Гай стоял возле истребителя с таким видом,

словно делал ему выговор за скверное поведение.

— Гай!

— Видел мои кульбиты, Леша?

— Как самочувствие?

— Посмотри на мой затылок; волосы на месте?

— Все на месте.

— А почему кожа лезет на лоб?

Стоявшая рядом девушка-врач отталкивала Лютрова и чуть ли не со слезами просила:

— Едемте со мной! Сейчас же в машину! Как вы не понимаете!..

— Я же целый, голубушка. Даже волосы на месте.

— Ничего вы не понимаете!

Она усадила-таки его в белую «Волгу» и укатила.

Через полчаса Лютрова отыскал диспетчер. Звонила жена Гая.

Он шел к телефону и удивлялся: кому пришло в голову трезвонить об аварии?

— Кто это? Лютров? Леша, что у вас произошло? Что с Донатом?

— Ничего особенного, с ним все в порядке.

— Говори правду.

— Я только что разговаривал с ним.

— Где он?

— В клинике. Через час-полтора, наверное, будет на работе.

— Он разбился?

— Даже не ушибся. Так мне показалось.

— А почему в клинике?

— Ты же знаешь врачей.

— Как туда позвонить?

— Зачем?

— Леша!

— Честное слово, он...

— Лешенька, милый, я люблю тебя, дай мне телефон клиники!

Гая все-таки положили в госпиталь на внеочередное обследование. Домой он попал лишь через неделю. В первый же вечер Лютров заехал к нему. Его встретила неправдоподобно похудевшая жена Гая.

— Решила сохранять фигуру, а?

— Издеваешься?

— Ну зачем же так? Гай дома?

— Дома твой Гай. Сумасшедшие вы люди. И профессия у вас безумная...

И ткнулась в плечо Лютрова, будто ждала его, чтобы выплакаться. Он взял в ладони ее голову, посмотрел в заплаканные глаза.

— Если бы одна очень красивая девушка хоть чуточку была похожа на тебя, я был бы счастлив, — прошептал он ей на ухо.

Удивленно поглядев на него, она улыбнулась сквозь слезы и ткнулась в его подбородок мокрыми губами.

— погоди, не входи, — она старательно вытирала лицо воротником халата.

Гай обрадовался приходу Лютрова так, как если бы кто-то третий согласился взять на себя часть его несчастий. Он усадил его напротив себя, попросил жену принести «что любит Леша» и принялся жаловаться.

— Ты заметил, — он кивнул в сторону жены, — на базе у меня авария, —

а дома — катастрофа, жена решила ходить худой и растрепанной, даже если ко мне приходят лучшие друзья.

Говоря это, он опасно косился на жену, пока та ставила перед ними початую бутылку марочного коньяка и маслины в глубокой хрустальной вазочке. На полированную поверхность столика скатилась слеза.

— Лена, — измученным голосом сказал Гай. — Нельзя же все время... При Леше... Что он подумает?

Она присела рядом, отчаянно пытаясь не разрыдаться, слизывая слезы с верхней губы и пристально оглядывая мужчин.

— Ничего он не подумает, он любит меня, правда, Леша? Мне просто вас жаль, поэтому и реву с самого утра. И совсем не оттого, что вы можете разбиться, нет... Я столько раз воображала все это, что наперед знаю... как будет. Просто мне страшно подумать, что все... случится раньше, чем жизнь наделит вас... тем, ради чего и живут на этой сумасшедшей земле. Пусть я останусь одна, пусть! Но я хочу быть уверена, что ты никогда не сокрушался о моей бабьей бесталанности, никогда не жалел о прожитом со мной времени...

Помимо праздности в общественном смысле, той, что именуется тунеядством, есть томительная праздность духа, безделье чувств, ленивая пустота сердца.

Чувствуя в себе это тягостное состояние, Лютров избегал надолго оставаться наедине с самим собой, и когда прерывалось очередное «великое сидение» в КБ, работа на тренажере, он отправлялся в самые неинтересные и продолжительные командировки, летал со служебными пассажирами, дважды с Главным на завод, где собирали предсерийный вариант «С-441». Иногда Извольский приглашал его «на природу», как он это называл. Лютров видел его с приятелями-холостяками в обществе ярко-рыжих полнокровных девиц с громкими голосами и ленивыми походками, но, видимо, слишком свежа еще была память о Валерии, не угасала надежда на ее звонок, чтобы соглашаться на такие поездки. Он не мог представить себя в компании друзей Извольского в то время, когда девушка из Перекатов набирает номер его телефона. На работу Лютров приезжал первым и уезжал последним. В привычной суматохе дня, в полетах в зоне, в долгих совещаниях по «девятке» время текло быстрее, чем в те часы, которые оставались до сна.

Работы на летной базе было много. Почти каждый день летал на опытном «С-441» Чернорай; никак не мог закончить программу высотных полетов Долотов на «С-224», что-то не ладилось с высотным оборудованием, из-за чего ему дважды пришлось аварийно снижаться; Гай осваивал модернизированную бесхвостку, разукрашенную, как детская игрушка; много работал и Боровский на летающей лаборатории: проводил испытания нового сверхмощного двигателя, подвешенного под фюзеляж «С-440».

После памятной беседы со Стариком «корифей» сник. И первый же, после долгого перерыва, визит его в людную и вдруг затихшую комнату отдыха не остался без комментариев Кости Карауша:

— Явление Христа народу!

Боровский сделал вид, что не понял, к кому относятся слова Кости, запросто поздоровался со всеми и направился к Лютрову, сидевшему в кресле у окна с описанием системы управления «девятки».

Ростом Боровский немного уступал Лютрову, но — сказывались годы —

был шире, грузнее, и темные пиджаки, которые он обычно носил, слишком плотно прилегали к отяжелевшему торсу.

За несколько дней до того Лютрова назначили вторым летчиком в экипаж Боровского, речь шла о полете на опытном «С-44», которому предстояло пробыть в воздухе около двух суток.

Поначалу Лютров подумал, что Данилов забыл согласовать его кандидатуру с «корифеем»; ни для кого не было секретом, что он не принадлежал к числу приятелей Боровского. Но Лютров ошибся.

— Это я просил Данилова, чтобы вторым назначили вас. Не возражаете? — сказал Боровский, подсаживаясь к нему.

— Почему я должен возражать? — сказал Лютров.

Боровский провел рукой по седому бобрику на голове. На мгновение у него возникло желание поговорить по душам, как это случается у тех, кто под наплывом добрых чувств отваживается наконец поставить точки над *i*. Стремление к ясности не подлежало сомнению, оно было на пользу дела.

Но пока Боровский доставал сигареты и прикуривал, что-то в нем переиначилось, желание прошло. Привычка держаться независимо, не быть никому и ничем обязанным, взяла верх.

— Вылет в пять утра, в понедельник, — напомнил он, вставая.

Но эта фраза выглядела лишней. Время вылета Лютрову было известно и без него, и «корифей» понимал это.

В понедельник утром, в четыре тридцать, Боровский, Лютров, Саегиреев, бортиженер Тасманов и Костя Карауш, облаченные в кожаные костюмы, ждали в диспетчерской команды на выезд к самолету. К ангару, на свободную часть бетонной площадки, съезжались автомобили с провожающими. Их было необычно много. Шелестя моторами в утренней тишине, «Волги» выстраивались в ряд и замирали напротив расчехленного четырехмоторного «С-44». Приехавшие работники КБ и базы сходились небольшими группами, дымили сигаретами, оглядывали пустынную рань аэродрома с двумя V-образно расходящимися взлетными полосами, смотрели на небо, где застыли легкие перистые облака, казавшиеся зябкими от утренней прохлады.

От самолета отъехал последний заправщик. С высоты окон диспетчерской стоявший в стороне от остальных машин «С-44» ласкал глаз легкостью линий, отлично выдержанной соразмерностью величин, составляющих силуэт самолета. Вписанные в основание плоскости отверстия заборников воздуха не нарушали эстетической законченности форм планера, а лишь подчеркивали атлетическую мощь большого самолета.

Механики сняли блеснувшие алым лаком заглушки, убрали шипастые сегментообразные колодки из-под колес. Машина была подготовлена.

Без четверти пять к стоянке подкатил неказистый «ЗИЛ» Главного.

Выйдя из машины, он кивнул механикам, пробежал глазами по самолету и, заложив руки за спину, медленно направился к провожающим.

От предстоящего полета ждали ответа на многие вопросы. И главный среди них — испытание надежности корабля в сложных и длительных условиях перелета, бескомпромиссная проверка работы новой системы заправки топливом в воздухе на разных высотах, днем и ночью и, возможно, в неблагоприятных метеорологических условиях. Наконец, полет определит работоспособность экипажа в продолжение почти двухсуточного пребывания в воздухе.

Приметив Главного, Боровский велел девушке-шоферу остановить «РАФ»

и первым вышел на бетон. Старик оглядел всех, пожевал удовлетворенно губами и потрепал по щеке вдруг по-детски растерявшегося Костю Карауша.

— Ну, повнимательней там, не блудите... А ты не ленись.

Последние слова относились к штурману Саетгирееву.

— Все будет в порядке, — пообещал Булатбек, и столько мальчишеской самонадеянности было в этом ответе, что Старик не удержался и по-отцовски насмешливо вскинул бровь.

Лютров невольно сравнил чисто выбритое, совсем еще молодое лицо Саетгиреева и тяжелый, траченный рябинами профиль стоявшего рядом Боровского. Своим поведением, в котором проглядывала интимность отношений с Главным, Боровский невольно, может быть, но подчеркнуто противопоставлял себя легкомыслию штурмана. Своей улыбкой и рукопожатием он как бы говорил Старику, что мы-то с тобой знаем, что значит этот полет, и если «все будет в порядке», то отнюдь не стараниями штурмана, неспособного даже представить себе всю серьезность предстоящего пути.

— Заметил, какое лицо у «корифея»? — спросил Карауш, шагая с Лютровым позади остальных членов экипажа. И весело добавил: — Доволен!.. Ждал случая доказать Старику, что он может. Это тебе не Фалалеев!

Опоясываясь ремнями катапультного кресла, Лютров вспомнил услышанный накануне разговор Тасманова с молодым инженером из моторного комплекса, занятым установкой экспериментального оборудования в грузовом отсеке самолета. «Эксперименталка» означала для Тасманова дополнительные хлопоты в полете. Кроме обычной памятки, которую он составлял для себя, двигателисты навязали ему солидный перечень включений их хозяйств — порядок, продолжительность, время, — за которым следили самописцы.

— Путаетесь под ногами, и без вас хлопот по уши, — н сердцах сказал Тасманов, споткнувшись о стремянку, стоящую под раскрытыми створками грузового отсека.

— Несознательно, старик, — возразил молодой инженер. — Как будто «С-44» делает такие рейсы по пятницам... Три заправки в воздухе, а продолжительность полета и расстояние куда больше, чем в известных, по истории авиации рекордных перелетах.

— Было. Пять лет назад Фалалеев летал... — отмахнулся Тасманов.

— Как же-с, сподобился провозжать, — насмешливо продолжал разъяснять инженер. — Но если вы всерьез принимаете круизы популярного аса Фалалея, то ваше заблуждение, увы, носит не случайный, а принципиальный характер. Уточняю. Неподражаемый на страницах собственных брошюр, в миру Лев Борисович страдал логикой учителя арифметики, хоть и был кандидатом наук. Как это вы не заметили? По Фалалееву, тысячу раз до дачи и обратно эквивалентно одному разу до Северного полюса. Нужно ли объяснять, почему решились на подобный полет и поручили корабль не какому-либо спринтеру, а опытному марафонцу?

— Ну и трепло ты, друг! — махнул рукой Тасманов.

Вспомнив этот разговор, Лютров не мог не согласиться, что молодой инженер прав: «в миру» Лев Борисович был внешне скромнее, чем в своих книжках. Но видать, как ни прикрывай свою сущность, все равно рассмотрят и воздадут по достоинству.

«Скромность» Фалалеева заметно сказала в последние годы, когда он летал не иначе как «по всем правилам». А когда боязнь летать маскируется инженерной эрудицией, летчик превращается в проклятие для ведущих

инженеров. Данилов выслушивал нескончаемые жалобы на то, что вчера Лев Борисович прекратил полет из-за попытки инженера поднастроить автопилот, сегодня у него «нелетное настроение», завтра он читает лекцию об основах летных испытаний... Так оно и было. Фалалеев был слабым летчиком и робким человеком. Лютров запомнил один из полетов с ним, когда из-за перекомпенсации руля машина стала неуправляема и, теряя высоту, упрямо шла к земле. Минуту Фалалеев неуклюже тыкал ногой в каменно-неподвижную педаль, но слишком велики были «нервные потери», ноги перестали слушаться, он в отчаянии раскинул руки и повернулся к Лютрову. На лице Фалалеева, сером и неподвижном, запечатлелась оторопь приговоренного к казни: исхода-де нет, небо разверзлось, и мир опрокинулся с ног на голову.

Лютрову стало не по себе от презрения. Упершись в подлокотники кресла, он изо всей силы надавил пяткой на выступающую педаль. После нескольких рывков руль встал на место.

— Ну и сила у вас, Алексей Сергеевич! — с завидной расторопностью восстановил Фалалеев дар речи. Он поспешно вытер потное лицо и заискивающе улыбнулся.

«Ему бы в конферансье податься, из любого положения вывернется», — зло подумал Лютров.

«Сам себе адвокат и судья», — говорил о Фалалееве и Данилов. И был прав. Все книжки Льва Борисовича были написаны в том же стиле. О чем бы ни говорилось в них, автор стоял на переднем плане, расставляя ударения в выгодном для себя порядке, режиссировал задним числом свою летную биографию, оборачиваясь для читателей фигурой «мыслящего героя». Не могли же читатели знать, что для летчиков Фалалеев был притчей во языцех, как шутовским колпаком увенчанный розыгрышем Кости Карауша. Слушая Фалалеева, просвещавшего собравшихся в комнате отдыха приезжих летчиков, Карауш неожиданно перебил его, как если бы имел что добавить к рассуждениям «мэтра».

— Лев Борисович, вы уже слышали за Бриджмена?

— Ты имеешь в виду американского испытателя? — деланно скучно спросил Фалалеев.

— Ну!

— Так что с ним?

— Сошел с ума.

— Да? — попытался удивиться Лев Борисович.

— Кроме шуток. Мания величия.

— Вот как? — Фалалеев заинтересовался.

К их разговору прислушались, всем показалось, что Косте действительно известно что-то о симпатичном парне-американце.

— Такие дела. Бегаёт по сумасшедшему дому и кричит: «Я — Фалалей! Я — Фалалей!»

С тех пор, где бы ни вспоминали «популярного аса», рядом стоял «сумасшедший» Бриджмен.

Застегнув ремни так, чтобы они не стесняли движений, Лютров услышал команду Боровского:

— Бортрадист, разрешение на запуск.

— Запуск разрешен!

Боровский включил правый средний двигатель, затем остальные. Минут пять он гонял все четыре установки, поднимая облака пыли за кромкой бетона, прежде чем запросил разрешение на выруливание.

— Разрешаю, выруливайте, — отозвались с КДП.

Снятый с тормоза, «С-44» двинулся сначала прямо на стоянку автомобилей и толпу людей рядом, потом развернулся влево, вправо и покатил по рулежной дорожке к старту. На взгляд Лютрова, Боровский мог бы увеличить радиус разворота, при этом колеса передней ноги не испытывали бы нежелательные боковые нагрузки. Но обязанность второго летчика оставалась неизменной — не мешать первому.

Длинные крылья самолета простирались за кромку бетона, казались провисшими и, подобно остановленным лопастям вертолета, упруго покачивались.

Последними перед стартовой площадкой стояли игрушечно-маленькие, в сравнении с проплывающим кораблем, опрятно зачехленные истребители.

Боровский с ходу развернул и выставил «С-44» точно по осевой линии большой полосы.

— Экипажу доложить о готовности к взлету!

Выслушав доклады, Боровский чуть откинулся, поправил обмотанные бинтом ларингофоны, нажал кнопку радиопереговорного устройства.

— Прошу разрешения на взлет!

— Вас понял, взлет разрешен.

— Двигатели на взлетный режим, — Боровский повернулся к Лютрову.

— Вас понял, на взлетный режим...

Выждав, пока все четыре установки выйдут на максимальные обороты, Лютров доложил:

— Двигатели на взлетном режиме.

— Вас понял... Фиксируйте время взлета.

Корабль резво подался вперед. Лютров щелкнул кнопкой хронометра. Было пять часов восемнадцать минут местного времени.

Недавнюю тишину летного поля захлестнул рев 60 000 лошадиных сил. Но тишина вскоре вернется на аэродром, и лишь для тех, кто был на борту, водопадный гул останется рядом на целых двое суток.

...Первые минуты после взлета, в наборе высоты, Боровский молча выслушивал лаконичные доклады о работе всех систем, о прохождении контрольных пунктов. Все шло по отработанной схеме, как обычно.

Сообщив земле о выходе из зоны аэродрома, Боровский взял курс на север и, повинувшись командам с земли, долго, в несколько этапов, набирал высоту. На участке было оживленно, земля вынуждена была держать корабль на переходных эшелонах. Наконец он установил режим полета и по давней привычке спросил:

— Как самочувствие экипажа?

— Нормально, — первым отозвался Саетгиреев.

— В порядке, — сказал Тасманов.

Лютров молча кивнул.

Костя Карауш молчал. Боровский немного выждал и повторил вопрос:

— Бортрадист, как самочувствие?

— Местами... Никак не вспомню, умываются верующие или нет, если, скажем, кого из них папа римский по головке погладит?

— И чем это ты Старику понравился? — спросил Тасманов.

— При чем тут «понравился»? Что я, девочка?.. Старик обрадовался — вот, подумал, хоть одна светлая личность в экипаже...

В полетах, которые длятся десятки часов, выдыхаются самые завязтые любители поговорить, да и слушатели тоже. Мало-помалу каждый уходит в свое дело, проверяет и перепроверяет подконтрольные системы; все реже перебрасываются словами, и время будто перестает двигаться. Двигается только земля.

Под крыльями не торопясь меняются цвета земного покрова. Плотную зелень лесов оттесняют кварцевые блески бесчисленных озер, за ними следуют серо-коричневые разводы тундры, та уступает место океану, и последней неизменно является бескрайняя равнина льдов.

Если до того мир с высоты полета был обманчиво мал и игрушечно уютен, как и всякая реальность в оптическом отдалении, то теперь он и вовсе исчезает. На смену приходит чуждая жизни одноцветно-белая материя, инертная в своей жесткости снежная стихия...

Развернувшись над Северным полюсом, «С-44» взял курс на остров Врангеля, а затем в заданный квадрат.

Подходило время первой заправки топливом. За час до оговоренного времени Карауш связался с землей и получил подтверждение о вылете самолета-заправщика.

К району заправки шли сквозь облачность, самолет дважды пересекал зоны обледенения, дважды Тасманов по команде Боровского включал антиобледенители, освобождая от наледи плоскости крыльев и заборники двигателей.

— Леша, помнишь, как искали обледенение? — сказал Карауш.

Было такое. Еще до напоминания Кости Лютров успел подумать, что по «закону стервозности» его величество случай является всегда не вовремя. Когда на том же «С-44» испытывались новые двигатели, это чертово обледенение исчезло по всему Союзу. Сколько раз по команде синоптиков, над чьими душами висел ведущий инженер, вылетали они в указанные районы, сколько раз утюжили небо в облаках, а все напрасно... Не раньше чем в десятый раз они наконец попали в зону обледенения, да такого мощного, что из-за попадания льда в заборники и деформации лопаток компрессоров двигатели один за другим стали терять тягу, два из них пришлось остановить. «По науке, того... пора сигать», — говорил тогда Костя Карауш. Но Лютров решил дотянуть до запасного аэродрома. Это был отличный по результатам полет, двигателисты получили исчерпывающие данные, чтобы довести антиобледенители до кондиции.

— Командир, — доложил Карауш, — самолет-заправщик радирует: в зоне заправки будет вовремя. Просят уточнить: есть ли отклонения от графика?

— Передайте: зона заправки без изменений.

Прошло еще полчаса, и напряженный гул двигателей чуть расслабился. Боровский начал снижение до высоты заправки. Лютров почувствовал то привычное облегчение в теле, что неволью рождает впечатление, будто машина решила передохнуть.

Самолет-заправщик приближался. Справа по борту можно было видеть его силуэт — вытянутую расплывчатую каплю. Потом он переместился вперед, радируя о готовности к работе.

— Вас понял, иду на сближение.

Некоторое время Боровский держал «С-44» в правом пеленге на одной высоте с заправщиком, но по мере уменьшения расстояния снизился, оставляя его вверху и чуть слева от себя.

Остекленная кабина «С-44» с выступающей впереди заправочной штангой медленно, но неизменно двигалась к блистерам кормового оператора заправщика. Когда «С-44» оказался совсем близко и стало казаться, что двум большим самолетам тесно в небе, Лютров услышал голос Боровского:

— Так держать.

Говорил он спокойно, ни на лице, ни в голосе не было и следа волнения, как если бы он запрашивал разрешение на посадку.

А между тем наступали минуты, требующие от него предельной собранности и филигранного мастерства.

Ожидая команд на управление тягой двигателей, Лютров смотрел на командира. Руки Боровского с безукоризненной точностью и как будто сами по себе управляли тяжелым самолетом — то короткими, импульсивными движениями, то плавными, предвосхищающими поведением «С-44» в каждое следующее мгновение. Корабль почти синхронно повторял подчас едва уловимые перемещения заправщика, цепко держась на необходимом для стыковки расстоянии.

Из нижней части фюзеляжа танкера плавно выполз и упруго завис длинный шланг с конусом-раструбом.

— Иду на контакт!

Сообщение Боровского командиру заправщика было одновременно и командой второму летчику «С-44». Лютров перевел рычаги секторов газа на увеличение оборотов, Корабль послушно надбавил скорости. Конус приближался.

— Внимательнее!.. — говорил Боровский.

После первого же включения заправочная штанга, как притянутая магнитом, резким стреляющим движением впилась в конус.

Вспыхнул сигнал: сцепка. На заправщике одновременно сработала автоматическая система, оповестившая экипаж о готовности к переливу топлива.

С этой секунды нужно было уже без команд следить за оборотами двигателей, чтобы скорость «С-44» была равна скорости заправщика.

По мере перелива летчики танкера должны были сдерживать тенденцию своей машины к наращиванию скорости в связи с потерей веса, а Лютров — внимательно прибавлять обороты по мере увеличения веса «С-44».

Подрагивая, стрелки топливомеров ползли кверху, опустошенные емкости быстро пополнялись горючим.

— Бортинженер, как заправка? — спросил Боровский.

— Скорость перелива в норме, — отозвался Тасманов, а вскоре известил: — Заправка окончена.

Лютров слегка убрал газ, «С-44» чуть приотстал, натянул шланг, и конус соскользнул со штанги.

— Как на борту? — спросил командир заправщика, резко уходящего вверх и вправо.

— В норме. Спасибо.

Полет продолжался.

Впереди оставались еще две заправки и тридцать с лишним тысяч километров пути.

Подошло время ужина, но Лютрову не хотелось есть. Он выпил два стакана крепкого чая с лимоном, нехотя пожевал дольку шоколада, всегда почему-то невкусного в полете, отодвинул кресло, вытянулся и прикрыл глаза.

Это была хорошая усталость, и как всегда, когда нужно было отдохнуть в полете, он вытягивался, расслаблял мышцы, и тогда само собой приходило на память все безмятежное: полумрак лунных ночей на море, безлюдье осенних лугов, читанные книги, встречи, прогулки, лица, музыка... Мало-помалу чередование образов обретало зримую ясность, как в сновидении, но это был не сон, он ни на минуту не забывал, где находится, слышал работу двигателей, ощущал вибрацию машины.

Он вспомнил вынужденную посадку в Перекатах, Валерию. Облик девушки уже стирался в памяти, и только пережитое, нежность к ней да сожаление о так и не продолженном знакомстве еще хранилось где-то в душе, уже безнадежное, никому не нужное, как билеты на вчерашнее кино.

Стало немного тоскливо; ему вспомнились луговые дали, чью заповедную первозданность берегут разливы. Человек-строитель сторонится заливных земель, и они, нетронутые, погруженные в песенное безмолвие, вольно стелются по лику земли, украшенные ленивой лентой реки... Хорошо на пойменных лугах осенью. Осенние утра там долгие, молчание дней бесконечно. Тихо блестят луговые озера, слепыми избами уходят за горизонт несчетные стога сена. На одном непременно сыщется недвижный силуэт ястреба, вскинувшего хищную голову. И никак не поймешь, что он делает: спит, ждет восхода солнца, высматривает добычу? Или и ему не чуждо очарование луговых далей, в созерцание которых он погружен, как индийский святой в нирвану?

Охота, освященная веками дедовская страсть! Неизбывная тоска по раздолью! Живет она в душе, эта сладкая жажда испить от неохватной молчаливой красоты равнинного удела Родины. Схваченная заморозками, осенняя слякоть становилась чернотропом, ранняя весенняя теплынь была не в радость без чуфыканья тетеревов, без вальдшнепиной тяги, волнующего хорканья в полете «длинноносых»... Начинаешь видеть красоту глухих болот, бекасиные уголья на истоптанных скотом окраинах луговых мочажин, завораживает студеная тишина в зарослях молодого осинника, куда метнулся в поиск гончий смычок. И даже разговоры охотников о своих собаках — чернокнижье для непосвященных — становятся понятными.

— Гонец? — спросит один охотник другого о скулящем у ног гончем кобельке со страдающими, молящими о лесе глазами.

— Гоне-ец, — смущенно, будто собака может понять его, ответит тот. — Тянет в полазе малость, пока не помкнет... Мароват, но уж по следу ведет без скола, справляет без перемолчек... Гоне-ец...

Их с Сергеем считали своими в ближайшем охотохозяйстве, егеря с удовольствием принимали на своих участках. Одним из них был Александр Осипович Баюшкин, или просто Осипыч, пятидесятилетний мужчина, человек некурящий и непьющий, которому удалось устроить им даже глухариную охоту.

В ту весну они приехали в охотохозяйство неожиданно, без уведомления, и застали в охотничьей конторе одного Осипыча.

— Ко времени поспели, — сказал егерь. — Завтра собираюсь в Стронцы. Едем?

— А жить есть где?

— Все как следоваит. Полдома у хозяйки арендуем. Располагайтесь до завтра в конторе, устали, поди, а утречком и тронем...

Разбудили их голоса за перегородкой. Натянув вязаные спортивные костюмы, они вышли в коридор, где собрались съехавшиеся по своим делам егеря. Они встретили их с Саниным как старых друзей.

— Что на открытие не приехали?

— Уток ноне про-опась...

— Гляжу, машина стоит, и номер городской... Серень-ка с Лексеем, думаю, не иначе...

Лютров с радостью отвечал на рукопожатия, видел знакомые лица, радовался предстоящему отдыху.

К полудню они добрались до Стронцев — некогда большого села, издали приметного высокой колокольной церкви с остатками позолоты на стропилах купола.

И потекли неспешные, однообразные, счастливо-бездумные дни, которые проживаешь, как в забытьи, они превращают прошлые заботы в нечто странное и нереальное. Несмотря на беспорядочное житье, когда не знаешь, чего тебе больше хочется — спать или есть, когда в иной день они втроем обходились одним куском хлеба, брошенным егерем в рюкзак «про всякий случай», когда, наконец, после долгого дня на воздухе отсыпались по двенадцати часов кряду, самочувствие неизменно оставалось бодрым, казалось, осенняя дневная свежесть и ночная тишина вливали в кровь живительную силу.

Они перезнакомились чуть ли не со всей деревней, побывали на свадьбе демобилизованного солдата-ракетчика, помогали хозяйке ставить самовар и колоть дрова и не могли бы ответить, чего в них больше — наслаждения вольной жизнью охотников или благодарности за радушие обитателей лесной деревни.

А как приветлива была изба после возвращения из лесных сумерек цвета глухариного крыла к неяркой желтизне света в комнатах, к сверчковому стрекотанию самовара, к запаху вымытых полов, молока, укропа и еще чего-то, что казалось запахом старинным и опрятным. Когда бы они ни вернулись, хозяйка поджидала их и, услышав топот ног в сенях, выходила из своей половины, чтобы встретить, посмотреть на трофеи. По лицу ее, еще нестарому, но огрубевшему на полевых работах под солнцем и ветром, в следах дневной маеты и хлопот по дому, растекалась улыбка, участливая и добрая. И хотя взгляд был усталым, как и голос, и замедленно-неохотными движения томящегося по отдыху тела, но в том покое, какой исходил от ее фигуры, в терпеливом внимании, с каким она выслушивала их рассказы, сама собой проглядывала живая душа, готовая порадоваться удаче в чуждой ей забаве... Она никогда не отказывалась выпить чаю за компанию, как бы поздно они ни возвращались. И тогда Лютров совсем близко видел увядающее лицо хозяйки, ее почти мужские руки на белом фаянсе чашки... Иногда она по привычке или от усталости неприметно для себя приваливалась грудью на край стола, и грустно было видеть рядом с изношенным лицом белую, без единой морщинки нежную грудь молодой женщины.

После чая и долгого сидения за столом плечи наливались усталостью, хотелось спать необоримо, как в детстве.

И тогда наступала тишина. Тишина в доме и вне его рождала представление о ее всевластности. Казалось, она растворила в себе лавину

шумов цивилизации, человеческие страхи и горести, все мучительное, тревожное, что беспокоит добрых людей во всем мире. В памяти появлялось только самое простое и приятное, оно наполняло душу безотчетной благодарностью к людям, среди которых ты вырос... Засыпая, он с удовлетворением думал, что Санин уже спит и что в деревне все уже спят давно, и был уверен, что всем хорошо спится в доброй тишине ночи, так необходимой усталым людям, мужчинам и женщинам. И от сознания своей близости к ним, сопричастности их жизням, ему становилось легко и умиротворенно, он улыбался в темноте и обнимал подушку...

Вернувшийся из очередного подслуха, егерь предупредил:

— Отсыпайтесь кто-нито, летчики. В ночь на ток пойдем, есть глухари.

— Я уж как-нибудь потом, иди сначала ты, — не без иронии изображая широкую натуру, провозгласил Сергей. — Жертвую первого глухаря, ни пуха ни пера!..

Лютров с егерем вышли после двенадцати. На дворе — тьма, хоть глаз коли. Вспомнили об оставленных в избе фонариках, но не вернулись — плохая примета. Ощупью пробрались за околицу и направились вдоль края пахоты. Егерь шел впереди и не торопясь наставлял:

— Как услышишь, стучит, ты ни гугу! Он вначале постучит, потом ровно бы споткнется и зачижикает. Тут не зевай, двигай к нему. Однако не торопись: три шага на колено, не более. Лишнего шумнешь — вся охота на смарку... Пали двумя пулями, бей сзади, под перо. Его, черта, сбоку пушкой не проймешь... Крепкая птица, кремень. Может, моего «шольберга» возьмешь?

Лютров вспомнил бельгийский магнум егеря и улыбнулся. Ложа двустволки была расщеплена и скреплена сапожными гвоздями у замков, а отпавшаяся прицельная планка туго стянута проволокой, чтобы не топорщилась дугой над стволами.

— Уж коли мазать, так из своего, а, Осипыч?

— Оно конечно...

Лютров не стал говорить, что за плечами у него не только лучшее из его ружей, но и работа лучшего оружейника мира Джеймса Пердея. Когда это ружье принимался осматривать знающий любитель, то руки у него дрожали, оставляя на стволах потные следы.

В километре от места подслуха разложили большой костер. Егерь устроил Лютрову роскошное ложе из лапника. Лютров прилег, закинул руки за голову и долго глядел в звездное небо. Вместе с теплом костра в тело вливалась сонная истома, но заснуть не давало острое наслаждение льдистым лесным воздухом, пляской пламени, хвойным запахом. Как и почему все это складывалось в ощущение счастья, он не в силах был истолковать, объяснить самому себе. От счастья не хотелось думать. Как хорошо!.. Жаль, что Сергей не с ним и не знает, не видит ни этого неба, ни костра, ни отсветов пламени на раскрасневшемся лице Осипыча...

Он, кажется, заснул все-таки, потому что егерь тряс его за плечо:

— Время, летчик.

Костер едва тлел, а звезды горели вовсю. Старая лесная дорога тонула в вешней воде. Шли молча, зато плеск воды под ногами разносился по затаившемуся лесу.

Мало-помалу вода отступила, они вышли на сушь, где было темным-темно от застывших звездное небо огромных елей, осин, сосен.

Пошептавшись кому куда, они разошлись. Крадучись пройдя шагов сто

вправо, Лютров остановился у липкого ствола дремучей ели.

И время остановилось. Небо ясноло нехотя, точно и не собиралось вернуть день, а когда все-таки развиднелось, Лютрова охватила привычная безнадежность: пришли, нашумели, какие там глухарки!..

Небо голубело, лес заполнялся тетеревиным чуфыканьем, где-то за спиной хоркнул вальдшнеп, и тут же на высоченную осину с тревожным квохтаньем уселась серая глухарка. Она огляделась, недовольно поклевала что-то на ветке, по-куриному вскидывая голову, и — сорвалась, исчезла за деревьями. Затем шевельнулось что-то совсем рядом. Лютров медленно повернул голову и увидел на стволе упавшего замшелого дерева настороженно подвижного рябчика. Склонив голову набок, он с любопытством рассматривал Лютрова. Глупый и доверчивый, едва ли не единственная птица в лесу, которую можно подманить на выстрел манком, рябчик, глядя на Лютрова, легкомысленно решил, что в подобной неподвижности пребывают только пни, и безмятежно стал спускаться по наклонному стволу, что-то выклеывая на нем. Оказавшись на земле, рябчик почти скрылся в сухой прошлогодней траве. Это ему не понравилось. Покрутив вытянутой головкой, он залетел на нижнюю ветку сосны. Посидел, почесал лапкой пестрый затылок, почистил клюв и улетел.

Время тока прошло. Лес шумел по-дневному.

— Судьбу не обманешь, — сказал Лютров егерю на пути в деревню, — не везет, так не везет.

Осипыч тоже не слышал глухариной песни, но был уверен, что «токовище тут знаменитое». В избе они никого не застали. Санин ушел в шалаши, хозяйка Антонина Ивановна — на работу, ее сын Толик — в школу.

Попив чаю, Лютров прилег на кровать поверх одеяла, попытался заснуть. Сон не шел. И он принялся разглядывать большую икону в углу, стараясь понять, что на ней изображено. Судя по всему, воскресший Христос давал последнее ЦУ перед стартом «Земля — космос». Он стоял на ватном облаке, под ним разверзлась могила, а укрывавшие ее плиты стояли на попа. Белой хламидой и рукой на отлете Христос напоминал персонаж фильма «Праздник святого Йоргена».

Потом фигуры икон задвигались, вместо нимба на голове Христа оказался защитный шлем, вместо хламиды — парашют, а лица апостолов напоминали ведущих инженеров...

Его разбудил голос Санина.

— Чего улыбаешься?.. У меня то же, что и у тебя. Чуфыкают, дерутся, но так далеко, что даже неинтересно. Положение критическое, если не безнадежное.

К вечеру вышли втроем, с таким расчетом, чтобы часам к шести быть на току.

Без десяти минут шесть Лютров стоял под своей елью и осматривал поверженное замшелое дерево, по которому утром прохаживался рябчик. За ним росла могучая разлапистая сосна, на которой, казалось, только и токовать глухарю.

Через полчаса на той же осине зашумела крыльями, закудахтали глухарка.

— Ко-ко-ко-ко!

Кудахтанье было коротким, негромким, как бы между прочим. Потом снова шум и треск сучьев за спиной. На него спокойно откликнулась прилетевшая раньше глухарка. Затем стало так тихо, что легко можно было уловить где-то впереди, за плотными молодыми елями, потрескивание сухого

дерева, сгибаемого порывами ветра.

И вдруг Лютров почувствовал, что цепенеет от догадки: ветра-то нет!

Минуту стоял не дыша, чувствуя, как нарастает, отдаваясь в горле, биение взбудораженного сердца. Снова стук! Забыв о наставлениях, он рванулся в обход молодых слей, но быстро заставил себя остановиться. Во рту было сухо и горько. Стараясь дышать как можно тише, упрямо выждал, пока окончится едва уловимое, слабое:

— Тэк-и-тэк-тэк... — Пауза. — Тэк-и-тэк-тэк... — Пауза. — Тэк-ктэк-ктэ-ижи-чшки-ижи-тки-ижить!..

Как по-писаному! Глухарь!..

Лихорадочно повторял про себя: «Три шага на колено, не более...» И тут же подумал: «А если он смолкнет после первого колена? Значит, ждать начала второго. Но тогда не успеешь сделать три шага? Обойдешься двумя». И Лютров делал по одному скачку прямо на звук песни, стараясь идти лицом на закат, куда, по словам Осипыча, глядит во время тока глухарь.

Если ему не удалось уловить второе колено песни, он терпеливо выжидал нового начала. Но чем дольше пел глухарь, тем регулярнее повторялась песня. Певец был в ударе. И вот звуки несутся уже откуда-то сверху. Где же он, черт побери! Лютров, чуть наклоняясь из стороны в сторону, разглядывал деревья. Вот!

На выступающей толстенной ветке сосны, вытянув шею и приподняв голову, сидел токач.

На тускнеющем закате видно было, как он переступает, пружинно разводит хвост, опускает крылья и словно в молитве запрокидывает к небу короткий кривой клюв. Литров поднял стволы и накрыл ими четкий профиль птицы. «Пушкой надо стрелять», — вспомнил он слова егеря и уже прицелился, с нетерпением ожидая начала чижиканья.

После напряженной тишины последних минут, когда треск сучка под ногой казался оглушающе громким, выстрел Люстрова прогремел обвалом. Казалось, вздрогнул лес, но глухарь всего лишь перелетел на маковку соседней ели и, балансируя на прогнувшейся ветке, вертел головой, недоумевая, откуда вдруг метнули в него россыпью обжигающей дроби... Почти не целясь, Лютров выстрелил второй раз.

Токач рванулся было прочь, но опрокинулся и стал падать, задевая и раскачивая ветви ели.

Когда Лютров подбежал, глухарь уже затих. От волнения Лютров не сразу поднял невиданную птицу, а стал по привычке перезаряжать ружье, что было совсем ни к чему.

— О-оп! — услышал оп голос егеря.

— О-п!

— Лексей?

— Я

— Ты чего это?

— Да вот... стрелял.

— По сове, что ли?

— По какой сове?

«Вот тебе на!» — подумал Лютров.

— Да ты погляди, Осипыч, — Лютров опасливо поднял трофей, уже и сам не очень уверенный, что подстрелил глухаря.

Егерь явно не ожидал удачи, это было видно по его лицу.

— Молодец! С полем тебя!.. А я подумал: в сову, она мимо пролетела. Бывают у нас охотники... Ну-ка, дай-ка. Кил пять, а то и больше... Держи. А токто, а? Ток знаменитый, еще возьмем.

Выбравшись на дорогу, он сказал Лютрову:

— Зови Сереньку, темно уж.

Лютров остановился и взвыл победным голосом древнего человека:

— Се-ре-га!

В ответ ни звука. Он прокричал еще раз. И еще. Никто не отзывался.

Зов продолжался до тех пор, пока Сергей, неслышно выйдя из темноты, набросился на Лютрова:

— Чего тебя разбирает?

— Мы уж решили...

— Вы решили, что я оглох или присох? — Санин был чем-то расстроен, и Лютров с егерем переглянулись.

— Ты что на нас накинулся? — спросил Лютров, пытаясь понять, что с Сергеем.

— Это! Это глухарь?.. Лешк-а-а! Покажи, а? — Он взял птицу за тугое крыло и вытянул перед собой. — Вот это да! — И неожиданно объявил: — Я остаюсь на ночь.

Егерь с трудом убедил его, что бесполезно ждать утреннего тока после вечерней стрельбы.

Пока шли к деревне, все вокруг заволкло туманом. Туман ночью окутывает слепотой. Сбились с дороги, лишь за полночь добрались до деревни. После конфузливое блуждания по округе к Осипычу вернулось хорошее настроение.

— Чайку бы охотничкам? — попросил он хозяйку, озорно обняв ее за плечи.

— Пейте, самовар горячий.

Не умывшись и не вымыв рук, долго и с наслаждением пили горячий чай.

— Что ж не рассказываешь, как выследил? — спросил Сергей.

— Настоящие охотники сначала поздравляют с полем.

— Но ты же орал как ишак!

— Я выполнял команду старшего.

— Да, — сказал егерь.

— Да, да! Эх, знали бы вы!.. На лице Сергея появилась загадочная улыбка.

— Не тяни.

— Никто и не тянет. Только я его, черта, как тебя, видел.

— Глухаря?

— Тень отца Гамлета!.. Целый час крался. Иду и не верю, что подпустит. А он и не поет, а так, голос пробует: то начнет, то бросит. Наконец подошел я вот как до печки, стал под ним и думаю: учует или не учует? А он поет, дуралей... И стало мне, братцы, жаль его. И что делать, не знаю. Потом решил так: скажу ему «кыш!», когда он затэкает. Улетит — улетит, нет, значит, отпелся. буду стрелять.

— И сказал?

— Ага...

— Улетел?

— Улетел.

— И правильно сделал.

— Чудные вы, летчики, — улыбнулся разморенный теплом егерь.

— Совсем рядом сидел, Осипыч. Так близко, что это уже не охота, а выстрел в затылок....

Улеглись, когда, по обыкновению, переговорили обо всем на свете — о всяческих охотах, о хозяйке, о женщинах вообще, о полях и лесах, о ночах и туманах, о птицах и зверях, чья жизнь так же дика и неизменна, как во времена оны... Потом перешли на бельгийские ружья и тульские самовары фирмы Баташева, а точнее, «Высочайше утвержденного 10 апреля 1898 года товарищества паровой самоварной фабрики наследников Василия Степановича Баташева в г. Туле».

— Звучит, а? — увлеченно говорил Санин, разглядывая самоварные клейма. — Указанная фирма удостоена за свои издания: золотой медали в Бельгии, 1884 год; золотой медали в России, 1882 год; золотой медали в Голландии, 1883 год; серебряной медали на Всероссийской выставке, 1883 год; бронзовых медалей: на Всероссийской мануфактуре, 1870 год; в Австрии, 1873 год; в Антверпене, 1893 год. Ко всему прочему, фабричная марка утверждена правительством. Ясно? Это вам не фунт изюма!..

Волнения прошедшей охоты не давали заснуть. Сон то надвигался, то отступал, и тогда всплывал из тишины неверный стук ходиков.

Самолет несколько раз качнуло, повело в крен, заставило рыскать по курсу.

Стрелка перегрузок резко перемещалась, покачивалась.

— Вошли в полосу струйного течения, — сказал Саегиреев, — скорость упала почти на триста километров, угол сноса пятнадцать градусов. Командир, нужно уходить на высоту.

Боровский взял штурвал на себя.

Несколько минут самолет вздрагивал, недовольно потряхивая крыльями, но постепенно полет выровнялся.

— Как снос, штурман?

— В норме. Ложимся на прежний курс.

Боровский оставил штурвал и взял в руки пульт дистанционного управления автопилотом.

«А штурман дока, — думал Лютров. — Хоть молод и красив, как бронзовый бог».

Лицо Саегиреева было по-прежнему свежо, несмотря на выступившую щетину. Слабо освещенное отраженным светом, падающим на его откидной рабочий столик, оно напоминало лицо восточного молодца-разбойника. «И зовут романтически: Булатбек. По-лермонтовски».

Полет длился вторые сутки.

«С-44» шел навстречу ночи, замкнутая кривая маршрута повторялась. Когда за стеклами стало совсем темно, Тасманов доложил о неисправности одной из систем подачи топлива.

Это была вторая неприятность. За час до того отказал локатор.

— Восьмой бак не отдает горячее.

— Остаток? — спросил Боровский.

— Неиспользуемый остаток... около девяти тонн.

Теперь этот вес будет балластом.

— Переключайтесь на действующую систему питания... Штурману — определить координаты нового района заправки, исходя из условий встречи с

танкером на час раньше. Бортрадисту...

— Слушаю, командир...

— Согласовать с землей время вылета заправщика на час раньше оговоренного времени.

— Вас понял.

Тасманов переключил питание на соседнюю группу баков и доложил Боровскому. Вслед за ним раздался голос Кости Карауша:

— Командир...

— Да?

— В районе вылета заправщика туман. Просят подтвердить и, если можно, сообщить причину вызова заправщика на час раньше.

— Сообщите о наличии невырабатываемого остатка топлива в количестве девяти тонн.

— Вас понял.

Еще через десять минут Костя доложил:

— Командир...

— Да?

— Танкер получил разрешение на вылет. Новые координаты стыковки земля подтвердила.

— Спасибо. Вас понял.

Услышав голос Карауша, доложившего о подходе самолета-заправщика, Лютров сказал Боровскому:

— Попробуйте, как работает штанга, возможно смерзание влаги внутри направляющей... Боровский кивнул и включил пневматику. Штанга не выдвигалась. Несколько повторных включений не принесли успеха.

— Второму летчику, — услышал Лютров, — после подхода к конусу, по моему кивку головой увеличите обороты двигателям. Когда штанга будет в конусе и образуется петля на шланге, немного уберете. В дальнейшем действуйте как обычно. Поняли?

— Вас понял: на скорости.

Но затея Боровского была отнюдь не простым делом.

Заправка в воздухе — один из наиболее сложных видов летной подготовки. Не всякий хороший летчик способен произвести ее днем, в ясную погоду, при исправной штанге. Что же говорить о заправке ночью с неисправной штангой? Неподвижная штанга — это значит бесконечные подходы, десятки попыток... Лютров вспомнил, сколько ему пришлось летать, прежде чем он превозмог в себе чувство растерянности; на фоне беспредельного пространства, даже днем, конус казался таким микроскопическим, что поначалу сама мысль угодить в него стволом штанги представлялась дикой. Прошло немало времени, пока он освоил заправку. Благо в те годы стыковка в воздухе находилась в стадии освоения, и его неудачи представлялись начальству в порядке вещей.

На корме заправщика вспыхнул прожектор — вперед по полету, — и по мере сближения все яснее просматривалась тускло блестящая выпуклость его фюзеляжа. Вслед за ним Боровский включил две фары для освещения кормы танкера и выпущенного конуса, и без того приметного сигнальными лампочками на раструбе. У заправщика в последний раз мигнул и погас мерцающий маяк. Повторяя покачивание самолета, конус послушно перемещался по вертикали.

В ниточку сжав тонкие губы, Боровский не отрывал взгляда от линии

крыльев идущего впереди заправщика. Теперь только они определяли для него все маневры «С-44». Он повторял каждое их движение, каждое слабое побуждение к крену. Руки командира нервно чертили замысловатую серию ломких движений, синхронно повторяемых свободным штурвалом Лютрова.

Самолеты сближались. Положив ладонь на ровный ряд рычагов газа, Лютров не спускал глаз с лица Боровского. Конус подходил все ближе. Сигнальные лампочки раскачивались совсем рядом от хромированного окончания штанги. Лютров сжал белые ручки секторов газа.

Но Боровский не торопился. Он пристально всматривался в колебания конуса.

— Внимание!

В момент подхода штанги снизу вверх, где-то в нескольких сантиметрах от совпадения оси ствола с центром конуса, Боровский резко наклонил голову. Лютров перевел секторы газа до упора, внутренне готовый проделывать это не один раз. Но ошибся. Штанга сидела в конусе, как острие стрелы в центре мишени.

Поддерживая скорость «С-44», равно боясь и отстать от заправщика, и вырваться вперед, Лютров уловил движение в кабине штурмана.

Заросшее угольно-черной щетиной лицо Саетгиреева выражало неподдельное восхищение. Не поднимая руки, Лютров показал ему большой палец. Штурман улыбнулся и со значением прикрыл глаза: что, мол, ни говори, а старик знает дело!

...Тасманов уже заполнял баки. Работа проходила молча.

— Командир, заправка окончена. Лютров убавил обороты.

Боровский дал отойти заправщику и, когда тот, мигая маяком, стал уходить с правым разворотом, сказал Лютрову:

— Установите режим полета по графику. Я немного отдохну.

Лютров набрал высоту и принялся настраивать автопилот.

Это была последняя заправка. Несмотря на девятитонный балласт, горючего хватит на весь путь до аэродрома.

...А ночь казалась бесконечной, «С-44» уходил от рассвета. Темнота будет сопровождать их и над Каспием, и над Черным морем. Лишь после того, как от Молдавии они повернут к северо-востоку, день начнет двигаться к ним навстречу.

Наплывали и оставались позади огни городов, и только звезды над головой казались неподвижными.

Боровский спал. Он снял шлемофон и склонил голову на подставленную ладонь левой руки. Неяркий свет кабины четко обозначил рябины на лбу, багровые пятна на скулах, тяжелую челюсть. На подбородке поблескивала редкая седая щетина. Сонная незащищенность «корифея», расслабленные мышцы уставшего немолодого лица, тяжелое забытие в столь неудобной позе — все говорило о старости. За долгие годы знакомства с Боровским Лютров вдруг близко к сердцу воспринял его возраст. Шевельнувшееся сострадание заставило по-иному взглянуть и на самолюбие Боровского, на его болезненное самомнение. На все это у пятидесятивосьмилетнего летчика были свои причины. Та же старость, принятая за факт начальством, но еще отвергаемая им самим. Сопоставь с этим ожидание своего звездного часа, своей громкой работы, рядом с которой навсегда останется имя Боровского, но для которой он сначала был слишком молод, а потом слишком стар. Кто знает, может быть, по-человечески мудро и в высшей степени справедливо было бы отдать «С-441» не

Чернорая, а ему. Разве не обидно всю жизнь отдать работе, сделать в общей сложности втрое больше своих ровесников и друзей, вошедших в хрестоматийную историю авиации, и остаться в стороне от такой работы, которая могла все поставить на свои места. Те давно уже отошли от летного дела, а он летает, и летает как бог. Но когда хочешь доказать это, а тебе не верят потому лишь, что у тебя за плечами не сорок, а почти шестьдесят лет, — этого достаточно, чтобы бросить все, превратиться в брюзжащий на всех перекрестках сгусток злобы. Но ты остаешься. Ты делаешь то, что делал всю жизнь, — летаешь, и Старик, который обозвал тебя сучьим сыном, назначает тебя первым летчиком в такой полет, потому что ты не можешь изменить себе, потому что Старик знает тебе цену... Да, это верно. И, в конце концов, это самое главное. Им обоим это ясно, и Боровскому и Старику... Всякий может наломать дров, но если у судьбы мера мудрости Старика, все встанет на свое место. Все.

Пошли последние пять часов полета. Чем ближе был аэродром, тем сильнее сказывалась усталость. Хотелось размяться, стать на твердую землю, разогнуть спину, услышать тишину.

— Ой, братцы, до чего невоготу! Побриться бы, выпить стопарик, поспать! А тут болтаешься и болтаешься, как Ганя...

Это прорвало наконец Костю Карауша.

— Какой такой Ганя? — спросил Тасманов.

— Тормозной кондуктор. На товарнике. Знаешь, который трясется на площадке последнего вагона? Почему Ганя? А черт его знает... Была у нас в детстве такая забава. Дождемся, когда подкатит последний вагон с этим вусмерть намотавшимся седоком, и давай кричать: «Га-аня! Га-ня!» Товарняк медленно идет, мы бежим сзади и орем как оглашенные. А те, кто был в кепках, брали их козырьками в зубы и по-собачьи трясли головой. Потеха! Кондуктор прямо-таки зверел, матерился по-лошадиному.

В три часа местного времени в наушниках послышался голос Саэтгиреева:

— Алексей Сергеевич, прямо по курсу грозовой фронт.

— Высота облачности?

— Что-нибудь к девяти с половиной.

Лютров повернулся к Боровскому, чтобы разбудить его, но тот будто и не спал минуту назад.

— Штурман, как с обходом? — спросил он, закуривая.

— Видимые границы фронта определить трудно, разряды просматриваются по всей передней полусфере. Лучше всего обходить верхом.

— Что ж, верхом так верхом. — Боровский знаком показал, что берет управление.

Гроза просматривалась все яснее. Натужно ревя двигателями, выведенными на максимальный режим тяги, «С-44» уходил все выше от полыхающей, иссеченной молниями тьмы.

10 000... 10 500... 11 000...

Здесь впервые между металлическими опорами стекол кабины замечались огненно-зеленые проблески. Несколько минут затем самолет еще тянул вверх, и казалось, что гроза осталась позади, но она словно поджидала машину, чтобы заставить ее рухнуть в самое пекло.

Лавинный надгрозовой поток воздуха, завалив самолет на правое крыло, вмиг всосал машину, бросил ее на четыре километра ближе к земле.

Непроизвольным движением Лютров схватился за рога штурвала, но

услыхал угрожающий бас Боровского:

— Спокойно!..

«Корифей» стрельнул в его сторону зло сощуренными глазами так, что лучше всяких слов объяснил, кто на борту командир.

Единственным ориентиром, указывающим положение самолета, осталась линия авиагоризонта. Чтобы совместить ее с неподвижной чертой на шкале прибора, когда машину неистово швыряет из стороны в сторону, нужно было нечеловеческое напряжение. Следя за прибором, Лютров отметил, что Боровский легко справляется с этим: когда самолет затормаживало мощным восходящим потоком, он заваливал «С-44» в отлогое пике, разгонял его и снова пытался набрать высоту. Скорость, главное — сохранить скорость!

Саетгиреев, у которого был лучший обзор, чем у пилотов, взял на себя роль лощмана. По его команде Боровский старался уводить, самолет от наиболее плотного скопления разрядов, от особо активных участков клокочущего чрева грозы.

— Вправо, командир!.. Больше вправо!.. Так держать... Еще вправо, круче...

Боровский заваливал самолет в крен до шестидесяти градусов. Послушание огромной машины в руках «корифея» казалось фантастическим. Крылатая махина, подобно живому существу, почуявшему опасность, повиновалась безропотно.

Из кабины Кости Карауша было видно, как вдоль плоскостей засновали длинные, паутинно-тонкие огненные нити. Иногда они сливались и образовывали сплошное сияние. Бортрадисту показалось, что охваченный «огнями святого Эльма», самолет плавится, растворяется в грозе, поглощается ею...

«Пора «корифею» командовать, а мне сигать в эту канитель, — думал Карауш. — Молчит командир. Может, у него инфаркт миокарда?»

— Давайте, что осталось, пешком пройдем, а? — сказал Костя. Ему никто не ответил.

Лютров заворуженно глядел на продолговатый, призрачно зеленый факел, по форме напоминающий пламя ацетиленовой горелки. Он светился прямо перед ним, на конце ствола заправочной штанги, и то пружинно сжимался, становился тусклым, почти синим, то разбухал — и тогда горел ослепительно. Пожар?..

— Продуть штангу азотом! — крикнул Боровский.

Едва Лютров успел включить продувку, как погас свет. На несколько секунд все в кабине задрожало в отблеске угрожающе близких всполохов, а когда навалилась тьма, по стеклам кабины потекли дрожащие голубоватые струйки света...

Тасманов включил аварийное освещение.

— Куда ты смотришь! — крикнул Боровский Лютрову. — Остановились двигатели!.. Запускай!..

«Черт!.. Что это я?..» — очнулся Лютров и запустил сначала один, затем второй двигатель. Когда набирал обороты третий, послышался голос Кости: — За выхлопными отверстиями шлейфы пламени! Боровский посмотрел на приборы и промолчал. Лютров вывел все двигатели на максимальные обороты. Стрелка вариометра показывала набор высоты.

— Костя, как двигатели? Визуально? — спросил Лютров.

— В порядке.

— Левее, командир. Левее и с набором, если можно. Там вроде светлее...— сказал Саэтгиреев.

Не успел штурман договорить, как за бортом точно вздыбился огненный вал. Самолет дрогнул, будто ткнулся во что-то, и снова провалился на километр ближе к земле.

— Совсем светло, — пробурчал Костя Карауш. — И тут же добавил: — Остановились оба правых движка!

Но Лютров уже запускал их. Его теперь ничто не могло отвлечь от дела. Голова обрела привычную ясность, бодрую трезвость, руки — хваткость. Ни один прибор не ускользал от внимания, он чувствовал каждое движение самолета, каждое покачивание крыльев, на лету подхватывал команды, обстоятельно докладывал о каждой выполненной операции и был доволен собой, Боровским, Саэтгиреевым, Тасмановым, Костей, самолетом и, кажется, даже грозой.

Запустив двигатели, он взглянул на Боровского и поразился чему-то необычному в нем. И никак не мог понять, что он такое увидел в Боровском, чего раньше не знал...

Дело было в том, что Боровский оставался неизменным. И вот это отсутствие на лице «корифея» примет происходящего Лютров и посчитал за открытие. С ним ничего не происходило. Рядом сидел человек, воспринимающий как вполне возможное все эти неистовые, холодящие душу падения, глохнущие двигатели, всполохи в трех метрах от фюзеляжа, огонь на стеклах... Боровский с первой минуты прохода грозовой облачности работал, а не выматывался, как Лютров. Работал, чтобы уберечь машину от перегрузок, заваливал самолет, скользил в ад грозы, и делал это, не думая о том, как это называется, делал точно, потому что был на своем месте, у него была высота и самолет, а в остальном он был, умел быть самим собой на любом расстоянии от смерти. Пробивая огненный хаос, он обязал себя забыть, что есть что-то еще, кроме той работы, которую нужно сделать немедленно, и он делал ее как надо, наваливаясь на всю эту божью канитель разом: и бычьими мышцами, и опытом, и все сметающей страстью старого летчика, отрицающего самую возможность поражения. Он мог проиграть где угодно, но не здесь.

И Лютров понял, что впервые по-настоящему разглядел Боровского, и вовсе не потому, что тот «открылся», а потому, что обстоятельства, как это не раз бывало, преобразили самого Лютрова, его способность видеть. А Боровский знал себя таким. Такого себя защищал, утверждал, уверенный в своей силе, и раздражался, делал глупости, когда этого не хотели или не могли понять другие.

И мысль эта разом вымела из головы Лютрова все предвзятое, наносное, что скопилось там рядом с именем сидевшего слева человека.

— Костя, как ты там? — весело спросил Лютров.

— Как дети капитана Гранта, связанный.

— Жалуйся на Одессу, она так принимает.

Между тем Лютров отметил, что указатели скорости показывали ноль. Стрелки даже не вздрагивали. Видимо, грозовые ливни захлестнули трубку приемника воздушного давления, а при подъеме на высоту вода смерзлась. Он включил обогрев, и через несколько секунд стрелки ожили.

Все реже проваливаясь, «С-44» шел с левым разворотом, оставляя справа внизу испещренные молниями облака. Росла высота — 8000... 8200... 8400... На девяти тысячах Боровский выровнял самолет, и он уже совсем без толчков

потянул строго по линии горизонта. Вначале не верилось, что все позади, но проходила минута, другая, а устойчивый полет ничем не нарушался.

— Впереди чистое небо, — сказал Саэтгиреев.

Ровный гул двигателей казался музыкой.

— Возьмите штурвал, — сказал Боровский Лютрову и полез за сигаретами.

Несколько раз затянувшись, он улыбнулся, потер ровной ладонью кончик носа:

— Чуть не сыграли... напоследок, а?.. Веселый разговор!

Он снова потер кончик носа ладонью, потом рывком отодвинул кресло, вытянул ноги и свесил руки за подлокотники.

— Сколько до посадки, штурман? — спросил Лютров.

— Да около четырех часов. Мы тут хороший крюк сделали.

— Командир, — вклинился Карауш, — земля спрашивает, почему прервали связь?.. Хохмачи.

— Передай, проходили грозовой фронт.

— Вас понял... Предлагают запасной аэродром. Нам бы их заботы.

— Передай, нет необходимости. Идем на свой. Уточни у штурмана и сообщи время прибытия. Запроси погоду в районе посадки.

Боровский прикоснулся рукой к плечу Лютрова и показал погасшую сигарету, давая понять, что у него кончились спички. Разволновавшись вдруг, Лютров с такой поспешностью принялся шарить по карманам, что обронил коробок, вынудив Боровского наклониться.

— Ой, черт!.. Извините, Игорь Николаевич, — проговорил Лютров, впервые назвав командира по имени-отчеству.

Боровский весело сощурил глаза — ничего, мол, невелика помеха.

«С-44» шел навстречу занимающейся заре. Снижаясь, самолет все громче оповещал землю о своем прибытии, требовательно прижимался к ней, неся с собой громовой гул двигателей, шипенье и свист полета.

Но, едва коснувшись земли, он укрощенно стих, вполсилы изрыгая жар позади себя. Под ним была незыблемая опора, и его крылья могли отдохнуть...

Подкатив к стоянке, «С-44» замер в двадцати шагах от казавшейся совсем маленькой с высоты кабин фигуры Старика. Позади него чернела толпа людей. Двигатели наконец смолкли, турбины остановились. Спустившись на неправдоподобную своей неколебимостью землю, Лютров поглядел на небо. Над уходящей к востоку полосой летного поля распаялся, становился все огромное и светлее огненно-туманный купол неба, в котором они прожили двое суток.

Со свалывшимися, пропотевшими шевелюрами, небритые, с расстегнутыми застежками-«молниями» на кожаных куртках, все пятеро, неловко передвигая ногами, двинулись в сторону ожидавшего их Старика.

Никто из них не позволял себе выйти вперед. Каждый нес в себе усталость шагающего рядом. Каждый отдавал себя и все свое всем и готов был защищать всех. Так роднит только хорошо сделанная работа, где за усилиями каждого судьба всех. Так роднит общая опасность, разметая химеры тщеславия, отчужденности, непонимания, неумения ценить лучшее в себе самом и друг в друге. Такова счастливая зависимость людей.

Все дурное в них осыпалось и отошло в небытие. Их ничто не отличало

друг от друга. Не было изуродованного рябинами лица Боровского, ничего не значила красота аспидных глаз Саегиреева, ничего не значили кривые ноги коротышки Тасманова, модная грациозность Кости Карауша и возвышающиеся над всеми тяжелеющие плечи Лготрова.

Согласные шаги по бетону отдавались в каждом, как эхо ударов их сердец, одного большого сердца. Над взлетной полосой всходило солнце.

Лето не заладилось. Холод, дожди, туманы... Непогода сбивала ритм работы, полеты то и дело откладывались, летный состав днями просиживал в комнате отдыха, безнадежно поглядывая на небо, на стоянку самолетов, открытых набухшими от дождей потемневшими чехлами.

Каждый убивал время как мог. Для Кости Карауша приспел редкий случай позубоскалить над «отцами-командирами».

В пику Караушу штурман Козлевич принимается за историю о радисте, который выскочил из самолета, потому что не переключил тумблер с радио на СПУ и решил, раз ему никто не отвечает, значит, в самолете никого нет.

В такие минуты Козлевич не очень заикается, речь его становится почти гладкой, но не настолько, чтобы рассказанные им анекдоты производили должное впечатление.

— Смеху-то, смеху... Полны штаны, — не сдается Костя.

— Ты лучше скажи, как мы с тобой на охоту ходили. Не забыл?

— Ну! Собрались мы с Козлевичем на гусей. Едем. «Я, говорит, как бью? Бац — и готово, гола утка». — «Что за гола утка?» — «А после моего выстрела щипать не надо». Это он мне, не кому-нибудь... Приехали на разлив. Первые два дня молчал, а когда я взял пару гусей, говорит: «Давай, Костя, в одно ружье?» — «Как в одно?» — «Что набьем — пополам?» — «Интересное кино, говорю, у меня пара гусей, а у тебя гола утка!» Обиделся. Ладно... Сели ужинать — темно, а палатку еще не ставили, костра нет. «Беги, говорю, поищи кизяков, а я палатку растяну». — «Тебе надо — беги, а я себе и так сготовлю». — «Ну, думаю, хрен с тобой, куркуль...» Сижу, грызу сухари. А он чего-то нашел, запалил костер и так небрежно — швырь туда банку с болгарскими голубцами... «Ну, думаю, гола утка, чтоб я с тобой еще поехал!..» А он сидит боком к огню и чего-то из пальца тянет, занозу, что ли. А она не тянется. Тянул, тянул, и — рраз!! Ни костра, ни Козлевича, ни голубцов — банка взорвалась!..

Вместе со всеми от души хохочет и Козлевич, круглое щекастое лицо его округляется еще больше.

Карауш действует на всех как катализатор. Наперебой начинают вспоминать, кто, где, с кем летал, когда блудил по вине штурманов, какие у кого были командиры, инструкторы, курсанты. По тому, с какой горячностью ведутся рассказы, с каким интересом выслушиваются, нетрудно догадаться, что у каждого с этими историями связаны молодость, годы, вся жизнь. Брошен бильярд, оставлены шахматы и домино, все сходятся в тесную толпу, один перебивает другого, и кто тут разберет, где правда, где вымысел?..

Течение беседы каким-то замысловатым путем начинает касаться вначале бывшего, а затем теперешнего начальства. И уж тут, как нигде в другом месте, высказываются верные характеристики, тонкие суждения, точно подмеченные побудительные причины поведения руководящей публики. Торжествует правда ради смеха.

Лютрова вызвал приехавший на базу ДС, так в КБ звали одного из

заместителей Главного — Данила Сильверстовича Немцова.

Немцов был в кабинете Добротворского. Савелий Петрович учтиво примостился рядом и внимательно слушал. Когда Лютров показался в дверях, Немцов приглашающим жестом указал на свободный ряд стульев у накрытого зеленым сукном стола.

В отличие от других заместителей Главного, которые занимались или проблемами прочности конструкций, или автоматикой, или различными самолетными системами, Немцов был «чистым самолетчиком», его подопечные занимались аэродинамикой самолетов, определяли обводы, внешний вид машин. Однако должность обязывала заниматься целиком теми машинами, на которые каждый из заместителей назначался ведущим конструктором. Для Немцова такой машиной была «С-44».

Высокий, очень худой, он носил бороду а-ля Курчатов, казавшуюся приклеенной плохим гримером, Немцов долго разговаривал с генералом вполголоса, а потому Лютров решил, что ждут кого-то еще, прежде чем объяснить ему причину вызова. Это подтверждалось и сидящими в позе ожидающих двумя ведущими инженерами.

У того, что помоложе, в хорошо отутюженном костюме бутылочного цвета, было нарочито серьезное выражение лица, обращенного в сторону Немцова. Дешевое старание быть замеченным в этом своем виде было прямо пропорционально его профессиональной бездарности, чего не угадаешь по внешней респектабельности.

Вторым был Иосаф Углин. Рядом с коллегой смахивал он на поистрепанвшегося отца большого семейства. Лицо выглядело мятым и каким-то пришибленным, будто он раз и навсегда осознал, что непригоден ни для чего на свете. Чего стоила одна манера курить в присутствии начальства — он держал сигарету в кулаке и после каждой затяжки прятал ее под стол. А бесцветные волокнистые глаза за сползающими очками?.. Казалось, здесь было все, чтобы безошибочно вынести самое нелестное мнение о человеке по внешним приметам. И только летчики знали настоящую цену этому неказистому, близорукому человеку. Занимаясь «семеркой», он с легкостью фокусника держал в памяти данные о едва ли не всех полетах: когда, сколько и в каком из восемнадцати баков было залито топливо, какая при этом была центровка, какое полетное задание, что показали самописцы, сколько времени длился полет, какая в тот день была погода... Его профессиональная добросовестность выглядела юродством для тех, кто помнил свои обязанности «от» и «до». В стужу, в дождь, в жару он был у самолета столько, сколько сам считал необходимым. Если на стоянку вызывались специалисты, Углин пребывал там до конца работ, как бы долго они ни длились. Все, что мог, он делал своими руками, и потому его спецодежда была самой истрепанной, замызганной и никак не свидетельствовала о его принадлежности к инженерной элите аэродрома. Знаток дела, он до подробностей изучил новейшую историю самолетостроения, от первого полета «за звук» — когда, где, кто летал, тип самолета, марка двигателя, продолжительность пребывания в воздухе и «за звуком» и до того, над чем работают сегодня все мало-мальски известные авиационные фирмы мира. Ему не составляло труда на память перечислить летные характеристики не только отечественных, но и зарубежных самолетов. Для него не было секретов в практике летных испытаний, а взаимодействие новейших самолетных систем запросто укладывалось в его большую голову.

Но это был не Володя Руканов. Углину никогда не выбраться не только в

замы Старика, но и в начальники бригады. Предвзвешенность судить по внешнему о человеке так же живуч и действен, как и все прочие предвзвешенности. И потому, может быть, встречая Углина на людях, Лютров подчеркнуто уважительно кланялся ему, отличая вниманием от окружающих. И теперь он дождался, когда Углин повернет к нему голову, чтобы сказать:

— Добрый день, Иосиф Иванович.

— Здравствуйте, — испуганным шепотом ответил Углин и покосился на начальство, как если бы при нем нельзя было здороваться.

Ждали Гая-Самари. Когда он вошел, Немцов прервал разговор с генералом, обратился к нему и Лютрову:

— Вот какое дело, товарищи! На серийном заводе авария. Крупная. Экипаж машины «С-44» покинул ее в воздухе. Жертв нет, но и самолета тоже. Нет и ясности в обстоятельствах, принудивших экипаж оставить машину. Словом, надлежит разобраться. Вопросов мне не задавайте, я сказал все, что знаю. Погоды ждать нет времени, будем добираться поездом. Билеты заказаны, к восьми часам я жду вас на вокзале.

Из кабинета они вышли вместе с ведущими инженерами.

— Чего хоть говорят-то? — спросил Гай разом и Лютрова и Углина, посчитав, видимо, что они знают больше, чем он.

— Темнят, — сказал Углин, прикуривая сплюснутую сигарету. — Проводили балансировку машины и начудили чего-то с триммерами. Как я понял из разговора, все объяснения кончатся тем, что машину резко бросило на крыло. При вводе в вираж, кажется... Судя по разговору, на борту не было нужных самописцев. Устройте летчику экзамен на знание материальной части, и вы поймете, где он пустил пенку.

— Вы с нами? — спросил Гай.

— Меня не посылают. — Углин пожал плечами.

— Хотите поехать? — спросил Гай.

— А зачем я вам? Мне там делать нечего, одна проформа. ДС не зря вас обоих берет.

Но предложение Гая было приятно ему: во взгляде ведущего промелькнула признательность.

— Да! — Углин хлопнул себя по лбу, — Вы должны знать летчика, он когда-то работал у нас, — Трефилов.

— А, — понимающе отозвался Гай, и на лице его ясно обозначилось, что он потерял интерес к событию.

...К вечеру следующего дня они уже сидели в кабинете директора серийного завода. Кроме нескольких человек, чье отношение к событию было неясно Лютрову, сюда были приглашены руководители летной службы завода и оба летчика злополучного «С-44».

Лютров не сразу узнал Трефилова. Он бы, наверно, и вовсе не узнал его, если бы не хорошо знакомый выпуклый лоб и глубокие глазницы, — только они и остались неизменными; Трефилов как-то неузнаваемо потускнел. И потому Лютрову невольно подумалось, что именно Трефилов виноват в аварии. От этой уверенности Лютрову стало не по себе и захотелось, чтобы сейчас, в разговоре, выяснилось, что это совсем не так и чтобы, несмотря на явную неприязнь к нему и Гаю, он, Трефилов, смог убедиться в их объективности.

Пока все рассаживались, Гай встал и приветливо улыбнулся, ожидая, что Трефилов подойдет поздороваться, но тот лишь мельком взглянул на него и едва кивнул. Гай еще постоял немного, улыбаясь уже по-другому, и тоже сел.

Если бы не эта обидная недоброжелательность Трефилова, Гай не был бы столь официален при разговоре с ним, не стал бы говорить ему «вы».

Разговор начал Немцов, и пока он расспрашивал о происшествии, Лютров разглядывал Трефилова, вслушиваясь в его ответы и оценивая их.

При всей их кажущейся обстоятельности было ясно, что Трефилов чего-то недоговаривает, и Лютров не мог отрешиться от подозрения, что про себя тот уже разобрался, где дал маху, но не решается сказать об этом.

Второй летчик, невысокий человек с большим ртом и выступающей челюстью на открытом, бесхитростном лице, почти не отрывал глаз от высокого окна, словно больше был обеспокоен видами погоды на завтра, чем разговором в кабинете.

— Итак, после балансировки самолета вы начали боевой разворот, но при первом же движении штурвалом машина резко повалилась на крыло? Вы пытались выровнять самолет, но при быстро возрастающей скорости падения исправить положение не могли и дали команду покинуть машину.

— Да, пока высота позволяла...

— Разумеется... Пока позволяла высота..

— Немцов наклонил голову к блокноту с какими-то своими записями, и минуту в комнате было тихо.

— Донат Кузьмич, прошу вас...

— Я бы хотел услышать, как проводилась балансировка в этом полете. Только подробнее, пожалуйста, операцию за операцией.

«Ты-то чего еще лезешь?» — откровенно было написано на лице Трефилова, когда он повернулся к Гаю. Зато второй летчик перестал глядеть в окно и принялся внимательно слушать Гая. И только теперь Лютров заметил, что у него большие голубые глаза, измученные какой-то непосильной заботой.

— Ну, начал с руля поворота... Затем...

— Сначала выключили давления в гидросилителях, так?

— Само собой.

Одну за другой он перечислил все операции.

— Листок задания был? Отметки делали или полагались на память?

— Не первый раз... чтобы крестики ставить. Все шло нормально, а когда начал разворот, машина «взбрыкнула» и пошла вниз... Я приналег на штурвал, но чувствую, что не вытяну...

— Да, конечно... При таком ускорении трудно было дотянуться до тумблера включения гидросилителей, — хитрил Гай.

— Не так. Он еще до маневра включил их, — вмешался второй летчик, — а мне велел выключить гидравлику. Вот когда самолет «взбрыкнул»...

Лютров насторожился.

— Выходит, — сказал Гай, — самолет завалило па крыло в момент выключения гидравлики, а не в момент дачи штурвала?.. Или и то и другое произошло одновременно, с малой разницей во времени?

Гай чуял истину.

— Пожалуй что да. Пожалуй что так, — с облегчением согласился второй летчик.

Трефилов сделал неопределенный жест рукой: дескать, может быть.

«Углин был прав, — размышлял Лютров, начиная вслед за Гаем догадываться о происшедшем на борту. — Тут-то он и «пустил пенку». В начале балансировки он старательно выдерживал включение-выключение гидросилителей, а к концу прилежание изменило ему. Гай неспроста

поинтересовался, делал ли он записи: один из рулей — руль высоты — он триммировал с невыключенным давлением в гидроусилителях, и если после такого триммирования выключалась гидравлика, то все очень просто... Импульсные включения машинки триммеров при давлении в гидроусилителях никак не влияют на поведение машины. Сделав затем небольшие дачи штурвалом, он посчитал, что все в порядке, потянул руку к тумблеру, чтобы включить гидроусилители, но чем-то отвлекся, а потом обнаружил тумблер в положении «включено» и решил, что подошло время очередной операции, вот он и велел второму летчику выключить гидравлику... Но почему Трефилов не сделал это сам?.. Может быть, нечетко проведенная последняя операция заронила настороженность и, приказывая второму летчику выключить гидравлику, он тем самым на нем хотел проверить себя?.. Если, мол, тот с легким сердцем выключит, значит, все идет как надо... Может быть... Но вся штука в том, что Трефилов принадлежал к людям, не располагающим к себе товарищей по работе, его, видимо, не только не уважают на заводе, но рядом с ним у летчиков пропадает всякая охота быть ему помощником... И в этом полете второй летчик действовал по принципу, «дело второго — не мешать первому». Когда давление упало, триммеры сами собой резко переместили руль, машина «взбрыкнула», и... попробуй вытяни штурвал. А когда не знаешь, что происходит с машиной, хватайся за красные ручки катапульты. Все очень просто...»

Обменявшись предположениями, Лютров и Гай убедили Немцова сделать контрольный полет, чтобы провести балансировку самолета со всеми ошибками заводского экипажа. Немцов согласился, но потребовал установить на борту «С-44» самописцы.

— Как бы ни были убедительны ваши рассуждения, нельзя делать выводы без объективных данных.

Через три дня, рано утром, Лютров оторвал от полосы новенький «С-44» и взял курс в зону испытательных полетов.

Скороподъемность, послушание, хорошо оберегаемая тишина в кабине, безупречность отделки каждой мелочи и почти осязаемая надежная упругость крыльев — все говорило о мощи, молодости и отличной маневренности, корабля.

В два этапа набрав высоту, Лютров принялся старательно проделывать манипуляции балансировки самолета в продольном и поперечном отношениях.

Руль поворота. Выключить гидроусилители. Выждать, определить поведение машины. Дать импульсы на машину триммеров... Прибавить, убавить. Выждать. Включить гидроусилители.

Элероны. Выключить гидроусилители. Выждать. Импульсы на триммеры. Убедиться в отсутствии отклонений в направлении полета. Включить гидроусилители.

Руль высоты. Выключить гидроусилители. Выждать. Работа триммерами. Включить.

Хорошо. Теперь включить в работу все гидроусилители, выждать при нейтральном положении штурвала по усилиям. Проследить за поведением самолета. Внимательней... А теперь несколько скольжений. Развороты. Влево, вправо... Штурвал на себя. Машина вела себя безукоризненно.

— Ну что, Гай, начнем не по правилам?

— Начинай, Леша.

Не выключая гидроусилителей, Лютров на большой угол сместил триммер

руля высоты.

— Выключай гидросистему!

— Держи штурвал.

Самолет, точно надломившись, резко пошел вниз. Еще до того, как машине удалось набрать скорость, Лютров убрал триммер и, придерживая вместе с Гаем отяжелевший штурвал, вывел «С-44» в горизонтальный полет.

...После расшифровки ленты самописцев в кабинете директора начался последний разговор. Пошептавшись о чем-то с бритоголовым, как буддийский монах, директором, Немцов сказал Лютрову:

— Слушаем вас, Алексей Сергеевич. Легко сказать «слушаем»! А что говорить, когда и так все ясно, и каждое твое слово прозвучит приговором сидящему напротив Трефилову.

Лютров, как мог, кратко рассказал о полете и, стараясь избегать местоимений, перечислил причины, которые создали аварийную обстановку.

Выйдя из кабинета директора, Гай подошел к Трефилову и, делая вид, что не замечает его косящего взгляда, сказал доверительно:

— Ничего не поделаешь, дорогой мой! Пойми: невыявленная причина заставляет подозревать наличие каких-то дефектов в конструкции, а что это значит для КБ и для нашего брата, сам понимаешь, не мне тебе говорить.

Трефилов ничего не ответил и ушел, не попрощавшись.

— Надо же так глупо потерять машину!.. — сокрушался Гай. — У меня из головы не выходит разговор Долотова с Трефиловым. Помнишь, я говорил тебе?

— Долотов не считал, что нужно «давать шанс человеческим слабостям», а?

Вечером к ним в номер зашел Немцов. Он только что говорил по ВЧ из кабинета директора завода с Главным и доложил ему о результатах разбора аварии. Соколов попросил передать трубку директору и «в очень сильных выражениях настаивал на отчислении с завода виновных».

— В конце концов это справедливо.

С этим нельзя было не согласиться, но говорить об этом не хотелось.

— Николай Сергеевич очень раздражен, — продолжал Немцов. — На базе неприятность. На этот раз что-то с бесхвосткой.

— Витюлька!.. — выдохнул Гай.

Они вернулись утром следующего дня и, едва выбравшись из самолета, предоставленного им директором завода, спросили у механиков на стоянке о состоянии Извольского.

— Жив! Ногу повредил, говорят, два ребра, зубы, что ль... Вообще, побился. В госпитале сейчас.

Эх, Витюлька, Витюлька! Что с тобой стряслось на этот раз?

Маленький, изящный, как танцор-подросток, он был не лучшим летчиком, но отличным парнем. До смешного крохотный рядом со своими дюжими коллегами, он носил самые малые роста летного обмундирования, да и те были для него чересчур свободны.

Его отец, профессор, руководитель филиала Академии наук, известный среди специалистов трудами по ботанической географии, не без боли сердечной предоставил единственному сыну право выбрать из других авиационный институт, не преминув высказать своего сожаления об отсутствии у Витюльки влечения к флоре земли. Но насильно мил не будешь, и на семейном торжестве по случаю успешной сдачи вступительных экзаменов отец пожелал сыну

успехов на пути, «начатом в России Жуковским, Чаплыгиным и... другими, весьма почитаемыми в научном мире людьми».

Чаплыгина из Витюльки не получилось.

На третьем курсе он впервые сел в кабину спортивного самолета, и не столько по собственному побуждению, сколько из чувства солидарности с друзьями. Но если для остальных студентов факультета механики занятия в аэроклубе не пошли дальше спортивного увлечения, то для Витюльки это было только начало. Серьезность его любви к авиации сказалась даже в скоропалительной женитьбе, которая была не столько «сердечным следствием», сколько влечением характеров; избранница Витюльки постигала вместе с ним летное дело.

Может быть, были и другие — особые — мотивы этой его увлеченности: подчиняя своей воле ревущую громадину, легко расстаешься с обидным для юноши представлением о собственной мужской неприглядности...

Окончив институт и положив в карман рядом с дипломом инженера-механика новенькое удостоверение летчика-спортсмена, Извольский на радостях разошелся с женой, «мужеподобной особой, лишенной тормозящих центров», по словам профессора, «не стеснявшей себя ни в выражениях, ни в действиях» в затяжной войне против свекра и свекрови.

Идя в этом навстречу родителям, Витюлька взамен рассчитывал получить согласие «предков» на перемену профессии: он уже тогда задумал стать летчиком-испытателем.

Решение сына стать летчиком расстроило профессора, находившего подобное занятие «уделом людей, может быть и смелых, но не более», и мечтавшего видеть сына пусть не естественником, но ученым, а не «ремесленником-аэронавтом». Но жертва сына, поступившегося личным счастьем ради покоя родителей, обезоружила отца. Профессор, может быть, и не смирился в душе с его новой привязанностью, но не мог не согласиться, что упорство, с каким сын шел к своей цели, само по себе достойно уважения.

Проработав два года инженером-механиком на фирме Соколова, Извольский всеми правдами и неправдами пробился в слушатели школы летчиков-испытателей, которую и закончил со свидетельством, где значилось, что Виктор Захарович Извольский — летчик-испытатель четвертого класса.

На правах летчика-инспектора Боровский вывозил Витюльку на «С-4», одной из первых реактивных машин Соколова. При всем гласном и неизменном нерасположении к «ученым летунам», «корифей» не усмотрел огрехов в технике пилотирования подопечного. Инспекторская оценка Боровского была бесстрастно положительной.

Начав работать самостоятельно, Извольский сделал несколько сотен полетов на том же «С-4», переоборудованном под летающую лабораторию. К тому времени из ангара выкатили «С-40» — опытный вариант большой машины. Корабль поднимал Боровский, вторым летчиком неожиданно для всех был назначен Витюлька, только что получивший третий класс. Пока «С-40» готовили к первому вылету, он продолжал летать на «С-4» с установленными на нем различными системами «С-40», провел испытание подвешенного под фюзеляж двигателя новой машины, и так прижился на «С-4», что, когда, уже после вылета «С-40», нужно было сделать несколько полетов на облегченном варианте «С-4», Данилов поручил работу Извольскому. И в первом же полете Витюлька напрочь снес кормовую пята при посадке. Оценив происшествие с присущей ему резкостью: «Учиться летать нужно, как играть на скрипке, чем

раньше, тем лучше, чтобы вовремя понять, что это не твое дело», — Боровский, однако, не воспротивился назначению Извольского вторым летчиком к нему в экипаж на «С-440». Никто не принимал всерьез афоризмы «корифея», его недолюбливали, а Витюлька со своим общительным характером всем пришелся по душе: истина, высказанная недругом, как и ложь, изреченная другом, но оценивается по достоинству.

Скоро об этой посадке забыли: с кем не бывает! К тому же начальником комплекса был в ту пору давний сподвижник Главного — Евгений Маркович Триман, некогда награжденный полным «Георгием» за боевые вылеты на самолетах «Сопвич» и «Морис Фарман» еще в первую мировую войну. Триман сделал Извольскому внушение «келейно», при закрытых дверях, на том и прекратил дело.

Извольского могло сбить с панталыку необычное включение тумблера уборки шасси — книзу, вместо привычного кверху. В этом разное для каждого мало приятного, но связанные с таким неудобством последствия подстерегали именно Витюльку. Только потому, что управление стояночными тормозами «С-04» помещалось не там, где у «С-4», он забыл снять самолет с тормозов перед взлетом. А тут еще лужи от недавнего дождя. Влекомый взлетной тягой двигателей, «С-04» принялся весьма резво юзить вдоль полосы на заторможенных колесах. И лишь когда задымилась резина, а самолет повело в сторону, Извольский прекратил взлет точно по инструкции.

Досадуя на свои промашки, он по старой институтской привычке принимался яростно штудировать описания, инструкции, наставления, назубок усваивая дозволенное и недозволенное, допустимое и недопустимое, минимумы и максимумы каждого самолета. Извольский знал все опытные машины лучше других летчиков, старых и молодых, а не хватало ему совсем немногого.

Как и в любом ремесле, в искусстве пилотирования есть свои приемы мастерства. Они проявляются не только в идеальной точности выполнения полетных заданий, но и на взлете, на посадке и даже в простом проходе на малой высоте с последующей всегда эффектной горкой. Уловить в кажущейся одинаковости маневров тонкости высокого стиля может лишь наметанный глаз профессионала. Извольский не раз видел и не мог не оценить приметы мастерства у более опытных своих коллег — Долотова, Гая, Боровского. Сколько раз он наблюдал, как ведомая Долотовым тяжелая машина, едва коснувшись бетона косами шасси, не торопится опускать нос, а как бы раздумывает, прежде чем встать на третью опору. Зависающая пробежке передняя часть фюзеляжа опускается словно без участия рук летчика, а сама собой, по мере падения скорости. Но это только так кажется. Умение до последней секунды использовать посадочную скорость говорит о виртуозном владении управлением самолета.

Восхищал его и Гай во время проходов над крышами базы на истребителях. Снизившись до предела, блеснув всеми заклепками. Гай чертом уносился от земли по крутой горке, венчая ее бочкой, да не какой-нибудь развалюхой, а ювелирно выполненной фигурой, когда самолет вращается, как нанизанный на собственную ось.

Какую бы машину ни поднимал Боровский, они у него никогда не колыхнутся, угол набора высоты как нарисованный, без поправок после отрыва, во время которого скорость подъема носа точно совпадала со скоростью набора высоты, хоть записывай.

В последний раз Извольскому не повезло перед авиационным праздником.

Перегоняя самолет на аэродром, откуда готовилась стартовать для прохода на параде эскадрилья «С-4», Витюлька, по собственному признанию, вознамерился пофорсить перед летчиками из «потешного войска». На этот раз пострадала не только кормовая пята, досталось и фюзеляжу под хвостовым оперением.

Отвлекся ли Витюлька от земли перед тем, как колеса шасси должны были коснуться полосы, не уловил ли, что машина еще сохраняет полетную скорость, но, подавая штурвал на себя, чтобы попридержать машину на двух точках, он утянул ее кверху... По мере увеличения угла атаки, самолет резко затормозился и «посыпался» на хвост, вроде вороны перед посадкой. Сначала «С-4» сделал дикого «козла», а затем, как брошенный, рухнул на три точки. Лишь благодаря особенностям крыла машина не завалилась набок. Сгорел бы Извольский вместе с экипажем. На этот раз происшествие получило резонанс. Тримана сменил Юзефович, вызвавший на голову Витюльки гнев Старика. К счастью, главный ограничился звонком на базу, а у телефона оказался Гай-Самари. В самых деликатных выражениях начальник летной службы изобразил трудные условия посадки, адскую грозу, сильный боковой ветер, чудовищный ливень и прочая и прочая, хотя ничего из перечисленного на аэродроме посадки не наблюдалось. Взяв грех на душу, Гай закончил беседу со Стариком примирительной фразой, сводящей на нет остроту события...

— С каждым может случиться такое, а парень способный, и с ним это впервые.

Положив трубку так, словно это был сосуд с нитроглицерином, Гай бессильно откинулся на спинку стула и минуту глядел на Извольского, как на палача.

— Витенька, если вздумаешь еще фокусы показывать, вспомни этот разговор, я тебя очень прошу...

И он запомнил.

Когда Долотову поручили подготовить Извольского к испытаниям на штопор нового истребителя и они сделали несколько десятков полетов на спарке, Витюльку как подменили.

Борису Долотову удалось главное — привить Извольскому не только собственные навыки, но и хозяйское чувство к управляемому самолету, весьма отличающееся от пассажирского ощущения скорости и пребывания на высоте. Осталось тайной, как сумел Долотов сбить в Извольском предрасположение к неудачам. Видимо, он знал Витюльку лучше других. Подлинный мастер, а потому немного колдун, наделенный обостренным чувством своей слитности с машиной, Долотов как бы раскрыл Извольского, научил его обретать в полете то вдохновенное чувство, когда нервы человека словно бы простираются за пределы организма, пронизывают крылья, сопереживают напряжения атакуемого потоком летательного аппарата; когда летчик не только знает, но чувствует пределы возможностей самолета, как пределы усилий собственных мышц. Любой маневр, любой обозначенный в полетном листе режим он заставил Извольского выполнять дважды — в воображении и в воздухе, внушив ему, что в этом и заложен секрет непостижимо точных действий летчика в самых невероятных ситуациях, как если бы к его сознанию была подключена нужная программа.

Почти год вел Извольский испытания на штопор истребителей различных модификаций, а когда работа была закончена, ему вручили свидетельство летчика-испытателя первого класса. Узнали об этом от того же Долотова. Присмотрев входящего в комнату Витюльку, лишь накануне получившего

свидетельство, Долотов неожиданно для всех оставил бильярд и пошел ему навстречу.

— Рад за тебя. Поздравляю. Давно пора, — серьезно сказал Долотов. К испытаниям на штопор одной из модификаций бесхвостки его готовил Гай-Самари. И почти вею программу Извольский провел безупречно.

Но если бы не Долотов, летавший с ним в паре на самолете сопровождения, этот полет был бы для Витюльки последним.

Вернувшись на аэродром, куда он передал координаты падения бесхвостки, Долотов, не раздеваясь, направится в кабинет Данилова. Кроме Добротворского и Руканова, улетевших к месту аварии на вертолете, Долотова ждали почти все руководители отделов испытаний, летчики, ведущие инженеры.

Не замечая одетого в новую летную куртку Юзефовича, Долотов сел так, чтобы видеть одного Данилова.

— С управлением что-то... Мотает виток за витком, а не выходит. Спрашиваю, что случилось, а он: «Погоди, не торопись». А как не торопиться, когда высоты нет... Я ему — прыгай, высота!.. До земли меньше тысячи метров. Я уж подумал, что-нибудь с катапультной. Нет, гляжу — вырвался... Падал по кривой к земле, парашют, правда, раскрылся, но боюсь, у самой земли. Может, парашют и попридержал, не знаю. Я два раза над ним прошел, не поднимается.

— Самолет горел? — спросил Юзефович.

— Не знаю, — ответил Долотов, глядя по-прежнему на Данилова. — Он мог не успеть освободиться от кресла, оно упало вместе с ним или рядом...

— Что же помешало Извольскому покинуть машину вовремя?

Долотов повернулся к Юзефовичу.

— Я не гадалка. Говорю, что видел.

— Почему он сказал «не торопись» на такой высоте? — вслух подумал Данилов.

— Что-нибудь с высотомером, — подсказал кто-то.

— Может быть, — громко подхватил Юзефович. — Я слышал, Руканов распорядился не снимать высотомеры на очередную тарировку до конца программы полетов на штопор. Вот вам и возможное следствие...

— Спасибо, — заключил разговор Данилов.

— Вы будьте неподалеку, вас наверняка захочет увидеть Савелий Петрович.

Последние слова относились к Долотову.

— Вот вам и следствие, — с особым смыслом повторил Юзефович и решительно направился из комнаты. Лицо его было непреклонным.

Никто в комнате не сказал больше ни слова, все смотрели на Долотова, пытаясь понять, чего можно ждать с возвращением вертолетов.

Извольского привезли без сознания, в кровавых бинтах. Девушка-врач сумела сделать все, чтобы поддержать его до той минуты, когда за него примется главный хирург госпиталя.

А Юзефовича между тем обуревали свои хлопоты. Высказанные в кабинете Данилова предположения о неисправности высотомеров дадут пищу для разговоров, а это как раз то психологическое обоснование, когда можно действовать в открытую. Он велел принести документы, где отмечались регламентные работы, и, убедившись, что проверка высотомеров просрочена на несколько дней, приказал наземному экипажу написать объяснительные записки.

Главное было сделано. Подготовлены документы, уличающие ведущего инженера В. Л. Руканова в халатности. Нет, нет, никто не утверждает, что она привела к аварии, разобраться в причинах — дело комиссии. Его, Юзефовича, обязанность предоставить ей все, что прямо или косвенно поможет найти истину. Но в любом случае просроченные отметки в документах, объяснительные записки и его докладная произведут впечатление. Юзефович не сомневался, что с такой «телегой» позади ни о каком повышении в должности в обозреваемом будущем Руканов не может и мечтать.

Но если вышло черт знает что, то виной всему, видимо, время, когда все происходит не по тем правилам, по которым жил и уже не мог не жить Юзефович. И еще потому, что у Павла Борисовича Разумихина, назначенного возглавить аварийную комиссию, оказалось два неудобных качества: хорошая память и никакого понятия о деликатности в отношении номенклатурной фигуры и. о. начальника комплекса.

На первом же заседании, где подводились итоги осмотра самолета на месте падения, Разумихин удивленно поднял брови, увидев сидящего со скромным видом Юзефовича, — тот не был членом комиссии.

— А ты с чем пожаловал? — спросил он уничижительным тоном, какой только может быть у человека, не привыкшего стеснять себя в выражениях. — Имеешь мнение?.. У тебя, помнится, всегда было особое мнение. Ну?

Два десятка людей за длинным столом в кабинете Данилова хорошо знали, что означает это «ну?».

— У вас в папке моя докладная, Павел Борисович... Могут быть вопросы...

— О Руканове, что ли?

— Не только, там...

Руканов, сидевший напротив Лютрова, рядом с Гаем и Долотовым, снял очки и принялся старательно протирать сложенным носовым платком толстые, ограненные стекла. Руки его дрожали. Заметив это, Лютров почувствовал нечто вроде удовлетворения: что-нибудь да останется в пасторской душе Руканова после этой передряги, что-то оживет в ней, сделает ее менее стерильной и более человеческой.

— Ты что, всерьез считаешь, что два просроченных дня в годовых регламентных проверках приборов послужили причиной отказа в работе? Или меня за дурака принимаешь?

— Я не понимаю вас...

— Врешь.

Разумихин подался через стол к Юзефовичу и несколько мгновений в упор смотрел на него, наливаясь злобой.

— Скажи, чем ты занимаешься в авиации?.. Сам не знаешь. И никто тут не знает. Гляжу я на тебя и никак не могу понять, почему Соколов не выгнал тебя... И хоть бы работягой был, механиком, прибористом...

— Вы что!

— Не перебивай! Сядь!.. Думаешь, я этой бумажке поверю? — Разумихин тряхнул докладной Юзефовича. — Да скажи ты мне, что завтра будет утро, я и тому не поверю с твоих слов... Если собрать по бумажке с каждого, кого ты оплевал за все годы работы, вот этой папки не хватит... А ведь они не пишут. Почему бы это, Юзефович? Более того, ты работаешь в КБ Главного конструктора, которому... известны твои художества, и все-таки он терпит тебя. А что стоит ему загнать тебя за Можай, а?

Подбородок Разумихина подергивался, побелевшее лицо не сохранило и

тени его всегдашнего добродушного выражения.

— Я тебя не задерживаю.

Через несколько дней, когда была определена причина невыхода бесхвостки из штопора — скрытый дефект в цепи управления, Разумихин вызвал Юзефовича в снятые им апартаменты Главного.

Не ответив на «здравствуйте» Юзефовича, он спросил:

— До пенсии сколько осталось?

— Мне?.. Полгода. Семь месяцев.

— Пиши заявление с просьбой о переводе на... легкую работу. В связи с болезнью... печени, — Разумихин приписал ему собственную болячку. — Будешь помощником начальника отдела эксплуатации, приглядывать за своевременным заполнением документов на регламентные работы...

Собравшийся было в отпуск Лютров не мог уехать, не повидав Извольского. Перед началом работы на «девятке» они сговорились вместе отдохнуть у моря, а теперь, кто знает, может быть, Витюлька и не поправится к осени?

— Почему не прыгал вовремя? — спросил Гай, когда они с Лютровым поднялись к Витюльке в палату.

Лежа на мудрено сконструированной кровати, распухший от бинтов, Извольский едва не плакал от обиды.

— Спутал, понимаешь? Спутал положение стрелок на высотомере. Выводил, выводил... И так и так, не хочет выходить, паразит. Витков двадцать намотал. А Долотов ходит вокруг по спирали и кричит: «Прыгай!» Глянул на высотомер — шесть тысяч! Чего, думаю, разорался, время есть... А на приборе не шесть тысяч, а шестьсот метров. Мне бы, кретину, получше приглядеться, а я... Хорошо еще, землю заметил, а то... на венки бы скидывались. — Он подмигнул единственно видимым глазом. — Думаете, отлетелся? Фигушки. Тут дед-хирург командует, фронтовик, будь здоров костоправ. Может человека из запчастей собрать, и будет как фирменный... Отцу сказал, не волнуйтесь, ваш сын будет работать по специальности. Обрадовал предка!..

— Витюлька, а твоя, как ее?.. Тоня? Знает она, что ты здесь?

Лютров вспомнил, что видел как-то Извольского в обществе весьма впечатляющей девицы, которой был представлен.

— Томка?.. Заходила... На юг собирается. Что ей Гекуба, и что она Гекубе... Да и по делу — чего ей летом в отпуске по городу мотать?.. Сиделки мне не нужно, тут сестричками студентки на каникулах. Одна другой внимательней, аж совестно. Мать каждый день бывает, все ахает, отец свой силос забросил... Раз заходит в палату, и Томка тут. Она на мою бывшую жену смахивает, так отец, кажется, струхнул малость!..

Это было не мудрено: хорошо упитанная девица действительно напоминала бывшую супругу Извольского. Витюлька был верен себе во вкусах.

— Выпить не принесли, позвонки?.. Чего у тебя в кармане. Гай?

Тот выразительно повел воловьими глазами в сторону соседа Извольского, лежащего с задранной ногой в гипсе.

— Принимает, не боись... Свой мужик: ночью катапультировался, на церковь приземлился. Видишь, ногу сломал. Бог помог.

Перед уходом из госпиталя они побывали у главного хирурга — сухого

бодрого старика армянина, говорившего на подчеркнуто чистом, даже изысканном русском языке.

— Положитесь на мое слово, молодые люди, — ответил он на вопрос Гая о состоянии Извольского. — Месяца через два приступит к работе... Несколько не очень серьезных травм...

Прощаясь с Гаем, Лютров попросил:

— Пока будет возможно, ты не подыскивай второго летчика на «девятку». Может быть, и в самом деле парень поправится.

— О чем говорить, Леша! Мне и самому хочется, чтобы он с тобой полетал. Такая работа не каждый год бывает.

— Я не потому: он хороший человек, Гай, его легко обидеть.

...Возвратившиеся из пропасти дней родные берега рождали сладко щемящую боль, в которой хотелось растворить себя, как в умилении... Каждый звук, запах, силуэт — неизменные, не тронутые временем, восхищали радостью узнавания, радостью до слез,— казалось, все эти годы он прожил беспутным сыном, тратившим на негоже то, в чем нуждалась и чего ждала от него родная мать.

Расслабленный этим чувством, почти хворый в первые дни, Лютров часами просиживал на камнях берега, замороженно слушая, как море полощет скопище гольшей вокруг Нарышкинского камня, словно патиной покрытую зеленым налетом времени. Рассеченные им волны, извиваясь, с шаловливым шелестом обегали разновеликую осыпь булыжников, утробно всасывались размытыми пустотами и привычно возвращались к морю.

Рожденные легким ветром, далью и солнцем, волны свертывались на гальке, как береста на огне, с хохотом ударялись о нее пенистыми вершинами гребней, то увлекая за собой тысячекратно омытую серую россыпь, то вытесняя обратно.

Недвижная покорность берега, казалось, забавляет море, оно мнет и тискает каменистое ложе, словно пытается растормошить землю.

А над ними, над землей и морем, застыло время, слепящее солнце висит неподвижно...

Лютров снял комнату на самом берегу, в доме старого рыбака дяди Юры, едва ли не последнего человека в городке, помнившего не только мать Лютрова, но и деда Макара.

Дом был старым, наверное, старше хозяина. Ветхая железная крыша уже не держалась на трухлявых стропилах, кровлю придавили массивными ножками парковых скамеек, источенными ржавчиной кусками рельсов, отстоявших свое опорами причальных пирсов, изъеденных и выброшенных морем. Выложенные из грубо обработанного известняка стены рассечены трещинами, двери перекошены и провисают на петлях, стекла маленьких окон собраны из наложенных друг на друга обломков, а половицы в отведенной ему комнате истерты так, что более стойкие сучья торчат по всему полу, возвышаясь как заклепки.

Сколько ни присматривался Лютров, он не видел в городе знакомых лиц. И ровесников, и тех, кто постарше, разметала война, многих похоронила. В городке освоились переселенцы с юга Украины, с Кубани, из Ростовской области. На месте слободки, где когда-то жил Лютров, поднялись стандартные жилые дома, какие с известных пор строятся повсюду, от Норильска до Одессы.

Над городком, мимо старого кладбища, мимо густого ряда конических надгробий со звездочками, широко и ровно легла, проломив мохнатый горб горы на западе, новая дорога на Севастополь. Она была роскошной по этим местам, и люди немало потрудились, чтобы уложить ее здесь, на этих от века непрístupных скальных предгорьях.

Возле домика дяди Юры, чуть в стороне от места, где давным-давно стоял дом бояр Нарышкиных, белел недостроенный санаторий.

Со всем, что преображало городок, старый рыбак был в непримиримой ссоре.

— Кончился причал, рыбацья пристань, — доверительно, как своему, жаловался он Лютрову за бутылкой вина в сарае над береговым обрывом. — Все огородили, вскорости к воде на брюхе не проползешь. А чего для?.. Ни купанья тут, ни загоранья, одни склизлые камни, по ним идти — ноги вывернешь. «Устранить. Для глаз вид плохой». Помешали, вишь... Баре не гнушались рыбацьею посудой, а им чтоб все гладко, как у фарфоровом гальюне... Форменное фулиганство...

— Так и не дали места?

— Отвели, — не сразу отозвался дядя Юра. — У черта на куличках. Аж в Алушке-Саре... Как низовка зимой дунет — весь берег сплошь волной гладит.

Выстроенный наполовину из желтого ракушечника, наполовину из мелких бросовых досок с остатками различной окраски, большой и полупустой сарай дяди Юры служил разом и хранилищем рыбацких весел, подвесных моторов, бензиновых баков, и мастерской, где всегда кто-нибудь работал, и местом, где старожилы, «скинувшись по рублю», вспоминали былые времена, когда «рыба шла», вино было не в пример теперешнему крепче, а перепелов на осенних перелетах можно было ловить руками.

Лютров с удовольствием вслушивался в уже забытый им говор, каким отличались некогда жители приморских городков. Разговор старожиллов начинался обычно степенно, согласно, но по мере того, как пустели бутылки темного стекла, все более восходил к стилю «парламентских крайностей».

— Слухай сюда, Вася!.. Усякая собака чистых кровей чутё имеет, а игде у нее чутё?.. Ну, игде, я задаю вопрос?..

Худой пекарь с запудренными мукой ушами показывал рукой на щенка-сеттера, с которым пришел один из друзей, и делал страшные глаза.

— От зачинился за свое чутё! Может, у него вагон чутя, а ходу нема, так что мне с того чутя?.. Какая собака без ходу, так то не собака. Мой Спира...

— Его Спира!..

Разговор покрывает трескучий бас, неведомо как уместившийся в тонкой жилистой шее матроса-спасателя — маленького, какого-то стираного-перестираного, отсиненного и отутюженного, да к тому же в фуражке с крабом.

— Брось травить, — рычит он, — как тот шкипер с Понизовки... Шоб его черная болеть трясла... Я его знаю, сопляка, когда он имел одни штаны на двоих с братом, а ты мне хочешь сказать... Все у жизни должно форменный вид иметь, все одно — жена или шлюпка. А какие теперь шлюпки делают, изнаешь?

— Шо он своего шкипера мне суеть? Или он папа этому кобелю?

— Не слухай его, Сирожя. Он, когда выпимший, или про шкипера говорить, или у шлюпке кемарить.

— Ты мою Азу изнаешь? — кричит пекарь. — Так ты послухай, ты послухай. Я с ей у прошлым годе сто восимисят шесть штук узял. На Бизюке.

Натурально, перепелок. Уполне серьезно... Так я об чем, я об том, что эта собака моей Азе чистая племянница будить.

— Кобели не бувають племянницами.

— Ихто не буваить?.. Ты Федю безрукого с Алупки знаешь? Так его Милка и Зурешка Сеньки Белана с Мисхора от помета Канадки Павлика Бреды из Старого Крыма, понял? Так шоб ты знал, Веста дяди Мити с Дерекоя, которая этому кобелю родная мать, так они промеж себя родные сестры!

— Шо ты людям метрику читаешь, как у милиции? Ты за ее вид скажи?

— Зачем тебе вид издался? Ты чутё проверь, а потом сообщай!..

— Пусть он скажить. Косарёв, скажи свое слово! Все поворачиваются к Косарёву. И щенок тоже, но тут же чихает от пущенного в его сторону дыма и стыдливо опускает крапчатую морду.

— Как тебе глянется собака?

Косарёв молчит. Молчит и курит.

Пекарь теряет терпение:

— Ну?

— Шо ну?

— Ха! Ты же собаку глядел?

— Ну?

— Он ишто, ненормальный? Люди располагают, он слово скажить!

— Косарёв обсуждаить повестку дня...

— Дробь, Самсон, — у пекаря кипит пьяное тяготение к ясности. — Ты у зубы глядел? Глядел. Хвост обсмотрел?.. Так скажи, что и как, а не моргай, как пеламида.

— Ихто?

— Он мне нервным издекает, паразит! Ихто! Собака!

Косарёв густо затягивается и предлагает с хорошо выдержанной назидательностью:

— У тыща девятьсот двадцатом годе достал я у Севастополе суку. Чистых французских кровей. Блу-балтон, понял?.. А звали иё... Сейжермей Вторая... Так то была собака. Ни одни пиндос от Керчи до Фороса не имел такой суки. Балерина!.. Не сука, а, можно сказать, переворот в науке... Но все-таки пришлось эта... Обменять ее. На лошадь. У турка. Поскольку турок домой вертался.

— При чем тут турецкая лошадь?

— Ты слухай сперва... При том, что моя собака через месяц как ни в чем не бывало у конуры стоять!..

— Мокрая.

— Она тебе не Иисус Христос — пешком по воде ходить.

— И чего говорить?

— Ихто?

— Собака. Блу-балтон.

— Об чем?

— Об турецкой жизни.

— Ваня, скажи этому сумасшедшему человеку, может животная Черное море переплыть?

— Как плавать.

— По-собачьему.

— Уполне. У нас врачиха по-собачьему пять часов плавала, жир сгоняла, чтоб женский вид по всей форме.

— Так то врачиха!.. Она, может, по науке, может, она американские

пилюли глотала...

«Оказывается, вы еще живы, вы еще умеете говорить на этом дурацком миллом родном жаргоне?..» — думал Лютров, улыбаясь, всматриваясь в возбужденные лица, и таким неповторимо прекрасным, далеким эхом отзывались в душе их голоса.

У дяди Юры был потертый, но еще крепкий, устойчивый на волне ял с мотором, стоящим на кормовых шпангоутах; нещадно дымящим и нечно сырým от потеков масла.

Перед рассветом он спускал ял на воду и уходил в море ловить ставриду на самодур — «цыпарь». Но погода стояла теплая и тихая, рыба «не шла». Иногда попадалась пикша или катраны, Лютров видел разбросанные по двору остатки этой никчемной рыбы, над которой поработал трехколесный хозяйский кот.

И усыпляло и будило Лютрова море. Проснувшись, он натягивал синий спортивный костюм и шел к воде. Иногда вместе с дядей Юрой уходил в море и видел там восход солнца, священное действие рождения дня. Глядя, как розовеет и плавится выглаженная безветрием серо-стальная водная ширь, он думал, что всякое рождение в этом мире — рассвет: появление человека, животного, дерева. Всякое рождение — священо на земле, потому что сущность рождения — обретение света.

После возвращения с рыбалки он помогал старику вытаскивать ял на берег, относил в сарай тяжелые весла с веревочными петлями уключин, купался, пил чай и слушал городские новости в пересказе жены дяди Юры, глуховатой старухи Анисимовны. Она уважала Лютрова за внимание к ее долгим рассказам о том, как было в памятном ей прошлом, и сводила к нему всякий их разговор. Они вспоминали общих знакомых, кого и куда раскидало время, кто умер, кто жив и как живет. Помянули деда Макара и всех, кто когда-то работал на Ломке.

...Погода стояла тихая, жаркая, море лежало недвижно и, будто вылощенное, отблескивало серо-голубой пленкой.

По вечерам на горизонте, над полоской черно обозначенных снизу туч глазасто вспыхивала первая звезда. Чуть тронутая темнотой голубизна неба вокруг нее насыщалась синевой, чистой и глубокой. К западу синева переходила в размытую пустотно-легкую светящуюся зелень, которая затем выцветала и будто осыпалась в розовое марево над местом захода солнца. Море в той стороне тоже становилось акварельно-розовым, но дальше к востоку, все тусклее, все более неуловимо отблескивал солнечный жар заката. Наконец блеск исчезал, море па востоке словно затаивалось в полутьме, и только у берега, в тени обрыва и выступающей вровень с ним скалы, вода еще сохраняла Дневной пляжный сине-зеленый цвет.

Иногда перед заходом солнца слабый ветер поднимал суетливые нестройные волны. Море густо темнело, принималось судачить у берега, но за ночь стихало, сморенное теплотой, покоем, сном.

Ночь нередко заставляла Лютрова высоко над городком и морем, на вершине Красной горки, рядом с мученицей-сосной, серо темневшей в месте надруба. Ее оголенные корни, высунувшиеся над обрывом и вновь ушедшие в землю, напоминали щупальца большого спрута. Лютров подолгу стоял там в темноте и глядел на восток, где от виноградных холмов медленно отделялась луна, превращаясь из медной в раскаленно-золотую. Небо в том месте, откуда она всходила, становилось чернее, холмы терялись в этой черноте, зато море, в

сторону которого луна поднималась, облекалось в зыбкую пелену света; сначала свет четко обозначал границу воды у берега, затем отступал, рябил и рыхлился, растекаясь по дали, бессильный охватить водную беспредельность.

После долгих ночных прогулок Лютров спал до тех пор, пока Анисимовна не начинала кормить кур, и тогда пробуждение выглядело потешно. Держа в руках зеленую миску с зерном, она проходила за дом, куда глядело окно комнаты Лютрова, и принималась верещать неожиданно писклявым голосом:

— Иду-иду-иду-нате-нате-нате-нате!..

Курами овладевало помешательство. Они срывались к ней со всех сторон двора, с ходу подлетывали, топчя друг друга, кувыркаясь и падая, суматошно хлопая крыльями... Паника продолжалась несколько мгновений и вдруг обрывалась, и тогда за окном слышалась сосредоточенная барабанная дробь клювов по противню. К этому времени Лютров сидел на кровати с видом провалившегося в преисподнюю, но еще не разобравшегося, где он.

По утрам он бродил над береговыми обрывами, по улицам городка, поднимался по нестираемым каменным лестницам, угадывая на плитах старые сколы и трещины, дважды побывал на кладбище, безуспешно пытаясь отыскать могилу деда, был на Ломке за кладбищем, где уже ничто не напоминало об известковой печи, кроме едва приметных остатков круглой кладки.

Выходя на прогулки ни свет ни заря, Лютров начинал свой путь по дорожкам мальцовского парка, защищенного от ветров с моря плотным рядом кипарисов. Шум моря, проникая сквозь пахучую листву ухоженного парка, звучал в нем, как негромкая музыка.

Вдоль каменной ограды лоснились жирными листьями кусты лавровишни, покачивались тугие ветви благородного лавра, и снова возвышались старые, опутанные сухими жилами плюща кипарисы, защищая теперь уже с севера эти петляющие дорожки в кайме розовых кустов и тонких деревцев японской мушмулы. Одна из дорожек вела к отлогой, с низкими ступенями лестнице на пляж. Спуск начинался стройной колоннадой, за которой сине проглядывало море; до него оставалось несколько шагов, и он шел навстречу его дыханию, к вечно живой воде, рядом с которой ширятся думы, да и тишина в душе — блаженна. Перед колоннами стояли разросшиеся деревья магнолии, иногда ему казалось, что он улавливает тонкий запах цветов, и на память приходила Валерия.

Прошел без малого месяц, и Лютров стал привыкать к ощущению родины, сживаться с ним, как и со старым домом дяди Юры, с курами Анисимовны, с разноголосым шумом и запахами живущего рядом моря.

Он много ездил по берегам, посетил памятные места, считая себя по праву рождения приобщенным к камням Севастополя, к Вечному огню Малахова кургана, к обильно политой кровью Сапун-горе, к братской могиле матросов линкора «Новороссийск»... Это набатное безмолвие далекого и такого недавнего прошлого смиряло и оттесняло прочь личное в нем, обращало душу к иному познанию, и тогда он чувствовал себя ребенком, как у деда на Ломке, где каменные громады рыжих скал возвышались над его мальчишеской головой грозно и величественно.

В конце августа он побывал в картинной галерее Айвазовского в Феодосии. В город приехал утром и, проведя полдня в галерее, решил искупаться перед тем, как ехать обратно. Но выкупаться так и не удалось. Млевшая под солнцем масса людей, несообразно столпившаяся у воды, убивала всякое желание купаться: к воде, казалось, нельзя было пройти, не наступив на

сгрудившихся в тесноте купальщиков. Здесь его, в растерянности стоящего возле раскаленной под солнцем машины, и заметила оказавшаяся в этой толпе Томка, знакомая Извольского. Поистине тесен мир.

Уже подрумяненная, со слегка облупившимся носом, она одинаково весело радовалась встрече и ругала невзгоды феодосийской тесноты, зарекалась во веки веков ездить на юг, «пропади он пропадом», а когда узнала, что Лютров уезжает в Ялту, захлопала в ладоши и попросила довести и ее с двумя подружками, потому как они собрались бежать из Феодосии.

В машине, усевшись рядом с Лютровым, Томка возмущалась:

— И чего я сюда сорвалась? И вообще, чего сюда все несутся, как помешанные? Загорать, и все? Интересное кино — гробить на это отпуск... Мода, что ли? — Она помолчала, оглянулась на своих молчаливых спутниц и негромко добавила: — Лучше бы в городе остаться... К Витьке бы ходила...

Приехали они под вечер, здорово проголодавшись, а потому первое, что им попало на глаза, была вывеска чебуречной.

Предусмотрительно прихватив из машины пожитки, девицы приняли приглашение Лютрова перекусить с невозмутимыми лицами, словно это тоже входило в сервис доставки их персон из Феодосии.

Томка и девицы остались в Ялте. Они быстро подыскали себе жилье и, прощаясь, обещали навестить к нему в городок.

...Дядя Юра перестал пользоваться ялом, рыба не шла. И Лютров приспособился добираться на нем к городскому пляжу. Там он привязывал ял к бую и вплавь добирался до берега.

С утра купающихся было немного, городок отпугивал приезжих туберкулезными лечебницами, но к полудню пляж почти заполнялся путешественниками вдоль берегов на рейсовых теплоходиках.

Лежа на гальке, уже сильно загоревший Лютров разглядывал пляжную толпу, невольно останавливая глаза на тех женщинах, кто хоть чем-нибудь напоминал Валерию. Одна из них, раздевшаяся неподалеку от него, в откровенном купальнике, почти целиком состоящем из сетки в крупную ячею, высокая, в широкополой войлочной шляпе, больших темных очках, казалась заряженной брезгливым превосходством по отношению к окружающим. Но в глаза бросалось ее неумение сидеть, стоять, лежать на топчане, двигаться, словно она умышленно выбирала самые непривлекательные позы, не понимала, что рождена женщиной. Наблюдая за нею, когда она шла к воде, а затем плескалась и выходила на берег с теми следами игры в движениях, что сами собой появляются у купающегося человека, он не мог не любоваться ее тонким, с такой мерой осторожности изваянным телом, в ней все остановилось, не переступив ни на йоту границ девичьей легкости, все обещало полет, танец, крылатый бег, маленькой головке так естественно было гордо запрокидываться, талии послушно изгибаться. Но вот волосы отжаты, ладони смахнули с лица излишки воды и, небрежно, по-мужски растягивая шаги, расчленив на составные части, разрушая лепную собранность фигуры, она шла к своему месту, по пути сплевывая горечь попавшей в рот воды. Подходила, наклонялась, нелепо расставив ноги, затем так же садилась и, еще не обсохнув, принималась за карандаш и помаду, обновляя никому не нужную косметику. И всякое сходство с Валерией оканчивалось. Почему? Он и сам не смог бы объяснить.

...Томка и в самом деле отыскала его. Он услышал ее голос, когда в одиннадцатом часу утра подруливал на веслах к бую. Она сидела на гальке пляжа с давешними девицами и двумя парнями.

— Леша!.. — крикнула она, размахивая веером игральных карт.

Лютров подгрёб к берегу, и когда ял, хрустнув гравием, остановился, лениво вскидывая корму на небольшой волне, к нему подбежала Томка и ухватилась за высокий борт:

— Покатай, а?

Глядя на ее пляжный костюм, Лютров невольно улыбнулся: узкие тугие плавки, в том же стиле бюстгальтер, обжимавший не более трети того, чем она обладала, держались, видимо, из последних сил.

От баркаса несло рыбой, между досками настила в хлюпающей там воде плавали останки рыбешки. Но Томку это не смущало. Щуря глаза от солнца и улыбаясь, она с удовольствием укладывалась на спину на средней банке, переплетая ноги и покачиваясь вместе с баркасом.

Выбравшись из зоны купания, Лютров запустил мотор, и ял аллюром першерона неторопливо миновал зеленый мыс с башенками санатория, скалу, глядевшую в море наклонной стеной с седыми бородами соляных потеков, и хлопотливо затарахтел мимо завалов серого камня с редкими купальщиками на них, любителями уединений.

Они добрались почти до Кастрополя, и на обратном пути Томке захотелось увидеть краба. Лютров втиснул баркас в знакомую с детства заводь за большой скалой, где сильно пахло разогретыми водорослями, и принялся нырять. Перегнувшись через борт, Томка следила за ним. Несколько раз он пробкой вылетал наверх, жадно дышал ей прямо в лицо, держась за податливо-упругий борт баркаса, и опять, развернувшись вверх ногами, вдавливал себя далеко на дно. И, наконец, вытащил из каменных щелей большого, обросшего мелкими ракушками, краба. Брошенный в баркас, он резво скрылся между шпангоутами и принялся пускать пузыри.

Пока Томка забавлялась с крабом, подсовывая щепку в его клешни, Лютров лежал на носу яла и с каким-то тайным пониманием моря чувствовал, как время от времени баркас властно вздымала долгая, во весь берег, мутно-зеленая ползущая толща воды, вся в пляшущей чешуе маленьких волн. Тайное понимание это, невыразимое, сплеталось из мыслей о вечности моря, его мощи и глубине и еще из того чувства постижения стихии, которое приходит и живет в человеке от колыбели...

Пляж поредел, жара и голод прогнали купальщиков.

— А меня, кажется, укачало! — кокетливо пропела Томка, покидая баркас с помощью Лютрова, наваливаясь на него грудью.

Ее подружки уже оделись и стояли с двумя парнями в ожидании, пока соберется Томка.

— Спасибо, Леша, — сказала она, одергивая сарафан на крутых боках. — Отлично покаталась...

— Что за ребята? — спросил Лютров. Томка пожала плечами.

— На катере подсели. Говорят, студенты, звездочеты какие-то... Врут, наверно. А ты один здесь?.. А развлекаешься где? На сегодня какие планы?.. — Растянувшаяся в улыбке верхняя губа приоткрыла выступающий зуб.

— Если у тебя свободный вечер, приходи в «Массандру», это здешнее кафе, — сказал Лютров.

— Заметано, — согласилась она.

Во второй половине дня потянула холодная низовка, и они с дядей Юрой отправились на рыбалку. За два часа им удалось наловить с полведра ставриды.

К вечеру Лютров переоделся в светлый костюм и направился в кафе.

Он успел прослушать весь набор шипящей пианолы, сидя за столиком у перил, пока услышал за спиной:

— А вот и я!

На Томке было открытое платье в больших фиолетовых пионах по красному полю.

— Заждался?.. Я со студентами в кино была. А девчонки мои в Ялту махнули.

Она игриво огляделась, закурила и плотоядно затаилась.

— Что будем робить?

— Есть, пить, слушать «Тишину».

— Здесь водкой торгуют?

— Без ограничений.

— Славненько. У меня желудок — расист, не признает цветные напитки.

— Она обнажила нахально торчащий зуб.

«Зато все остальное лишено предрассудков», — усмехнулся про себя Лютров.

Пока Томка пересказывала фильм под названием «Полуночные влюбленные», он разглядывал круглое, еще свежее, но уже нагулявшее трещинки у глаз лицо девушки — первые приметы уходящей молодости...

«Что мешает этой породистой бабе обзавестись мужем, семьей, кормить тройню?.. Таскается черт знает где и с кем...» — невесело думал он, вспомнив покалеченного Витюльку.

Кафе быстро заполнилось, люди шли из кинотеатра. ...Когда графин опустел, движения сильных рук Томки стали размашистее, она излишне энергично поворачивалась, вглядываясь во всякого проходящего, уродливый зуб торчал белой кукурузинкой.

— А теперь, я полагаю, нох айн маль? — сказала она, постучав ногтем по графину.

— Смотри... Тебе не к лицу лишнее, ты дурнеешь.

— Но?.. Это аргумент, как говорил один замминистра... Леша, а я тебе нравлюсь?..

— Пойдем-ка гулять, — сказал он, чувствуя, что от нее понесло пьяным откровением.

Она встала слишком резко и опрокинула пластиковый стул.

— Ой... Держи меня, а то рухну на этих уродских шпильках... А тут еще лестница?.. Крепче, Леша... Запросто могу пройтись не по каждой ступеньке... на чем попало...

Выбравшись на улицу, она тяжело повисла у него на локте и старалась шагать в ногу, то и дело сбиваясь.

— Сколько тебе лет, Леша?

— Много. Сорок.

— Врешь?.. Витьке меньше, а он старше тебя выглядит...

Она шумно цепляла каблуками гравий дорожек, спотыкалась и нескончаемо ругала шпильки.

Они прошли кипарисовую аллею с фонарем посередине, повернули в парк, начинавшийся старинными пропилеями, прошли до спуска на пляж, немного постояли у колонн видовой площадки, и когда Лютров сказал, что пора возвращаться, Томка вдруг надумала искупаться.

— А, Леш?.. Только окунуться? Меня всегда тянуло поплавать ночью, да одной боязно. Пойдем, а?.. Ну уважь?

Они спустились по длинной, перемежающейся широкими помостами лестнице и прошли под скалу, к дальнему краю пляжа. Их шумные шаги по гравию казались Лютрову воровскими, как и сама ночная прогулка. Томка разделась быстро, будто заранее готовилась.

— Я уже. Ой, тут глубоко?.. Боже, как хорошо!.. Вода черная, жуткая!.. А те-еплая!.. Иди скорей...

Она плескалась, стоя по колени в воде, и Лютров скорее угадывал, чем различал ее обнаженность.

«Пьяная Юнона», — подумал Лютров, испытывая странное чувство, будто он был в ответе за доверившуюся ему наготу — оттого, может быть, что обезоруженная стыдливостью взывала к нему сама по себе, скверно оберегаемая ее обладательницей.

— Ничего, что на мне пусто?.. Не пугайся, я не очень безобразная... А то где сушиться?.. Ой, здорово! Свободно, легко... Идем дальше, дай руку.

Купанье ли тому было причиной или его невнимание к ее откровенному флирту, на обратном пути через парк и дальше, к автобусной станции, голос Томки зазвучал неожиданно серьезно, сухо, срывался на грубые нотки. Шлепая по асфальту босиком — шпильки несла в руках, — она говорила:

— Витька, наверно, обиделся, что я уехала... Но ждать, пока его выпишут, так и лето пройдет... Я ему сказала, что хочу уехать, думала, попросит остаться, а он — «валяй»... Нужна я ему!

— Напрасно. По-моему, он к тебе хорошо относится.

— Ты тоже к нему... хорошо относишься.

Лютрову показалось, что Томка ухмыльнулась. Проводив ее на автобус, он медленно стал спускаться к дому дяди Юры. Где-то играла музыка, со стороны предгорий то вырывался, то глохнул укрываемый поворотами звук автомобильного двигателя.

Дойдя до изогнутого дерева, Лютров долго и бездумно слушал, плескавшееся в темноте море уже знакомым ему своим сегодняшним плеском...

«А не пора ли уезжать?» — вдруг подумалось ему. Он так и не ответил себе, но чувствовал, что теперь уже недолго пробудет здесь. Может быть, всего несколько дней.

...Проснулся Лютров от громкого женского голоса за стеной. Преодолевая глухоту Анисимовны, незнакомая женщина невольно заставляла слушать себя.

— Я к тебе... К тебе, говорю, пришла!..

— Вижу, ко мне. Чего задвохнулась? Бежала от кого?..

— Бегаю, Анисимовна. Ох, бегаю... Как тот спутник... У тебя курочки продажной нема?

— Заболел, что ль, кто?

— Хуже.

— Чего?

— Хуже, говорю! Домой вертаться боюсь. Вот те честное слово!

— Совсем ошалела баба... Говори толком, а то мелешь языком, как пьяная Василиса Семеновна...

— Счас расскажу, мне все равно где-нигде часок погулять надо. Может, им полегчает.

— Тьфу, анафема... Кому полегчает? Не пойму я тебя.

— Я и сама ничего не пойму... Заходит у дом человек — костюм на ем дорогой, сорочка у полоску, галстук. Чистый антиллигент, только хромой малость, на палочку приваливается... «Издеся, говорит, мичман Засольев

проживает?» — «Издесь, говорю. Только он уже забыл, когда в мичманах ходил». — «Мне бы его поглядеть, если можно». Ну, форменно, побегла я к Роману-шоферу, мой у него гоношился. «Иди, говорю, человек дожидается». Хотела сама вслед пойтить, да тут Романова баба чегой-то прилепилась, ну и забалакалась... Вертаюсь у дом — батюшки! Аж в грудях занедужило! Сидит тот приезжий за столом и плачет!.. Ить как плачет, Анисимовна! Сроду не видала, чтоб мужики так-то плакали. Сидят в обнимку, молчат, и мой тожить отсырел весь... Увидал меня: сходи, мол, бутылку приволоки да закуски там. «Флотский друг, говорит, сыскался, мы с им в Севастополе воевали, с Херсонесу с-под немцев уходили». С перепугу не помню, как и собралась... Не одну, а две бутылки взяла — тоже, видать, ошалела. Вертаюсь в дом, а входить боюсь! Бою-уусь, Анисимовна! Глянула в окно, а мужик этот все плачет. Господи, думаю, да что же это? Хожу по слободке, ноги дрожать, а у дом идти ну никак! Пойду, думаю, до Анисимовны спущусь, возьму еще курочку да пережду...

— Пойдем во двор. Да не ори ты, Алексея разбудишь. Они вышли во двор, и оттуда долго еще доносился испуганный голос незнакомой женщины.

И снова, как у памятников прошлого, в услышанном за стеной, Лютров почувствовал всесилие человеческих чувств, рожденных не любовной истомой, а суровой праведностью пережитого в боях за Родину.

...До обеда Лютров побывал в домике Чехова, в Никитском ботаническом саду, неподалеку от входа в который в деревне Никита находились остатки каменной церкви, где когда-то крестилась его мать.

Он бродил по городу до семи часов вечера, а когда устал от хождения, решил скоротать время в ресторане на набережной.

На эстраде пела низкорослая женщина в окружении молодых с трубами и саксофонами. В проходе между столиками, сгрудившись, танцевали посетители. Напротив столика Лютрова долго топтался типичный ресторанный юноша в вельветовом пиджаке табачного цвета, прижимавший к себе толстушку в розовой распашонке. У парня был выпуклый зад и значительное лицо. У толстушки все было значительно.

Их надолго сменила другая пара. Теперь спиной к Лютрову с грациозностью жирафы двигалась очень высокая девушка в короткой юбке, и столько нагого женского являли одни только ноги, что совестно было смотреть.

Рискованный наряд девушки не остался незамеченным. За соседним столиком, как и столик Лютрова, придвинутым к раскрытому окну, трое мужчин заговорили «о временах и нравах».

...У мола стояло норвежское судно. Между белым высоким бортом и берегом колыхалась мутно-зеленая вода. В окно, возле которого сидел Лютров, порывами врывалось свежее дыхание «леванта», все сильнее раскачивающего море.

Все это — и микрофонный голос певицы, и ветер с моря, и белое норвежское судно, и обманчивое ощущение легкости — отделяло происшедшее с ним весной, в маленьком городке, словно не он полюбил девушку, а кто-то другой, чьей беде так просто помочь.

— Там, там!.. Ит-тарара-там-там! — хрипло пела крохотная женщина, поблескивая искрящимися нитями медных волос. — В нашем доме паасилился удивительный сосед! Там, там! Ит-тарара-тамм-там!..

К столику присели двое мужчин, громко говорящих по-английски, всем своим видом показывая, что они наконец как раз там, где им следовало быть с

точки зрения цивилизованных европейцев, путешествующих по России.

«Англия, империя, Киплинг, — отчего-то зло подумал Лютров. — Сидеть вам в париках на шерсти и в ближайшие сто лет не рыпаться... Правь, Британия, самой Британией... Если получится».

Веселая, разрушительная злоба не покидала его. Казалось, еще немного, и с ее помощью он отыщет кого-то, кто вместе с ним посмеется над этими дурацкими песнями, ночными элегиями, полнотелыми наядами...

Кончилась музыка, ушла маленькая певица. Музыканты сливали скопившуюся в трубах влагу, бережно укладывали инструменты, собираясь отдохнуть.

Проход в середине зала опустел.

На набережной загорелись фонари, засветился огнями порт. Ветер становился свежее.

— Здравствуйте, Алексей Сергеевич!

Он не ослышался. На него с улыбкой смотрела молодая женщина, полнеющая, с оголенными до плеч руками, покрытыми ровным загаром, с крепенькими ладными ногами того же цвета — буковой древесины. Платье на ней выглядело сшитым из ткани для матросских тельняшек, и, пестрое, неожиданное для глаз, оно мешало ему понять, знакомо или незнакомо ему лицо женщины, разобраться в чертах его.

— Я — Люба Мусиченкова... Не узнаете?

— Люба? Люба...

— Вы ко мне с Вячеславом Ильичем приезжали, в общежитие.

Невероятно. Рядом стояла девушка Жоры Димова.

— Где вас узнать? Вы как новенькая. Садитесь и рассказывайте, как это вам удалось...

Она и отдаленно не напоминала ту, что он видел, — придавленную несчастьем, большую девушку. Светлые волосы, взбитые искрящимся облаком, челка, живой взгляд синих, отглянцованных влагой глаз... Нет, узнавать было нечего.

До слез смущенная неожиданностью встречи, она сидела перед ним в том возбужденном состоянии, когда человек не очень понимает обращенные к нему слова.

— Увидела вас, халат сняла, а отойти не могу, попросить за себя некого... Я ведь здесь работаю, в буфете...

Лютров удивленно приподнял брови.

— Помните, Вячеслав Ильич отправил меня в санаторий?.. Вот. Я быстро поправилась, и врач посоветовал пожить на юге... Вот я и прижилась.

— Обратного не хочется?

— Правду сказать, нет.

— И то верно. Чего там — суета... Чернорай пишет?

— Да. Все беспокоится, не нужно ли чего. Спрашивает, когда в город собираюсь... А я вот увидела вас, так испугалась даже.

— Меня?

— Нет, что вы? — Она улыбнулась. — Просто от вашей наружности, что ли, все- так припомнилось... Вообразила, как вернусь, не по себе стало.

— Не хочется, ну и не возвращайтесь.

— Не хочу, Алексей Сергеевич, — она уткнулась кулаками в глаза и минуту сидела, сжав плечи, борясь со слезами.

Это были легкие слезы, и приходят они рядом с человеком, который

может понять их.

— Здесь легче дышится, люди все больше приезжие, веселые. Пригрелась я тут.

Комкая платок, она глядела на руки, опустив голову. И только теперь Лютров разглядел нити седых волос у нее на висках.

— Может, это нехорошо...

— Что нехорошо?

— Что я не хочу уезжать.

— Вот те раз! Что ж тут нехорошего? Живите на доброе здоровье.

Скоро она совсем успокоилась, стала спрашивать о погоде на севере, о делах на летной базе.

— Извините, зовут меня. Передавайте привет Вячеславу Ильичу. Я его приглашала, говорит, работы много.

— А вы понастойчивей, выберется.

— Ну, пойду. До свиданья.

— Счастливо вам. — Лютров пожал протянутую руку.

Снова собрались музыканты, вернулась маленькая певица, потрогала микрофон, чуть опустила его и, довольная собой, оглядела публику. Пианист тронул клавиши, саксофонист извлек гнусавый звук, напоминающий рев голодного бора. Когда молодцы в белых рубашках грянули первый танец, Лютров вышел на набережную.

Там, где кончалась защищенная молом бухта, к опорной стене прорывались и глухо ухали накатывающие волны. Взрываясь от ударов о гранит, они взлетали облаком брызг, от которых толпа весело шарахалась, как от клетки с сердитым львом: хоть и безопасно, а все-таки жутко. Иногда взметнувшейся воде удавалось осыпаться на головы людей, и тогда женщины принимались дружно визжать, а мужчины похохатывать. Опавшая на асфальт вода торопливо стекала к морю, ручейки ее, как отступающие солдаты, возвращались к живой мощи накатов, чтобы снова броситься в атаку.

— Как чудесно, ма! И радуга, посмотри!.. Радуга вокруг фонарей!..

Так восклицала стоящая рядом с Лютровым девочка. Лютрову и самому стало разом и весело, и немного грустно, что это не ему кричала девочка, восторгавшаяся радугой, и не к его плечу прижалась вон та девушка, недвижно стоявшая с парнем чуть в стороне от всех.

«Раньше ты, кажется, никому не завидовал», — сказал себе Лютров и опять вспомнил о Валерии.

Он дошел до сквера в конце набережной и присел на скамью, освещенную сильным фонарем. Планки скамьи были сплошь изрезаны надписями, инициалами, свежими и закрашенными.

«Идиот ты больше никто кому поверил была Рая», — прочитал он нацарапанное под рукой, закинутой на спинку, и так и этак расставляя знаки препинания.

Скамья была длинной. На другом ее конце, вполборота к соседке, опираясь обеими руками на старомодный зонтик, сидел худощавый седой мужчина.

— ...Мы уверовали в себя настолько, — звучал хорошо поставленный баритон мужчины, — что порой впадаем в ложное, противоречивое положение, выхолащивая из творчества все, достойное осмеяния, живущее подле нас и подлежащее разрушению через осмысление и обличение его природы... Примерно таково нехитрое построение мыслей героя нашей пьесы, содержание

его протеста...

«И здесь актеры. Изопряются, лицедеи...» — лениво подумалось Лютрову.

— Он требует от отца действий, — продолжал мужчина, — он верит в силу его голоса, а тот пытается доказать ему, что если и отличается от простых смертных, то лишь тем, что очень точно по-русски называется способностями. Я способен вообще, а не во всякую минуту и по всякому поводу. Гений проявляет себя при наивысшем режиме работы мозга, в минуты прозрения, высшего увлечения...

В голосе седого человека улавливалось кокетство самонадеянного ментора, демонстрирующего некоторую усталость от невозможности не просвещать ближних.

Женщина внимала ему, как оракулу, не забыв спрятать под скамью толстые икры ног. Лютрову была хорошо видна резко очерченная профильная линия ее щеки, жесткая и неженственная. Глядя в темноту перед собой, женщина постигающе кивала, давая понять пророку свое прозрение. Он вещал, а она осторожно, со слабой надеждой на успех, тянула свою нить, пользуясь обветшалым арсеналом многолетнего опыта, который приходит слишком поздно и который был вне эрудиции просвещенного собеседника. Опыт этот приходит в ту катастрофическую пору, когда от молодости ничего не остается, когда все спущено и нечего предложить, кроме «духовного родства», ибо остальное растрчено, может быть, бессмысленно, на пустяки... У Лютрова родилось горькое сравнение с его собственной вспышкой привязанности к девушке из Перекатов.

...— Во втором действии вы с первых же реплик акцентируете перевоплощение героини, — баритон обрел напевную бархатистость. — От вас должна исходить новизна, вы уже не та, что в первом акте. Тут нужно работать над деталями, искать... Все ваше существо как бы говорит...

Пока мужчина шелкала пальцами, подыскивая слова, Лютров сказал:

— Если ты знаешь, на что способна любовь!..

Женщина резко повернулась, и Лютров увидел человека, у которого отнимают надежду.

— Разве они дадут поговорить! — вырвалось у нее.

— Зачем же так? — Мужчина был демократом. — Товарищ пытался продолжить мою мысль, насколько я понял?.. Впрочем, позвольте представиться: Альберт Андреевич Сысоев, худрук самодеятельной драматической студии. А это — наша способная актриса, Надежда Федоровна...

Он не закончил. Из кустов позади скамьи вылез некто в матросском тельнике и возопил:

— На палубу вышел, а палубы нет, не иначе в глазах поммутила-ась!.. Артистов как ветром сдуло.

— Выпьем, дурух? — человек извлек из кармана початую бутылку. — Хорошо на свете жить, а?

— Тебе — хорошо.

— А что? Выпил!.. Счас и тебе... Стоп. Стакана нет... Счас!..

Человек исчез и больше не появлялся. Ветер расхотился всерьез. Вместе с пылью под светом фонарей кувыркались бумажки, окурки, сухие листья, выдуваемые из-под стриженных кустарников. Сквер опустел.

Лютров вышел на набережную. Здесь порывы ветра носились с пьяной удалью, зло срывая белые гребни волн, наваливаясь на деревья, свертываясь над бухтой в адову пляску смерчей.

«Волга» сиротливо стояла у затемненного агентства Аэрофлота. Лютров запустил мотор и тронулся домой.

За Ореандой в свете фар он увидел женщину с поднятой рукой.

Лютров притормозил.

— Вы не в Алупку?

Молодая, со следами неизменного карандаша в углах глаз, улыбка легкого смущения.

Когда женщина склонилась к окошку, Лютров узнал одну из подружек Томки.

— Это вы? — обрадовалась она.

— Садитесь.

Лютров молча посмотрел на нее.

— Вы теперь в Алупке живете?

— Да, перебрались... — Она поправляла волосы на затылке, и за локтем не было видно ее лица.

— Все трое?

— А Томка уехала. Разве не знаете? Махнула в Энск, даже отпуска не отгуляла. У нее там парень, летчик, что ли...

Из приемника изливался романс Рахманинова. «Не пой, красавица, при мне, — пел-просил томительно ласковый женский голос, — ты песен Грузии печальной...»

Пассажирка больше не заговаривала. Грустный романс сменила скрипка. Сен-Санс. «Интродукция и рондо каприччиозо». Рондо начиналось в ритме биения старческого сердца, а вступившая скрипка полоснула по чему-то обнаженному в душе...

Лютров закатил машину во двор дома дяди Юры, пошел к берегу, у Нарышкинского камня ревело море. Лютров спустился к воде и долго стоял рядом с клокочущими, бело оскаленными накатами волн у Нарышкинского камня. А когда от осыпавших его брызг намочила рубашка, повернулся и пошагал к дому.

Он вошел к себе в комнату и, не зажигая огня, постоял в темноте.

— Нужно возвращаться, — вслух сказал он и принялся расшнуровывать туфли, тоже намочшие.

Утром он простился со стариками и тронулся петлять по старой мальцовской дороге, поднимаясь к Севастопольскому шоссе.

Но прежде чем горы скрыли от него городок, он остановил машину, посмотрел с высоты предгорий на залитое утренним солнцем море, на дома, картинно застывшие в зелени, как на слайдах, и не мог пообещать себе, что навестит еще когда-нибудь этот дорогой ему, изменившийся и все-таки неизменный берег.

В сентябре Извольский вышел из госпиталя и появился на летной базе. Первым заметил его у дверей комнаты отдыха вездесущий Костя Карауш.

— Братцы! Кто пришел!..

Побледневший и похудевший Витюлька переступал с ноги на ногу и улыбался так, будто своим долгим отсутствием поставил всех в неудобное положение.

Забыв о бильярде, шахматах, побросав журналы, все ринулись к нему, поднялся шум, посыпались вопросы — как настроение, когда выписали?..

Если человек, занятый общим с тобой делом, выходит непобежденным из нелегких обстоятельств и все пережитые опасения за его жизнь остаются позади, один вид его — живого и здорового — как добрая примета везения, общего для всех. Никто не в силах был остаться безучастным к явлению Витюльки. Каждый, как мог, искал выхода этому чувству праздника: подтрунивали над худобой Витюльки, которую, как водится, связывали с долгим пребыванием в обществе хорошеньких медсестер; экспромтом приписывали ему слова, якобы сказанные в ответ на советы Долотова покинуть машину («куда торопиться, до земли шестьдесят метров») и дружно смеялись над недоуменно моргающим Витюлькой... Иной, не слишком гордый на слова, а потому молчаливый; довольствующийся вопросами друзей в этой суматохе, вдруг ни с того ни с сего обхватывал Извольского вокруг пояса, приподнимал и, не слушая увещаний, мольбы Витюльки пощадить, как игрушечного, бросал на диван...

— Братцы! Позвонки!.. У меня же кости склеенные! Я ж рассыпаться могу!..

— А тебе все приклеили?

— Лишнего присобачили — во! — отвечал Витюлька и зверски улыбался новыми зубами.

Глядя на происходящее, можно было подумать, что для вот такого всплеска неумной радости не хватало именно Витюльки... Да, наверно, так оно и было; душевное расположение к этому общительному парню с физиономией пройдохи-голубятника не могло не появиться теперь, когда беда миновала, все обошлось и Витюлька по-прежнему будет рядом.

И только Долотов наблюдал происходящее со стороны. Он стоял спиной к залитому утренним солнцем окну на летное поле и нервно потирал пальцами плоские щеки, явно стараясь и не умея стереть с лица счастливую улыбку. Странно улыбался этот человек — словно стыдился обнаруживать на людях непозволительную для себя слабость. В такие минуты он и в самом деле выглядел беспомощным, как и всякий человек, врасплох захваченный чувством, без которого привык обходиться, как без лишних слов.

По привычке всех уборщиц оценивать обстановку с точки зрения чистоты и порядка, зашедшая в комнату Глафира Пантелеевна остановилась в дверях, недовольная происходящим.

— Эт что? Борьбу учинили, а?.. Видано ли дело?.. Тряпкой вот огрею кого, угомонитесь небось?

— Правильно, Глафира Пантелеевна. Начинайте вон с того, он зачинщик.

— Костя Карауш указал на Извольского.

Вглядевшись, уборщица всплеснула руками.

— Витюша, милай!.. Господи, здоров?

— Здравствуйте, Глафира Пантелеевна.

— Здравствуй, здравствуй!

Извольский обнял ее и совсем растрогал старуху. Забыв, зачем приходила, она махнула рукой и вышла, прижимая к глазам конец головного платка.

Власть помучив Извольского, ребята, наконец, оставили его.

— Иди сюда, — потянул его за локоть Козлевич, — эти охломоны разве а-дадут поговорить с человеком.

Козлевич считал, что если с человеком случилось несчастье, следует не

зубоскалить и швырять его на диван, а с чувством и толком расспросить обо всем, поохать, посострадать.

Козлевич был из тех немногих, кто считает, что именно несчастье дает право посторонним выказать свое расположение к человеку, дружески расспросить о пережитом, что несчастье и есть причина, обязывающая принять участие в чьей-то судьбе. Всегда при встрече с Извольским ограничивающийся рукопожатием и коротким приветствием, да и вообще относящийся одинаково ровно ко всем, кроме Кости Карауша, которого «заводил» при всяком удобном случае, увидев Витюльку, Козлевич затащил его в уголок и принялся обстоятельно расспрашивать с большим пониманием пережитого Извольским.

— Как тебе повезло? Не говори!.. Еще бы чуть... А мама-то что перенесла! Я понимаю... А как в госпитале? Кто лечил? О, Малхасян! Бог... Осложнений нет?.. Зубы?.. Да, брат, так просто ничего не проходит. Нужно в санаторий, непременно!..

Козлевич советовал, спрашивал, покачивал головой и все вздыхал.

Из многочисленной родни Козлевича, не считая собственных шестерых детей, всегда кто-нибудь болел, нуждался в лекарствах, в советах медицинских светил, в санаторных путевках. Если его не оказывалось на работе, то причиной тому было одно и то же — кто-то из родичей не мог обойтись без его помощи, участия. А у близких были родственники, у родственников знакомые, так что Козлевичу непросто было вспомнить, какая из сестер жены звонила ему вчера, просила порадеть, достать путевку в санаторий, билет на елку во Дворец культуры, дать займы денег, подвезти в аэропорт отбывающую за границу подругу или доставить из больницы племянника после операции.

— Никуда не а-денешься, — вздыхал Козлевич. Эти хлопоты никак не сказывались на его в меру округлившейся фигуре, на трясучих полных щечках, но выражение озабоченности так прочно пристало к его лицу, что, обращаясь к Косте с предложением «что-нибудь травануть», он делал это так, будто жаловался на несварение желудка у младшего сына.

Витюлька даже поскуцнел от столь обстоятельного сочувствия к собственной персоне, но освободился от Козлевича лишь тогда, когда тот записал в толстую и чрезвычайно потрепанную карманную записную книжку фамилию, имя и отчество дантиста, который восстанавливал Витюльке челюсти.

Наконец Извольский обессилено повалился в кресло рядом с Лютровым.

— Леш, когда «девятка» начнет летать?

— Что-нибудь в конце октября.

— Значит, я успею и отдохнуть, и пройти медицинское освидетельствование?

— Все успеешь.

— Расчудесно. Ну, а ты как, как отдохнул?.. Томка говорила, встречала тебя?

— Да, я ее с подружками из Феодосии в Ялту вез.

— Ну и как?

— Что?

— Подружки?

— Да никак.

— Вот Томка и говорит, ты там у какого-то деда, как сыч, жил. Это меня не было — я б тебя раскочегарил!..

— Ничего, Витюль... Мы еще с тобой съездим на море. После «девятки»...

Минул сентябрь, октябрь... Выйдя как-то из дому, Лютров заметил, что идет легкий пушистый снег, уже укрывший невысоко скамейки на сквере во дворе. Начинаясь зима.

Лютров любил льдистую свежесть этой поры, когда земля уже рассталась с летней зеленью, вспыхнула и отцвела недолгим кленовым пожаром и словно бы смолкла и посуровела в ожидании снежного нашествия. В эти дни особенно хорошо дышится на просторах лугов, в затихших лесах, на берегу остуженной утренниками речки...

Иногда в выходные дни он уезжал с Шуриком — сыном соседки Тамары Кирилловны — на рыбалку, прихватив заодно и собаку мальчика, дворнягу грязно-соломенного цвета со смешной, наполовину угольно-черной мордой, словно пес сунул ее походя в чернила и сам не знает об этом. В благодарность за участие к сыну Тамара Кирилловна принялась досматривать за его хозяйством — мыла квартиру, сдавала в стирку белье, гладила костюмы и даже шкуру гималайского медведя умудрилась отдать в химчистку. Возвращаясь домой, он порой чувствовал себя неловко от сияющего порядка в квартире, от заполненного холодильника, где стараниями Тамары Кирилловны было все, что он любил: сметана, сыр, томатный сок, маслины; ему казалось, что те деньги, которые он едва уговорил ее брать за услуги, были недостаточной мздой за хлопоты. Но вскоре эта неловкость исчезла сама собой. Тамара Кирилловна умела придать своим заботам ту простоту и естественность, которые легко даются работающим пожилым женщинам.

Приближалось время полетов на «девятке». Машину выкатили из ангара и поставили у отбойного щита.

Знакомясь с описаниями новых самолетных систем, Лютров не мог не оценить великолепной работы конструкторов, негромкого, но бесценного блеска инженерных решений. Но авиация — прикладная наука, в ней ничто не окончательно без критики опыта. Высший суд — летные экзамены, на земле же самые впечатляющие идеи остаются предположениями, с доказательной силой той или иной степени.

С начала ноября «девяткой» занимались по целым дням. Работали механики, электроники, радиотехники — налаживали, настраивали, проверяли и перепроверяли аппаратуру, управление, двигатели. Десятки самописцев готовились следить за работой едва ли не всех самолетных систем.

Ведущим инженером назначили Иосафа Углина. Накануне первого вылета он отыскал Лютрова в комнате методсовета, дал ему расписаться в полетном листе, закурил неизменную «Шипку», дождался, пока в комнате никого не осталось, и проговорил негромко, разглядывая царапину на грязном пальце:

— Я настоял на оплате всей программы по высшей категории сложности.

Лютров понимал, что последние слова были сказаны им не потому, что имели важное значение. Озабоченная физиономия Углина выдавала в нем человека, который не мог позволить себе упустить хоть что-то в подготовке к полету. Перехватив улыбку Лютрова, ведущий смутился, точно сморозил несусветное, стал прощаться, но у дверей обернулся.

— Вы смотрели, как установлено кресло?

— Да, все в порядке, кресло в норме.

...Вечером у подъезда дома Лютрова встретил сынишка Тамары

Кирилловны и напомнил о важном футбольном матче. Понимая, что Шурику охота проследить за чрезвычайным событием на экране большого телевизора, Лютров пригласил его к себе.

Сидя рядом с притихшим мальчиком, Лютров вспоминал всю непростую биографию «С-14», чувствуя в душе смутную потребность бросить взгляд со стороны, поискать в поведении машины нечто, не замеченное другими.

Он перебирал в памяти все полеты, но так и не мог найти ничего сверх того, что было известно всем.

Вначале подвели двигатели. Это случилось на первой предсерийной машине.

Долотов сделал четвертый разворот, вышел на прямую и пошел на посадку. До полосы оставалось километра два-три, и тут оба двигателя как отрезало. Покинуть машину не позволяла высота, Долотову оставалось как можно аккуратнее уже не посадить, а уронить машину, быстро теряющую скорость. Под ним оказалось небольшое колхозное поле, разрезанное извилистой полосой реки. Казалось, машина шла с расчетом угодить в реку.

— И что будем делать, командир? — настороженное молчание нарушил Костя Карауш.

— Разбиваться будем, Костик, — ответил Долотов, из последних сил удерживая готовую свалиться на крыло машину.

— Вас понял, — отозвался Карауш то ли по привычке, то ли и тут пытаюсь сострить, что-де в таком исходе ничего оригинального нет.

Но Долотов ничего другого и не ожидал. Без тяги двигателей на такой высоте трудно ожидать иных последствий от встречи с землей. Лишенный полетной скорости, самолет уже не самолет, а сто тонн металла, по выражению Карауша, «бочка с керосином», которую бросили с высоты трехсот метров.

Но произошло то, что случается «раз в сто лет». При ударе большая часть фюзеляжа с оттянутыми назад стреловидными крыльями оказалась над скатом речного обрыва, а долгий нос с кабинами экипажа — выше кромки поля. Самолет разломился. Более легкая носовая часть мотнулась по полю, кружась и кувыркаясь, как городошная бита, и, наконец, замерла в двухстах метрах от места падения.

Первым, протирая запорошенные землей глаза и отплевываясь, выбрался Костя Карауш. Люк его кабины, ближней к месту излома, отвалился. Еще не разобрав, куда подевалась вторая половина самолета, Костя по команде Долотова принялся вскрывать люк кабины Козлевича, ушибленного сорванными с мест блоками аппаратуры...

Едва разобрались с двигателями, как подоспела авария еще одного предсерийного самолета, собранного ко времени окончания первого этапа испытаний «семерки», уже после того, как Долотов прошелся на ней «за звуком».

Разгоняемая в отлогом пике, машина словно наткнулась на препятствие. Аварийной комиссии нужно было хорошо поработать, прежде чем стало ясно, что причиной разрушения самолета послужила маховая тряска руля. Каверзность известного явления в данном случае состояла в том, что при нарастании скорости в сочетании с потерей высоты резко меняется характер обтекания: при общей дозвуковой скорости на отдельных участках самолета образуются местные потоки сверхзвуковой. Возникнув на одной стороне подвижной плоскости руля, так называемые скачки уплотнения с большой силой перемещают его в противоположную сторону, а оттуда вновь в исходное

положение. Конструкция самолета типа «С-14» не в состоянии противостоять возникающим в этих условиях различным и очень сложным перегрузкам, и машина разрушается. Разрушающему действию маховой тряски противостоят специальные устройства — демпферы сухого трения. Но экипажу предписывалось включать их в работу перед сверхзвуковым режимом полета. Составители задания лишь задним числом вспомнили, что с потерей высоты и увеличением плотности воздуха на самолете возникнут потоки сверхзвуковой. Добро хоть экипажу удалось катапультироваться, расплатой за недомыслие был только потерянный самолет.

Самую дорогую цену заплатил экипаж «семерки».

«С-14»... Броский силуэт машины обошел все авиационные журналы мира, но самолет еще не рожден.

И сейчас он вытянулся тонким веретенообразным фюзеляжем рядом с другими машинами из той же блестящей плоти, так же прочно стоит на черных тележках шасси, стремительный, как наконечник половецкой стрелы... Ни одна машина Старика не была так впечатляюще красива. И ни одна не внушала так мало доверия. Как и всякая красавица.

Внешне «девятка» — копия «семерки». И стоит она там же. К ней тянутся кабели наземного питания, за вскрытыми лючками проглядывает обнаженная путаница стыковых и переплетений контрольных узлов основных систем аппарата. Кресло левого пилота подогнано механиками — «спасенцами», как их называют, под массивную фигуру Алексея Лютрова. Ему первому станет ясно, вырвется ли машина из тяжелой заперуды неудач или... Чего в нем больше, страха или уверенности? Для тебя страх — это когда не можешь понять, что происходит с машиной. Летный багаж никогда не бывает слишком велик, в нем может не оказаться нужной подсказки в нужный момент. Но этот страх никогда не мешал твоей голове. И только неизвестность — вот что сковывает тебя до жути, до холода в животе, но ей не под силу помешать тебе работать, оставаться при деле.

Когда начинаешь учиться летать, отрывать от земли тренировочные истребители, делать ученические пассажи в воздухе и приземляться, потя от напряжения и возбуждения, страх придавлен страстью, как хорошо перебинтованная ссадина. Но и в эту пору тебе нужна удача, очень нужна. Нужно научиться прочно сидеть в кабине еще до того, как самолет напомним, что его сделали из металла, не умеющего жалеть, и твоя нежность к нему — чувство безответное. В такие минуты кое-кто вдруг открывает, что в их влечении к небу нет радости... Убедив себя в этом, люди вроде Колчанова принимают отлынивать от полетов, изобретать недуги, пока и в самом деле не заболеют какой-нибудь «фобией», и их в конце концов списывают за непригодностью.

Но если ты один из тех, кто любит летать, тебе ничто не мешает хорошо относиться к делу. Для тебя очень много значат лица людей, которых ты видишь после возвращения на аэродром. Они помогают тебе жить в нерушимом мире с самим собой. Ты понимаешь, что это не всем дано. Ты знаешь многих, кто ломился в училища, терзал инструкторов, «не мыслил жизни» без крыльев, а затем тихо выскальзывал из авиации куда-нибудь в бюро по прокату автомобилей и до конца дней своих считал, что хорошо отделался.

Настоящий летчик чаще всего начинается незаметно. Однажды в кабину, как на уготованное судьбою место, садится ушастый бритоголовый мальчишка, чтобы с великим тщанием день за днем уютить небо, а на выпускных

экзаменах блеснуть божьей искрой. И тогда всем становится ясно, что родился летчик. Так начинался Боровский, Гай-Самари, Долотов, даже Витюлька Извольский, который никогда не будет летать как Долотов, но он летчик, он перестанет быть самим собой, если ему запретить летать. Так начинался и ты, Алексей Лютров. В тебе, как и в них, без особых неудобств уживаются интуиция и расчет, умение управлять собой. Ты, как и они, веришь в безнаказанность своей любви.

Ты не молишься удаче, не носишь на шее ладанки, не держишь в памяти счастливых примет, но у тебя нет необходимости идти на сделку с совестью. И это главное. Человеческая деятельность правомерна, если она в союзе с совестью. Когда веришь, что твое дело — благо для людей, тогда ничто на свете не заменит тебе твоей работы. Союз труда, мысли и совести. Из этого и состоит мужество...

— Дядя Ле-еша?..

— Что случилось?

— Я вам кричу, кричу... Он же не по правилам пеналь назначил? И диктор говорит...

— Все делать по правилам трудно, Шурик... Так не бывает...

— Почему не бывает?

— Так уж, брат! Вырастешь, не забывай об этом. Но есть главные правила, их-то ты и держись...

— А какие?

— Обыкновенные. Для тебя главное — учиться, для меня — работать. Это, брат, очень важно понимать, зачем и для чего живешь на земле...

Костя Карауш запаздывал. Когда он вбежал в раздевалку, на ходу сдергивая пиджак, Лютров, Извольский и Козлевич кончали облачение.

— Привет, разбойнички!

— Чего опаздываешь, позвоню? — сказал Витюлька.

— Понимаешь, врачиха малость не зарубила. «Давление, говорит, повышенное...» — «Торопился, говорю, бежал, на вылет опаздываю». — «А вы, случайно, не употребили вчера?» — «Случайно не употребляю, говорю, только в регламентные дни». — «Значит, пахнет от вас вне регламента?» — «Да это, говорю, бабушка присоветовала больной зуб полоскать». — «Помогает?» — «Нет, говорю, сплошная алхимия». — «Зачем же полоскать?» — «А по-вашему, нужно обижать старушку? Ведь она добрая, как вы...»

— Арап, — усмехнулся Козлевич. — Хватил ведь?

— Ты подносил? Вот и сони в тряпочку, «утренний эхвект»!..

Последний намек Костя бросал Козлевичу, когда бывал очень сердит на него. Некогда, вылетев из Энска, они вместо Москвы попали в Тулу. Свое невнимание Козлевич оправдывал сумятицей в эфире, а значит, и в показаниях курсовых приборов, что случается на восходе солнца.

...Что бы ни делал, к чему бы ни готовился русский человек, его не обвинишь в склонности к церемониям. Обряды чужды его натуре, как оковы. Перебранка Карауша со штурманом говорила о том, что все идет как обычно, привносила в подготовку к вылету приметы повседневности, будничности. Это успокаивало, снимало напряжение последних дней. Укладывая листок с заданием в наколенный планшет, Лютров не думал ни о чем, кроме предстоящего полета. Все, что не годилось брать с собой в воздух, должно

отступить, ступешаться.

К самолету их везла девушка-шофер на своем тщательно обмытом красно-белом «РАФе». На ней была все та же старенькая меховая куртка, вязаная шапочка, а вокруг шеи повязана пестрая оранжево-черно-красная косынка. Подкатив к трапу, она повернулась к ним, молча заглядывая в лица.

— Надюша, ты нас, как обратно зарулим, завези в парашютную, а то далеко тащить, — сказал Витюлька.

— Ой, только зарулите! — вырвалось у нее. Костя прищурил глаза и, нагнувшись, обнял неожиданно податливые плечи девушки.

— Думаешь, заблудимся? Ни в жисть!.. Видишь этого человека? Самый лучший штурман в Советском Союзе!..

— Выходи, не а-трепись, — толкнул его сзади Козлевич.

Девушка улыбалась одними губами. Над серыми глазами напряженно сошлись короткие темные брови.

Застегнув ремни, Лютров качнулся вперед, чтобы проверить, не стесняют ли они свободу движений.

— Костя, проси запуск.

— Понял, командир... Запуск разрешен.

Опробовав работу двигателей, Лютров получил разрешение на выруливание и снял самолет с тормозов.

Длинное тело «девятки» дрогнуло, чуть вскинуло нос, ослабив упор на переднюю ногу, и стало медленно разворачиваться в сторону рулежной полосы.

Провожающих было немного. У отодвинутого трапа стояли механики, среди которых затерялась фигура Иосафа Углина. В отличие от подчиненных, прижавших ладони к ушам, он почему-то придерживал очки.

Едва Лютров остановил самолет на стартовой площадке, как услышал в наушниках голос Кости Карауша:

— Взлет разрешен.

Лютров повернулся к Извольскому:

— Ну, Витюль, поехали?

— Ага.

— Двигатели на взлетный режим.

— Понял, командир... Двигатели на взлетном режиме.

«Девятка» рывком сорвалась со стартовой площадки и, словно в атаку на невидимую цель, с устрашающим ревом понеслась по бетону.

...Первые полеты были несложными. Нужно было психологически сжиться с машиной, прощупать ее, обрести уверенность, прижиться на борту.

— Побольше простых полетов, чтобы сбить предрасположение, — говорил Старик Данилову.

Таким несложным заданием казалась имитация посадки с одним выключенным двигателем. По расчетам специалистов-аэродинамиков, тяги должно было хватить для повторного захода на посадку — обычное требование для самолетов с несколькими двигателями. И как перед посадкой, нужно было припустить закрылки, выпустить шасси, пройти на предпосадочной скорости, а затем набрать высоту для второго захода.

Но чем ближе к земле проходят испытания, пусть самые несложные, тем они опаснее.

Снизившись до двухсот тридцати метров, Лютров выровнял машину

строго по горизонту, выключил один двигатель, включил выпуск шасси, затем — закрылок. В первую минуту машина устойчиво тянула на скорости, близкой к посадочной. Он попробовал взять штурвал на себя. Самолет летел под все большим углом к земле, но не уходил от нее. Где же избыток тяги? Пока он мысленно перепроверял проделанные операции, еще раз проверил остаток топлива, «девятка» стала покачиваться на грани полетного минимума скорости, пластом снижаясь на сосновый бор возле деревушки...

— Запускай второй! — крикнул он Витюльке, всем существом чувствуя близость земли, тесноту... Секунды звенели где-то у висков и вот-вот должны были оборваться. — Шасси! Убирай шасси!..

Так и тянулись руки взять штурвал на себя, но это означало катастрофу: даже малое добавочное сопротивление приподнятых рулей грозило гибелью... Самолет и его крылатая тень на земле упрямо сходились. Им оставалось 200... 150... 100 метров.

Но об этом он узнает потом, из показаний самописцев. Он изо всех сил удерживал теряющую устойчивость «девятку» и, стиснув зубы, ждал, что опередит: земля или запущенный двигатель. В наушниках раздался спокойный голос Козлевича:

— Мы ниже шпиля церкви.

«Сколько это? Метров двадцать?.. Нет, больше, храмы возводились на холмах. Спокойно. Ты ничем не поможешь, нужно ждать».

Машина еще покачивалась с крыла на крыло, но Лютров чувствовал, что второй двигатель начинает подталкивать ее. «Девятка» пошла устойчивее, набирая скорость.

— Убрать закрылки!

— Вас понял!

«Дать еще разогнаться... Так. Теперь можно брать штурвал на себя».

Держась за рога штурвала, Лютров слегка согнул руки в локтях.

— Струя движков ломает деревья, — сказал Карауш, сидевший спиной по полету. — Только бы лесник не догнал...

«Высочили... Черт бы побрал эту имитацию и тех, кто делал расчеты!»

На пути от стоянки к парашютной Извольский долго шел молча рядом с Лютровым и наконец спросил:

— Почему не перевел работающий двигатель на форсаж, а решил запускать второй?

— Перед началом работы форсажных камер, как ты знаешь, двигатель на несколько секунд теряет тягу. Но Извольский знал, что, если бы второй двигатель раскрутился секунд на десять позже, они были бы на земле.

— На несколько секунд больше шансов, Витюль, только и всего, — сказал Лютров, угадав его сомнения.

До Нового года сделали шестнадцать полетов. Они были необходимы для того, чтобы перед главной работой — доводкой автоматики в системе управления — избавиться от побочных случайностей.

За две недели до праздника «девятку» закатали в ангар для установки экспериментальной аппаратуры.

Из транспортного рейса перед Новым годом они с Извольским вернулись затемно. На базе оставались лишь работники аэродромной службы. С полчаса они ждали, пока дежурный диспетчер вызывал автобус, чтобы отвезти их к

пригородному поезду.

За окнами комнаты простиралось пустынное в этот час летное поле, опоясанное долгим ожерельем контурных огней. Пухом кружился легкий снег, неслышно осыпаясь на зачехленные ряды самолетов. Прямо под окнами парадной стаей выстроились три «С-14». На килях просматривались номера: 5, 11, 3... Забывшись, Лютров долго смотрел на цепочку огней, утекающих к самому горизонту, и никак не чувствовал, что приближается Новый год.

Были всякие новогодние вечера — шумные, долгие, до самого утра, дома и в ресторанах, такие, к которым старательно готовились и проводимые экспромтом, были и «никакие», когда погода держала тебя на пути к месту работы... Самые веселые праздники устраивал Сергей, и — нет Сергея, почти год как нет. Нет его славной, опоясанной шрамами веселой физиономии, не слышно плутовского «мон женераль», нет его разношерстных гостей.

А Новый год — вот он, и все идет, как всегда на этой земле, как должно быть. В витринах магазинов, на площадях больших и маленьких городов, в руках детей и взрослых поблескивает так нужная и в эти дни елочная мишура. Искрящее, мерцающее пришествие яркого в домах — как вселение надежды, как обряд укрощения будущего, вызов духов счастья, в которое так верится под Новый год. Ни один праздник не рождает столько улыбок. Мир улыбается, — кажется, что и сама разряженная планета ярче светится.

Уезжая в отпуск, Гай-Самари сказал, что Старик наметил Лютрова ведущим летчиком модернизированного «С-14», его уже клепают на заводе. «Большая механизация крыла, скорость за два маха». Гай явно был рад за него.

Вспомнив об этом сейчас, в тишине комнаты отдыха, он не почувствовал ни волнения, ни радости, с какой когда-то готовился поднимать «С-04». Усталость? Или прав Чернорай, громкая работа идет молодым?..

На бильярде сам с собой играл Извольский. Он яростно бил по шарам, и они металась по столу, обегая лузы.

— Кому не везет, тебе или не тебе?

— Хрен редьки не слаще... Зато в любви — обоим. Слушай, Леш, есть идея — встретить Новый год вдаль от шума городского. Разделяешь?

— Где же?

— На даче моих стариков, в Радищеве?

— Сам придумал?

— Томка. А что? По-моему, мысль, достойная кисти Айвазовского.

— Да там небось холод собачий?

— Не бойсь, климат беру на себя. Ты в принципе решаешь.

— Что же, мы там вдвоем будем кукарекать?

— Зачем вдвоем? Будет куча бывших студентов. И — студенток. Хочешь, пригласи кого... Места хватит.

«В конце концов, не торчать же перед телевизором в новогоднюю ночь? Гай уехал к родителям жены, Костя Карауш гостит в своей Одессе...»

— Идет, Витюль, делай.

Последнее воскресенье старого года Лютров провел в маленькой квартире Тамары Кирилловны. Устанавливал и обряжал елку для Шурика. Как это нередко бывает в отношениях между взрослыми и детьми, Лютров считал, что купленное им елочное богатство очарует мальчишку, а тому вся эта елочная кутерьма представлялась забавой для взрослых. И занимало Шурика лишь участие в праздничных хлопотах на равной ноге с дядей Лешей. А Лютрову хотелось чем-то по-настоящему порадовать мальчишку, и когда елка была

установлена, а Тамара Кирилловна накормила мужчин пахучим борщом, пельменями, напоила чаем и прогнала гулять, чтобы не мешали прибираться, Лютров направился с Шуриком в спортивный магазин.

Вернулись они затемно. На шее сына Тамара Кирилловна увидела висящие на шнурках коньки, а в руках две хоккейные клюшки.

— Ма!.. Гляди — во! И клюшки. Мастерские!..

— Сколько вы на него денег тратите, никаких заработков не хватит.

— Так уж и не хватит. А это вам, — Лютров протянул ей маленькую коробочку. Крохотный пузырек духов на бархатном ложе поглядывал с достоинством драгоценного камня.

— Это какие же?

— Вроде французские... Шурик сказал, вы духи любите.

— Любит, любит! Вот сколько бутылочек в шкафу...

— Это!.. — Тамара Кирилловна разглядела нанесенные карандашом цифры на обратной стороне футляра. — Это столько отвалили?!

Она даже ладони к груди прижала, укрощая испуг.

— Так ведь французские, и, говорят, отменные... Девчата в магазине глядели на них так, что я, грешным делом, подумал, как бы не ограбили.

В девять вечера, зайдя за сыном в квартиру Лютрова, Тамара Кирилловна, не зная, как отблагодарить за подарок, сказала:

— Оставьте ключи, я вам перед праздником блеск наведу. А то от гостей совестно будет.

— Командуйте, коли есть охота возиться в такие дни. Только гости не званы, сам в гостях буду.

...Собираясь на дачу к Извольскому и старательно уминая перед зеркалом узел нового галстука, Лютров ловил себя на неприятной, уличающей мысли о своей непригодности для подобных вечеринок. Что было впору Извольскому, не очень подходило Лютрову. Что ни говори, а каждый возраст имеет свои «моральные допуски».

«Может быть, все-таки остаться, пригласить Тамару Кирилловну и Шурика, выпить шампанского?.. Нет, поздно переиначивать, Витюлька ждет на даче!»

И пока он одевался, спускался по долгой лестнице и ждал такси под злющими колкими снежинками, его не покидало такое чувство, будто он принуждает себя к этой поездке на дачу.

Мимо него, сцепившись руками, с сияющими шалыми лицами прошли четыре девушки.

— С наступающим!.. — улыбкой дохнула ему в лицо одна из них.

Лютров с опозданием, уже в спину благодарно улыбнулся ей, смеявшейся громче всех, видимо оттого, что с неожиданной и для подруг, и для самой себя дерзостью озадачила большого, задумчивого человека в светлом пальто, истуканом стоявшего возле столбика с шахматными клеточками. Что-то дрогнуло в нем, оттаяло и легкой утишающей грустью разлилось в душе.

«А!..— отмахнулся он от недавнего настроения, — Новый год все-таки праздник, а что за праздник, если нельзя подурачиться? Кого от этого убудет?..»

И как это обычно бывает, когда человек внезапно обретает счастливый дух, подкатило такси с торопливо бегающими щетками на стеклах.

— Куда? — крикнул краснолицый шофер, высунувшись из машины и морщась от секущих по лицу снежинок. — Вам повезло — по пути. А то я по вызову, — сказал он, когда Лютров втиснул себя рядом с ним, с удовольствием

вдыхая пахучее моторное тепло кузова. — Чего порожняком катить, в такой день все торопятся, верно? Мне к гостинице. Там ребяташки из Грузии приехали, опаздывают куда-то... Люблю грузинов, красивые, черти. У меня теща тоже вроде грузина, с усами, — он рассмеялся, не разжимая зубов, стараясь не обронить сигарету. — Всем хороша... Я у ней на квартире обитаю, так чего бы у нас с жинкой ни случилось, мою сторону держит. А уж обеды готовит — будь здоров!.. Шеф-поваром была. Один грех: как пенсию получит, обязательно напьется, а напимшись — матерком кроет, да мудрено как! И откуда набралась? Как выдаст — так у человека в голове помутнение и глаза квадратные... Сосед-старичок говорит ей: «Вам, мол, никак нельзя потреблять». А она ему: «И пимши мрут, и не пимши мрут...» И так далее... А то и почище оторвет, аж гостей совестно приглашать... Тот старик, он какой-то ученый, что хоть объяснит, так он говорит: «Это у вашей тещи несдержанность речи. Водка в ней на какую-то слабую кнопку нажимает... Неизлечимо, говорит, по причине возраста». Утешил. Уж я ее просил: «Мамаша, говорю, вы когда располагаете дерябнуть, мне скажите. Я с работы отпрошусь, и мы с вами тихо-мирно посидим вдвоем, пока сынишка в школе, а жена на работе. Как хорошо: валяйте себе без ограничения, не стесняйтесь! И вам удовольствие, и мне курсы повышения... А то, бывает, во как нужно душу отвести на начальство там или на клиента, какой сбежит, не расплатившись: тыр-пыр, а в памяти ничего успокоительного нет, одна бестолковщина, от нее только горечь во рту...

Лютров хохотал так, как давно с ним не случалось, и никак не мог остановиться: в воображении рисовалась толстая тетка с усами, а напротив — плутоватый шофер, старательно записывающий наиболее удачные пассажи. Все еще смеясь, он расплатился, пожелал общительному шоферу счастливого Нового года и вышел у вокзала.

И стало ему удивительно хорошо от людской суеты вокруг, от мерного шума, от нестихающей метели, которой он с удовольствием подставлял разгоряченное лицо, и все равно, с кем встречать Новый год, куда ехать. Все люди в городе казались ему близкими, своими. В такси, в автобусах, троллейбусах ему виделись только красивые веселые лица, а поспешность, с какой двигались машины и люди, исходила, казалось, из радостной заботы управиться с праздничными приготовлениями, потому что праздник уже звенел в душах, разлился в воздухе, оттеснив «на потом» все надоевшие хлопоты скучных будней.

Нет, все-таки здорово придумал Извольский — встретить Новый год на даче!.. И вообще, все праздничные действия нужно вершить фантазией выдумщиков, озорников, веселых, душевно благополучных людей!.. Наверное, все приглашенные — такие же, как и сам Витюлька. Или как шофер такси. А все женские лица, какие ему предстояло увидеть в Радищеве, должно быть, похожи на лицо той девушки, что шла с подругами и, блестя глазами, с мокрой челкой из-под пушистого платка, поздравила его с Новым годом.

Чтобы ему не блудить в поисках дачи, на которой он никогда не был, Извольский назначил ему встретиться с Томкой на вокзальной площади, у пригородных касс, а сам укатил с утра в Радищеве, прихватив с собой все необходимое.

— Высматривай Томку у выхода из касс... Ее лишь слепой не заметит: пальто красное, а на голове что-то вроде туркменской папахи.

Со времени возвращения из Крыма Лютров не встречался с ней, и теперь, прохаживаясь в стороне от нескончаемой людской круговерти, старался

получше вспомнить лицо Томки, но отчего-то на память приходила только ее улыбка. Улыбалась она одной верхней губой, это была какая-то одной ей присущая манера размыкать сочный разрез рта, выражая веселость: приподнимаясь, пухлая верхняя губа натягивалась, образуя тонкую складку, и чем веселее Томка улыбалась, тем сильнее обнажался неправильно выросший зуб, невольно заставлявший думать, что он мешает ей.

Но Лютров напрасно так старательно припоминал ее, она первой заметила его и еще издали помахала рукой в черной варежке.

Но он не успел убедиться, она ли это и ему ли машет рукой рослая девушка в красном пальто и мохнатой шапке, потому что рядом с собой услышал чей-то испуганный возглас:

— Ой!..

Лютров повернулся. Слева от него, прижав подбородок к воротнику и глядя чуть исподлобья, стояла девушка в белой шубке и черном платке — высокая, бледная, с продолговатым иконописным лицом, несущим неправдоподобно большие, бесцеремонно распахнутые глаза... В руках она держала сумочку, сетку, наполненную свертками.

В душе Лютрова смолкло все. Онемевший город ничего не мог подсказать ему, а он боялся верить, что видит Валерию, а того больше — что может обмануться.

Волнение достигло того состояния напряжения, какое бывает в испытательном полете, когда опасность еще не осмыслена, а ты уже охвачен нетерпеливой готовностью к действию, равно как и к тому, что уже поздно. Секунды становятся набатно гулкими, нагнетая и нагнетая непоправимое к тому последнему мгновению, когда уже ничего нельзя будет изменить.

Вот оно, ее лицо. Оно выглядит отстраненным от всего окружающего, словно вокруг и нет ничего. Протянув ему руку, она чуть сощурила глаза, ободряюще улыбнулась: «Ну, что же вы?»

Алексей Лютров испугал ее не тем, что явился вдруг на глаза, отделившись из тьмы людей огромного города, а тем, какое странное и страшное сделалось у него лицо, когда он повернулся к ней, увидел ее.

— Валерия! — сказал Лютров, выражая этим словом все, что чувствовал: ведь я мог умереть, исчезнуть, не прийти сюда и не встретить тебя!..

Этот страх передался и ей, и она тоже испугалась, не умея понять почему.

— Алеша!.. Не забыли меня?

— Вы... так и не позвонили мне из автомата. Почему не позвонили, Валерия?.. Вас ждут, наверно?

— Меня нет. А вас — да, — указала она поворотом головы на стоявшую рядом Томку.

— Меня? Ах, да! Познакомьтесь, это невеста моего друга, — при слове «невеста» Томка недоуменно посмотрела на Лютрова и не менее удивленно на Валерию. — Мы тут собрались Новый год отпраздновать. На даче. Хотите с нами?

— Ой, что вы!.. Мне нельзя, у меня мама...

— Отпроситесь.

— Нет, нет. Леша, что вы, мне никак нельзя.

— Я ведь без вас теперь не поеду...

— Ну, что вы!.. Как же так? — Валерия мельком посмотрела на Томку.

Та отрицательно покачала головой, скорее Лютрова догадавшись, что означает этот взгляд.

— Ничего, мой друг не обидится. Тома ему объяснит... Вы домой?

— Ага. С работы рано уехала, к подружке забегала, да вот в магазин.

— Поедьте, — сказала Томка, сострадая Лютрову и глядя на Валерию каким-то свойским женским взглядом.

— Ну, честное слово, не могу я! — блеснув глазами, Валерия умоляюще посмотрела на Лютрова.

— Да, конечно, — согласился Лютров, пытаясь затушевать свою растерянность, с которой он не мог справиться и которая, как ему казалось, выдавала всю неловкость его сложения.

В наступившем молчании взгляд Валерии, выражавший только что немыслимость для нее этой поездки, стал менее решительным, она как будто сожалела, просила понять ее и вдруг сказала:

— Разве... действительно уговорить маму?.. Поехали!

Дальше все для Лютрова было путано и тревожно, и от неизвестности, сможет ли она уйти из дому, и от тайной радости, что встреча и ее обрадовала, если она все-таки решилась... Из всего этого выходило, что хорошо жить на свете, так хорошо, что хотелось каждому встречному пожелать счастливого Нового года, подобно девушке у остановки такси.

— Леша, кто это? — спросила Томка, пока они ждали Валерию у ее дома на Каменной набережной.

— Я с ней весной познакомился, понимаешь?..

— Понимаю, это я понимаю.

От подъезда отделилась быстрая фигурка Валерии.

— Не волнуйся, — сказала Томка, заметив ее, — отпустили!..

Но Лютров боялся верить. И только когда подбежавшая Валерия дернула за ручку дверцу автомобиля и весело спросила: «Не опоздаем?» — Лютров до конца уверился, что наступает самый радостный Новый год на земле.

По пути к перрону заметно взволнованная Томка болтала за троих, игриво переводя взгляд с его на ее лицо, до розовых десен обнажая улыбкой плотные мелкие зубы с выступающим верхним клыком.

Весь путь до Радищева, равно скованный и возбужденный, Лютров изо всех сил старался занять ее нескончаемыми вопросами о пустяках, нащупать нить общности, понять, о чем следует говорить с ней, как вести себя.

Валерия же, чувствуя себя непривычно в этой его радости, тоже старалась быть участливой, внимательной к нему, угадывая все с ним происходящее, старалась не ставить его в неловкое положение и поскорее приноровиться к тону той, весенней встречи. Но ни она, ни он не могли пробиться сквозь волнение к той свободе, легкости и независимости. Она не знала, что и как произойдет там, куда они едут, но была совершенно уверена, что все будет непросто, и эта уверенность не давала справиться с волнением. В его голосе, в ожидающей чего-то улыбке, в отдельном от слов смысле пристального взгляда Лютрова она угадала уже, что нужна ему так, как ничто и никогда в жизни. И оттого Валерию томило опасение, что в ней вдруг выкажется что-то такое, что обманет его, обманет вот это страшное своей радостью возбуждение в нем.

А Лютров и впрямь не мог без волнения смотреть на нее, не мог не восхищаться росными капельками на темном пушке над верхней губой, движениями огрубевших от краски и слипшихся ресниц, черным толстым платком, не только не приглушавшим ее молодость, но оттенявшим свежесть и чистоту лица.

В купе напротив без усталости размахивали пальцами, болтали глухонемые.

Они понимали друг друга и были довольны. Лютров завидовал им, ему казались невыразительными и пустыми все те слова, которые он успел наговорить Валерии.

Спустя полтора часа, уже в темноте, электричка подъехала к притихшим под снегом вековым елям Радищева.

Становилось все метельнее. По дороге к даче, то тут, то там вырастали снежные смерчи, они вздымались и исчезали как привидения. Снег хлестал им навстречу, тропинку занесло, от нее оставалась едва различимая ложбинка вдоль оград, вдоль старых лип, за которыми стояли заснеженные, заколоченные на зиму дома.

Блудя негласную условность, Томка предоставила Валерии шагать вслед за Лютровым, уступчиво смолкая, если он заговаривал, угадывая и как бы поощряя его старание понравиться, вниманием и веселостью сделать для Валерии это нелепое путешествие забавным.

Свет на даче Извольских горел во всех окнах. Это был большой деревянный дом со множеством комнат, коридоров, с высокой белой изразцовой печью, стоявшей на перекрестии внутренних стен. В комнатах было прохладно, но в печи гудел огонь, на столе блестели алюминиевой фольгой бутылки шампанского, лежали груды свертков, консервные банки, а на старинном кожаном диване ревел магнитофон, заполняя пустую дачу орущей английской песней.

Поглядев на Валерию, Извольский удивленно застыл, но скоро стал смеяться над собой, говорил, что обознался, принял Валерию за какую-то другую девушку. Услыхав от Лютрова о неожиданной встрече на вокзальной площади, он с потешным испугом пригласил всех «принять по лампадочке для пакости, потому как все это неспроста!»

— А моих нет и нет, — сокрушался Извольский, то и дело выбегая на улицу. — Ей-ей, блудят... Замерзнут, позвонки!

Промерзшая дача прогревалась медленно. Лютров нарядил Валерию в летнюю куртку Витюльки, снял с ее ног замшевые меховые ботинки и натянул унты. Она стала похожа на плюшевого медвежонка, и ему было приятно думать, что теперь ее слабому телу станет тепло под толстым пегим мехом.

Она следила за тем, что он делал, безропотно, понимая, что не позволить ему вот так играть ею просто невозможно.

— Согрелись? — спрашивал он таким тоном, как если бы отогревал ее у себя в ладонях.

— Ага. А вам не холодно в одном пиджаке?

Он отрицательно качал головой, думая: «О чем она говорит?.. Ведь ей так легко понять, что я ничего не могу чувствовать...»

Раскрасневшаяся Томка хлопотала на кухне над кипящей картошкой, переживая за Лютрова не только потому, что давно знала его, но, как всякая женщина, стояла на стороне чувства. А Витюлька то и дело бегал во двор за дровами, приходил весь в снегу, бросал к печи охапки припудренных снегом поленьев, всякий раз обещая:

— Сейчас, сейчас сделаем тепло... А ребятешек моих все не видать. Что бы это значило, а?

Лютров не мог заставить себя отойти, помочь Витюлке открывать консервные банки, носить воду из колодца и вообще что-то делать вместе с Витюлкой и Томкой. Усадив Валерию в застеленное пледом кресло-качалку, он сел напротив, смущаясь тем, что смущает ее, но не мог справиться с собой,

не смотреть на нее, не видеть, как она улыбается, смеется, как сползают борта меховой куртки за выступы груди, укрытой белым свитером, как льнут к щекам длинные волосы, не мог не чувствовать на себе ее взгляда.

Собравшись с духом, он взял ее руку, зачем-то сжал пальцы, потом опустил их на подлокотник кресла, расположил поудобней, рядышком, эти длинные белые пальцы, чувствуя к ним какую-то отдельную любовь, какую-то особую ласковую нежность, и сказал, ободренный их послушностью:

— Вы могли бы... быть моим другом, это не покажется вам диким?

Чуть насторожившись, как ему показалось, она внимательно, но не обидно посмотрела на него и, сделавшись вдруг серьезной, однако облегченно, будто высвобождаясь от чего-то, отрицательно покачала головой.

— А вам хорошо со мной? — спросила она, отводя глаза к раскрытой топке печи.

— Разве это не видно?

Она повернулась и посмотрела на него, но не для того, чтобы удостовериться, хорошо ли ему с ней, а будто отыскивала на его лице подтверждение другой своей, ему неизвестной важной мысли, и улыбнулась, прищурив глаза.

— У вас нет друзей?

— В прошлую зиму погиб мой друг и...

— Разбился?

— Да. Вот, а больше у меня никого нет...

— Совсем никого?

— Нет, у меня друзья на работе, вот Витя, и живем мы дружно...

И он с радостью, с увлечением стал рассказывать ей о Санине, как никогда и никому не рассказывал, не замечая, что Сергей незримо помогает ему говорить о самом себе...

Едва они уселись вокруг стола, как на дворе послышались голоса, а затем на дачу ворвалась суматошная толпа друзей Извольского. Перебивая друг друга, крича и смеясь, они принялись объяснять, как вышли из электрички на остановку раньше, потом заблудились в Радищеве, забрели на какую-то дачу, где их вначале облаяла собака, а за ней — хозяин, из-за них они потеряли подставку для елки, которую привезли с собой из города, а хозяин напоследок назвал их «стилягами».

— Это из-за его бороды, — сказала крохотная девушка в сером пальто и безжалостно дернула толстого парня за мокрую окладистую бороду.

— Ну, друзья!.. Ну, братцы! — только и говорил Витюлька.— Леша, ты видал таких?.. А ну к столу!..

— Ур-ра!..— возопила компания, и в угол полетели пальто, шапки, шубы.

Две девушки с одинаково начесанными волосами, не столько хорошенькие сами по себе, сколько от праздника, от веселого возбуждения, принялись наряжать елку, доставая игрушки из большой коробки.

— Позвонки, дачу не спалите! — кричал Извольский, когда парни притащили гору поленьев и принялись подкладывать дрова в топку.

...На кожаном диване сидел печальный худой парень в пестром свитере, держал на коленях невесть откуда пришедшую собаку, иногда брал ее под мышки, поднимал «лицом к лицу», целовал в мокрый нос, заставляя пса облизываться, и очень сердечно спрашивал:

— Ведь дурак, а?.. Дурак... А как жить будешь, обезьяна? На дворе-то

космический век...

Крохотная девушка кричала ему, чтобы он оставил собаку, на что парень неизменно отвечал:

— Люся, я дуплюся!.. — и опять целовал собаку.

Когда дрова разгорелись, парни погасили свет и начались танцы под бесконечную музыку магнитофона, а от ног по стенам задвигались тени.

Валерию несколько раз поднимали из кресла, и она шла, как была, в унтах, темной узкой юбке и белом свитере, и ее тень нельзя было спутать с другими. Один из молодых людей, в черном костюме и белой рубашке с непомерно свободным для него воротником, несколько раз приглашал Валерию, пока девушка с высокой прической не остановила его.

— Идиот, — сказала она громким шепотом, — ты что, не видишь ее мужа?.. Оставь ее в покое, или тебя придется везти домой по частям...

— Но она... такая красивая, — только и нашел что ответить навязчивый танцор.

Слышавшая разговор Валерия оглядела хилую фигуру своего кавалера, потом посмотрела на Лютрова, сидевшего в кресле у огня, и принялась хохотать.

...В пятом часу все, наконец, устали и утомнились. Молодые люди наговорили оставшимся всяческих любезностей и, полусонные, с явной неохотой отправились на станцию, к первой электричке. Елка, привезенная ими, осталась стоять в перевернутой табуретке посреди гостиной. Вскоре исчезли и Витюлька с Томкой, прихватив с собой магнитофон. Некоторое время из комнаты за печью было слышно, как взвизывает страстным петушком мексиканский фальцет да хохочет неумная Томка. Но вот и там все стихло.

А за окном все еще была ночь, нескончаемо долгая зимняя ночь, морозная и метельная.

Возле раскаленной печи с пламенеющим нутром открытой топки остались только Лютров и Валерия. Они сидели лицом к огню и, разговаривая, почти не глядели друг на друга. По-настоящему тепло на даче так и не стало, Валерия сидела в накинутой на плечи меховой куртке, сложив руки под грудью, и говорила о своей жизни в Перекатах, о бабушке, о том, что делает и как живет с матерью.

Лицо ее, освещенное красным отблеском углей, выглядело усталым. Глаза надолго застывали на пылающих углях, то раскрывались широко и настороженно, то укрывались за опущенными ресницами. Лишь однажды лицо ее оживилось — она принялась рассказывать, как девочкой участвовала в спектакле о Чипполино, разыгранном во дворе дома, и как восхищена была бабушка графиней Вишенкой — Валерией. Но оживление длилось недолго, она вдруг смолкла, улыбка стерлась. Валерия односложно отвечала на вопросы Лютрова и, наконец, сказала, что ей про себя говорить скучно.

— Я невезучая, Алеша... Расскажите лучше о себе. Вы все летаете?

— Такая уж планида.

— Всю жизнь?

— Половину.

— Вы, наверное, хороший летчик, я помню ваш большой самолет.

— Есть лучше.

— А людей не возите?

— Редко.

— На «ТУ-104?»
— Случается.
— А почему вы не женаты?
— Так уж вышло.
— И я не выйду замуж. Меня не возьмут.
— Вам это не удастся. У вас много друзей в городе?
— Не обзавелась, некогда было... Я и в доме-то никого не знаю, кроме маминой подруги Евгении Михайловны да ее сына. А вы где живете?
— На Молодежном проспекте, рядом с вами.
— Видите, как бывает... Я очень изменилась?
— Стали взрослее, по-моему.
— Да, совсем взрослая, дальше некуда... И хуже, конечно?
— Нисколько. Но немного не такая, какой были в Перекатах.
— А вы помните, какой я была? — спросила Валерия, и губы ее дрогнули в улыбке.

— Еще бы!.. Тоненькая, яркая, как тюльпаны у вас в руках.
— Да, тюльпаны... А теперь?.. Не бойтесь, говорите.
— Я с вами всего боюсь: и говорить, и молчать.
— А вы не бойтесь.
— Ну вот вы зачем-то накрашили ресницы, губы... Я понимаю, некоторым нельзя без этого, но вас краски... огрубляют. Такие красивые пушистые ресницы слиплись, глаза выглядят заплаканными... На вашем лице ничего нельзя трогать. Впрочем, я могу и не понимать чего-то.

— Честное слово, Алеша, я впервые разукрасилась... Хотелось выглядеть лучше, как все...

— И вы могли бы не делать этого?
— Чтобы понравиться вам?
— Ну, ради этого не стоит.
— Не обижайтесь, я стала злойкой.

Но что-то больно кольнуло его, горькое чувство росло, захлестывало, и от этой горечи стало трезвее на душе.

— Обиделись, да?
— Мне бы уехать сейчас, — сказал Лютров, пряча глаза.
— Уехать?.. Почему?

— Вот что вам нужно знать, Валера... Я собрался просто скоротать новогоднюю ночь, повеселее прожить веселый праздник, у меня был трудный год... И вот случилось маленькое чудо... Счастье нельзя выиграть, Валера, а еще труднее прийти на вокзал, чтобы встретиться с ним... Но пусть вас это не трогает...

— Вы странно говорите, но я, кажется, понимаю... И... вы сейчас что-то делаете со мной, не знаю... Я не умею выразить, но мне легко и... Не уезжайте. Не нужно уезжать, чтобы я поверила... Ведь вы... любите меня?

Она опустила голову, опавшие волосы укрыли лицо, но он видел, как застыла она в ожидании. Что ей сказать? Разве изреченное «да» выразит все?

— Почему вы молчите? Ведь это правда. Правда, я знаю. Я испугалась вашего лица, когда увидела вас на площади. Испугалась и поняла... Наступило неловкое молчание.

Дрова догорали. Угли подернулись хлопьями пепла, подсвеченный жаром, он казался розовым... Поглядев на Лютрова, Валерия виновато улыбнулась:

— Не обижайтесь. Я спать пойду, ладно?

— Да, да... Заговорил я вас.

— Нет, я просто устала... Ведь скоро рассветет. Она встала и вышла в смежную комнату. Хлопнула и отскочила дверь, вспыхнул свет.

Лютров долго сидел без всяких мыслей, не чувствуя ни усталости, ни желанья спать, и только курил, смотрел на изгибающийся, увлекаемый тягой топки дымок, слушал, как глухо воеет в трубе да как бьется о стекла метель.

На даче совсем стихло, но все чаще прослушивался дальний грохот поездов, совсем слабый, если они останавливались в Радищеве, и погромче, когда проносились мимо, заставляя деревянный дом покорно вздрагивать.

Все, что он узнал о Валерии из ее слов, было лишено временной связи, казалось, он ненадолго взял интересную книгу и едва успел раскрыть ее.

Он живо представлял ее подвижной долговязой школьницей в поношенной коричневой форме, с недетскими внимательными глазами. Как у всех торопящихся жить детей, у которых в доме не так, как у всех, о чем эти «все» при случае напоминают ей, она не была глуха к жизни улицы. Не обремененная присмотром, предоставленная сама себе, она почти бессознательно пыталась найти свое место в зримой жизни, объяснить самое себя. Познания шли из толчеи улиц, от событий во дворе, от обмена увиденным и услышанным со сверстниками, от того, к чему с умыслом или походя приобщат старшие... Для Валерии все было истиной, открытием, потому что нет убедительней правды, чем постигаемая собственным опытом.

Иногда в доме ненадолго появлялась мать. Однажды квартировавший у бабушки врач стал отчимом Валерии. Когда они с бабушкой остались вдвоем, пятнадцатилетняя Валерия поняла, что она — главная помеха в неустроенной жизни матери, что ее собственная жизнь никому не нужна, кроме бабушки, и, что бы с ней ни случилось, пожалеть ее больше некому.

Дружила она все больше с мальчишками, с тем, кто погрубей, кто мог защитить ее. Но вот окончена школа, она работает, выросли и ее друзья. Но почему-то именно они стали теми, которых боятся в городе, которые бродят с гитарами по танцплощадкам, пьют водку, затевают драки и по старой памяти навязывают ей свое покровительство. А оно уже тяготит девушку. И тогда она понимает, что ей нельзя оставаться в городе.

Вот и все, что Лютров узнал о ней. Ненамного больше, чем знал раньше, но, рассказанное ею самой, все это заново отозвалось в нем, как если бы она доверила ему исправить все нескладное в ее жизни. Он еще не представлял себе, как сложатся их отношения, но, если они будут вместе, все для нее обернется по-другому; ей больше не придет в голову называть себя невезучей... Лютров стоял у окна, глядел в морозную темноту за стеклами, видел, как осыпается снег с крыши под окнами, слышал дремучий вой ветра в печной трубе, и мало-помалу ему стало казаться, что он в Перекатах, в этом заштатном городишке чеховских времен. Как и тогда, в соседней комнате спала Валерия, а он вот так же прислушивался к тишине за дверью... Похожее на тревогу волнение охватило его: не во сне ли он, на самом ли деле все это происходит.

«Успокойся, ты как мальчишка», — укорил он себя, покосившись на дверь в комнату Валерии. Там все еще горел свет. Может быть, она не спит, как и он?

— Вы не спите, Валерия?

Она не ответила. Лютров заглянул в комнату, на носках прошел к горевшей на этажерке лампе, невольно любуясь лицом спящей. Затененные подушкой, едва просматривались сомкнутые ресницы и влажные губы, чуть приоткрытые, так похожие на губы ребенка, баловня заботливых рук,

обласканного на ночь поцелуями матери. Наклонившись, он воровски коснулся пальцами длинных прямых волос, расплескавшихся чернотой по наволочке, и не мог отвести глаз от ее лица. Сон обозначил на нем трогательно-нежные бледно-зеленые тона, припудрившие матовую белизну вокруг уголков губ, у висков, в ямочке подбородка. Лицо казалось светящимся, неприкасаемо хрупким...

Стараясь не щелкнуть выключателем, он погасил лампу и выбрался из маленькой теплой комнаты в гостиную.

Усаживаясь на покрытую пледом качалку, Лютров услышал, как скребется в дверь и скулит собака. Жила она где-то по соседству, увязавшись за друзьями Извольского, она вернулась на огонек. Впущенный в комнату, пес благодарно засуетился у ног Лютрова, запрокинув вверх мохнатую морду с черным кожаным носом, отряхиваясь.

— Есть хочешь, собака? — веселым шепотом спросил Лютров, обрадованный сомнительной возможностью поговорить.

Пес пристукнул об пол передними лапами и что было сил замахал мокрым хвостом. Лютров собрал в одну большую миску остатки пиршества и поставил ее поближе к печке:

— Ну, лопай, гулена...

Но собака не хотела есть. Она как бы из приличия обнюхала миску, но так и не притронулась к еде, а улеглась напротив Лютрова, и всякий раз, когда он заговаривал с ней, вскидывала желтые надбровья и принималась стучать хвостом.

— Странное ты существо, — ласково растягивая слова, говорил ей Лютров, — плодишь собак, а никого, кроме людей, любить не можешь... Отчего так?

Смешно повернув набок морду, собака глядела на сидящего перед ней человека с таким видом, будто вместе с ним размышляла над столь несуразным положением вещей.

Дрова догорели. Лютров разворошил угли и принялся укладывать на них небольшие чурки.

— Давай, друг, печь топить. Все-таки занятие...

Над городом голубело небо, свежо белел обновленный ночной метелицей снег, над рекой висел морозный туман.

Зябко выдыхая вихрящийся пар, вдоль Каменной набережной катили редкие автомобили.

По тому, о чем говорила Валерия, пока они добирались к ее дому, Лютров заключил, что в Радищеве ей понравилось. Она весело вспоминала и «этого смешного, худенького, который целовал собаку»; и как танцевали под Светом печной топки; и дурашливый разговор за столом; и Витюльку: «Он дурачится, а лицо у него грустное, хорошее...»

— Вы часто бываете у него на даче? Там все так богато и по-старинному, правда?... Уютно... И вся засыпана снегом. Вот и мои Перекаты, наверное, замело. И наш сад — до самых веток... У нас яблоневый сад, большой-большой. И в доме всю зиму пахнет яблоками...

— Скучаете?

— Иногда очень...

Минуту они шагали молча.

— Мы скоро увидимся, да, Леша? — Валерия остановилась, чтобы попрощаться.

— Если вам захочется... и вы не потеряете мой телефон.

— Мне обязательно захочется. Не верите?

Лютров пожал ее руку в варежке и почувствовал, что она не хочет отпускать его. Взглянув на него, Валерия просто сказала:

— Не забывайте меня, ладно?

4

Вскоре после Нового года начались полеты по доводке установленной на «девятке» автоматики на управлении.

Этот полет был коротким — первый из серии полетов в самых строгих режимах, в которых предусмотрено было уточнить требуемый характер контроля за действиями летчика.

Задание исчерпывалось несложным на первый взгляд маневром на околосвуковой скорости, но при этом несколько большее отклонение руля высоты могло оказаться необратимым. Аэродинамики были уверены, что при заданной даче штурвала самолет останется в пределах допустимых перегрузок, но к их расчетам следовало относиться как к логически обоснованному миражу, который обретает вещественность после возвращения на аэродром. По идее разработчиков, автомат заставит штурвал сопротивляться рукам человека тем решительней, чем непродуманней окажется его перемещение-дача, грозящее увести машину за пределы допустимых перегрузок при смене направления полета. Самописцы «девятки» должны были подтвердить пребывание самолета в заданном режиме, а Лютров — помнить о той грани, что отделят расчетное движение штурвалом от разрушения машины. Главное, не превысить дачу, и тогда аварийный исход менее всего вероятен.

Из-за повышенной опасности экипаж свели до минимума. В полетном листе значились двое: Лютров и Извольский.

Итак, всего-навсего — четкое и строгое ограниченное движение штурвалом. До полета оставалось два дня.

Невольно пришел на память Юра Владимиров. Парень расстался с авиацией несколько лет назад, как говорил Боровский, «по дурости». В своем последнем полете он сделал одно непродуманное движение штурвалом. Всего-навсего... Было что-то общее между ним и Трефиловым, но их нельзя было сравнивать: Владимиров никогда не списали бы за несоответствие служебному положению. Он был из тех, кому больше других необходима самодисциплина. Но именно она-то ему менее всего была свойственна. Таким был Юра Владимиров.

Все, что успел сделать он на фирме, оценивалось высоко, и, вместе с успехом, в нем без внутреннего сопротивления росло мнение о своей избранности. Владимиров не допускал, что кто-то может сделать работу лучше его, что кому-то удалось бы столь же безупречно посадить истребитель с прогоревшей жаровой трубой на двигателе. Это был редкий случай. На разгоне включенный на форсированный режим двигатель не заставил его почувствовать привычное ускорение, а затем заело управление. В наушниках прозвучал бас руководителя полетов:

— Сто третий, от самолета что-то отделилось.

— Вас понял, что-то отделилось.

Он перевел сектор газа на малые обороты. Управление с грехом пополам стало слушаться. У него хватило ума догадаться, что в зону расположения узлов трансмиссии управления попадает жар двигателя и корбит крепления приводов.

— Иду на посадку с неработающим двигателем. Обеспечьте полосу.

— Сто третий, вы можете не увидеть полосу, облачность десять баллов.

— Нижняя кромка?

— Семьсот метров.

— Если промажу, успею катапультироваться.

Парень был уверен в себе. Но и находчив.

— Вас понял, посадку разрешаю.

...Он вошел в летную часть очень красивый — высокий, упругий, со спокойной улыбкой самонадеянного человека, а защитный шлем под мышкой выглядел, как каска чемпиона по фехтованию.

Но ему не хлопали. Его даже не заметили. Амо Тер-Абрамян проигрывал партию в бильярд и громко требовал играть по правилам.

В раздевалке он застал Карауша, тот мучился с застежкой.

— Сажал без двигателя, понимаешь?

— А без крыла не пробовал? Вот если бы без крыла...

Потом Тер-Абрамян готовил его к испытаниям на штопор. Юра старался. Своего наставника он понимал с полуслова, все шло отлично. Ему было ладно, удобно в кабине, истребитель слушался, как «ЯК-18» три года назад, когда его зачислили в шестерку лучших спортсменов страны. Он был непременным участником всех чемпионатов, выступал на воздушных праздниках в Туле, Иванове, Грозном, Тушине... Он пришел в школу испытателей мастером спорта по высшему пилотажу.

Испытания на штопор истребителя остались позади. Отчет о работе был составлен толково, коротко, грациозно. Это заметили научные руководители темы. Ему дали для сравнения отчеты других летчиков. Он улыбнулся: мозгоблуды!

У него были идеи. Ими он готовился раз навсегда утвердить амплуа летчика-инженера, сбить предубеждение, будто настоящих летчиков дают только военные училища.

После полетов на штопор Тер-Абрамяну не понравилось его лицо, нотки снисходительности в разговоре, намеки на инженерную эрудицию, без которой...

— Слушай, ты не родственник Боровскому? — Тер-Абрамян злился.

— Нет, а что?

— Похож...

Владимирова прочили ведущим на экспериментальный истребитель. У Тер-Абрамяна был авторитет командира отряда, и он предложил подождать.

— Он верит, что все может, потому что убедился и особых достоинствах своего ума, способностей... Спросите, и он скажет, что у него идеальная форма носа... Владимир вполне профессионально подготовлен, но остался спортсменом — мнительным, азартным, готовым на все ради успеха.

Облетал экспериментальную машину Иван Моисеев. После одного из полетов на обшивке у стыковки крыла к фюзеляжу обнаружили вспучины, следы остаточной деформации, что случается, когда самолет побывает в недопустимых перегрузках.

У самолета завязался разговор о причине выхода за ограничения. Владимиров махнул рукой.

— Сила есть, ума не надо...

Все повернулись к нему.

— Чего тут гадать...

— Что же вам ясно? — спросил инженер бригады аэродинамиков.

— Ясно, что летчик наработал...

— Ну, знаете, чтобы сделать такой вывод... — инженер долго говорил о возможных причинах выхода за допустимые перегрузки, и все, кроме Владимирова, видели в его глазах укоризну, недоумение: «Не слишком ли много на себя берете, молодой человек?..»

На другой день Тер-Абрамян был так зол, что не играл в бильярд. Заглянувший в комнату отдыха Владимиров после вчерашнего высказывания подчеркнуто бодро поздоровался. Ответили не все. Карауш напустил на себя «ученый» вид и произнес округлившимся баритоном:

— Доброе утро, коллега!

«Все уже знают, так я и думал... Что делать?» Владимиров вышел в коридор, где у стен по двое, по трое стояли ребята, обмениваясь утренней порцией неторопливых слов обо всем и ни о чем.

Владимиров прикурил у высокого седого диспетчера, бывшего летчика-фронтовика.

— Чего у тебя там с Моисеевым?

— Ничего. А что?

— Ребята на тебя окрысились. — Диспетчер не был дипломатом.

— За что?

— Ты чего-то там трепанул о вине Моисеева за перегрузки?

— Ну и что тут такого?

— Ну и дурак, больше ничего. Кто тебя за язык тянул? Хочешь показать, что шибко грамотный, пришел и усек?

— Ничего я не хочу. Ну, сказал и сказал... Чего кадило раздувать? Может же человек ошибиться?

— Ошибайся. Про себя. Кто ты такой, что кругом лезешь со своим мнением?..

— Я, между прочим...

— За такое «между прочим» морду бьют... подсвечниками. А если у Моисеева подхват был? На разгоне терял высоту? Терял. В момент дачи число М сменило значение? Сменило. Вот и подхват: при запланированной даче завышенная перегрузка.

— Шел бы в набор...

— Задание ты составлял? Вот и не суйся, куда не просят! Вякнул, а Ваньке доказывай, что он не верблюд.

Нужно было что-то делать. Немедленно противопоставить вот этой неприязни к себе нечто безусловное, неопровержимое, или он останется для всех чужим, человеком второго сорта!.. И он решил.

В кабинет Данилова Владимиров вошел с видом незаслуженно ущемленного в своих правах.

— Мне хотелось бы вылететь на экспериментальной машине.

— Что ж, я поговорю с Донатом Кузьмичом. Мне не дано прав самому выносить такие решения...

— Он не возражает.

— Это упрощает дело. Через час я отвечу вам.

Выйдя из кабинета Данилова, он увидел Извольского.

— Привет!

— Здравствуй, Витя, — отозвался Владимиров таким тоном, что-де здравствуй-то здравствуй, но это не все.

— Чего-нибудь случилось?

— Когда говорят, что в тридцать лет ты еще молод для настоящей работы, это называется демагогией, способом держать неугодных на расстоянии от дела...

— Зажимают?

— Едва выпросил облетать новую машину.

— И недоволен!.. Мне и через год не дадут.

«Так это тебе», — едва не сказал Владимиров.

— Тут важен принцип. Чем мы хуже других?

Это «мы» заставило Витюльку усмехнуться: тебе ли говорить о демагогии?

— Они тут пообтерлись, и нет бога, кроме аллаха. Я тебе, ты мне. Это как стена. Но ничего.

— Ты Моисеева не видел? — у Витюльки были свои заботы.

— Чего?

— Я говорю, Моисеева не встречал?

Извольский, видимо, ничего не знал о происшедшем.

— Здесь где-то.

— Слушай, я в командировку намылился, увидишь, отдай ему эти деньги.

— Иди ты... со своими рублями...

— Не хочешь, так и скажи. А послать я тебя так пошлю, что заблудишься!

Премьер.

Одно дело назначить ведущим летчиком, другое — выпустить для освоения новой машины. Ни Гай, ни Тер-Абрамян не стали возражать: человек готовился, пусть вылетит, а то подумает бог знает что.

По обязанности выпускающего Тер-Абрамян дежурил на КДП. После часового полета в зоне он передал Владимирову, чтобы тот делал проход над полосой и шел на посадку.

— Вас понял, после прохода захожу на посадку. Тер-Абрамян отложил микрофон и стал спускаться из стеклянного фонаря КДП, чтобы подъехать на спецмашине к месту приземления, проследить за посадкой, подсказать, если будет что подсказывать.

На подходе к летному полю Владимиров разворачивает истребитель на спину, и машина с оглушающим ревом несется в тридцати метрах от земли. Напротив ангаров все в том же положении она с сумасшедшей стремительностью взмывает вверх.

— Смотри! — крикнул кто-то рядом с Тер-Абрамяном. И маленький самолет, у которого за две сотни полетов не было ни одного отказа, теперь беспомощно завис в воздухе, качнулся и стал падать, сначала на крыло, потом на нос.

— Это конец! — вырвалось у Тер-Абрамяна. На мгновение тонко блеснул огонь катапульты. Владимиров вырвался навстречу земле. Парашют едва успел раскрыться и наполниться, а затем медленно опал рядом, на травяное покрытие между бетонными полосами.

Вовлеченный в огромные отрицательные перегрузки, самолет резко

затормозился, потерял полетную скорость и «посыпался».

У Владимиров были большие серые глаза. Всегда возбужденно внимательные, перед последним полетом они были решительно прищурены, а когда девушка-врач разрежала комбинезон, высвобождая сломанное плечо, он смотрел на нее грустно и растерянно.

— Жаль парня, — говорил Гай, узнав, что врачи запретили Владимирову летать. — Очень способный был летчик, но юношеским увлечением полетами нужно перегореть как можно раньше... И я в двадцать два года летал под мостом в Борисоглебске. А Юре было тридцать. В этом возрасте человек менее всего склонен полагаться на чей-то авторитет, внимать советам старших... Всякий намек на несогласие с ним он воспринимал как неприязнь к нему, нежелание признавать его способности, срывался, искал обходных путей для своих претензий. Но когда нет должного воспитания воли, самоуверенность плохой советчик. Ему нужно было пройти военную школу, чтобы понятие дисциплины не было для него абстракцией. Он бы понимал, что не так завоевывают право на внимание.

...Свои два дня перед этим очень недолгим полетом Лютров просидел в кабине «девятки».

Он сделал отметки на выдвижной колонке штурвала и после многих сотен попыток добился нужной точности рывка. Это было непросто еще и потому, что следовало учитывать характер реверса — деформации крыльев, уводящей самолет в крен с увеличением скоростного напора, для противодействия реверсу штурвал нужно было развернуть почти до упора влево, переклестнув руки в подобие буквы Х.

Взлетали после полудня.

— Ну, Алексей Сергеевич, ни пуха ни пера, — напутствовал Углин.

— Пошел к черту! — весело огрызнулся Витюлька и подмигнул стоящей у своего «РАФа» Наденьке.

В первые минуты все как обычно — взлет с энергичным набором высоты. «Девятка» шла вверх легко, топлива было немного.

Войдя в зону, Лютров перевел двигатели на форсированный режим.

Выхлопные отверстия изрыгнули ракетные клинья пламени, тяга возросла на несколько тонн. Когда ускорение перестало ощущаться, Лютров включил магнитофон и проговорил разом на запись, на землю и Извольскому:

— Начинаю режим.

Штурвал развернут, элероны зафиксированы в противодействие реверсу, Лютров делает небольшое плавное движение от себя и быстрый рывок с установкой штурвала в исходное положение. Есть!..

Под стрелкой указателя перегрузок вспыхнуло красное очко — сигнал опасности.

Эксперимент занял одну и две десятых секунды, а перегрузка достигла вдвое более допустимой величины.

Миражей больше не было. Машина не вышла из послушания, но они скользнули за пределы разумного риска. Если бы Углин заправил машину не на часовой полет, а полностью, она развалилась бы.

Началась отладка устройства, контролирующего действие летчика при аналогичном маневре. Автомат дополнительных усилий получал необходимую настройку для вступления в действие, предохраняющее самолет от выхода на перегрузку, превышающую максимально допустимую. Заодно «девятку»

поставили в ангар на нивелировку, чтобы проверить, нет ли изменений в проектной геометрии конструкции самолета.

Умей Лютров со стороны взглянуть на собственное душевное состояние, он понял бы, что живет по одному установленному для себя закону, имя которому — Валерия.

Но сколь велика была зависимость этого открытия от девушки, которую звали Валерией, столь же зыбка и неодолима была связь между его любовью и ее самостоятельностью, отдельностью ее существа!

Он робел прикасаться к ней, как в детстве к ракушкам мидий, которые собирал на камнях у моря: стоило дотронуться до них, и створки сжимались, пряча все нежно-живое, розовато телесное, оставляя глазам один каменно-жесткий голыш, который можно было раскрыть только лезвием ножа, но уже невозможно увидеть того, что видел раньше, — нож оставлял неизбежный след насилия, грубое откровение раны.

Для тревоги достаточно было, если в звуке ее голоса приглушались нотки искренности, во взгляде угасала заинтересованность, внимание к тому, что он говорил. Лютров начинал чувствовать вею непрочность происходящего, оно казалось ему ненастоящим в какой-то главной основе. Но если на следующий день Валерия выглядела приветливой, страхи разом исчезали, и опять такими непростыми становились их прогулки по тропинкам Загородного парка, застывшего в морозном покое под глазасто мерцающим небом...

Он помнил каждый день, проведенный с Валерией, каждый час лесной тишины, помнил снег в лесу, пухлым пологом покрывавший землю и добиравшийся к верхушкам самых высоких травинки; помнил затаенно темнеющий хвойный настил, укрывшийся от зимы под нависшими шатром ветвями старых елей; помнил, как вечереет в лесу: у ног светлее, чем над головой, и такое спокойствие разливалось в душе в эти минуты, будто они совсем близкие люди и не предчувствуют, а знают о тех новых днях и вечерах, когда вот так же будут шагать в ногу, вслушиваться в молчание леса, в согласный хруст снега под ногами, оглядывать верхушки старых сосен в поисках дятла, смеяться...

Вчера после театра вдруг — метель!.. Снег сыплет вовсю, намедает сугробы у каждого угла, у всего, что торчит из земли, стучится во все без разбора окна домов, по-собачьи ошалело мчится вслед автомобилям!

Вспоминая свою радость от ее детского веселья, когда не ему, а ей удалось остановить такси у оперного театра, Лютров переживал неумное желание поделиться с кем-нибудь этим своим ликующим состоянием, будто знал, как научить людей быть счастливыми.

Потому-то он и начал памятный ему разговор с Извольским о Томке, искренне считая его выбор неправомерным, ибо Томка совсем не та девушка, которая нужна Витюльке. Но едва Лютров начал этот разговор, подвозя Извольского в своей «Волге» с работы в город, как сразу же пожалел об этом.

Витюлька заметно поскуучнел, как-то неприязненно сощурился и замолчал, глядя в лобовое стекло машины.

— Витя, ты извини, если я...

«Дернуло же меня за язык!..» — с досадой подумал Лютров.

— Брось, Леша. Ты вроде Долотова... Мы как-то с ним часа три носились

над Сибирью. «Отдохни, говорю, я подержусь». — «Ничего, говорит, я не устал». — «Ну и шут с тобой», — думаю. Сижу подремываю... Вдруг толкает: «Гляди, видишь деревню возле железки?» — «Ну?» — «Лубоносово. Там моя мать похоронена, приемная». — «Давно умерла?» — «В пятьдесят первом, говорит, в феврале». — «Навещаешь?» — спрашиваю. Кивнул: «Каждый год». Вспомнил я тогда, сколько и чего об этих его поездках наговорено, и подумал, как иногда неправильно объясняем мы непонятное в человеке. А у Борьки и дел-то, что живет, как совесть велит... Вот и он рассказал мне о Лубоносове, чтобы я не обижался, не думал, что не доверяет... Костя Карауш недавно прошелся насчет моего роста и твоей величины, а Борис ему: «Для дураков весь мир и люди в двух измерениях. Ты лучше поищи в них чего тебе не досталось».

Витюлька вытащил сигарету и долго закуривал, обламывая спички. Нервно затянувшись, он стал говорить с несвойственной ему беспощадностью в голосе:

— Увы, мир в двух измерениях не только для дураков... Когда я увидел твою девушку, я даже растерялся — очень она похожа на некую... теперь уже даму. В студенческие годы жил я в Радищеве. Помню лето. Погода тихая, легкая, лучистая, и стоит у дверей девушка. «Вам кого?» — «Вас, наверно». — «Меня?» — «Вы Извольский?» — «Да». — «А ваш папа Захар Иванович?» — «Да». — «Я у вас буду жить». Оказалось, батя предложил коллеге провести август у него на даче. Первой приехала дочь... Если бы ты знал, Леша, как я любил ее и что со мной творилось, когда я услышал ее разговор со своим отцом: «Уж не думаешь ли ты выдать меня замуж за этого уродца?.. Умора». Я не знал, куда себя девать от стыда.

Извольский потер лоб, будто стирал проступившее воспоминание.

— Так-то, Леша... Ты говоришь: Томка. А что Томка? По крайней мере, ей и в голову не приходит называть меня уродцем...

Долго Лютров не мог простить себе начатого разговора. И в самом деле, откуда ему знать, с кем следует, а с кем не следует общаться Витюлке?.. Говорят, убить журавля так же просто и так же постыдно, как ударить ребенка. И Витюлька представлялся ему раненым журавлем, которого он своими советами да участием лишал надежды на выздоровление.

...Все вечера января они проводили вдвоем.

— Ну, вот мы и опять вместе, — говорила она, усаживаясь рядом.

И они неслись в машине за город, отправлялись на стадион — посмотреть балет на льду, бродили по уже забытым Лютровым залам музеев, по заповедным пригородным усадьбам, просиживали по два сеанса в кино.

С каждым днем он все ревностнее, все бережливее думал о том, что хоть как-то относилось к ней, занимало ее, было ее жизнью, не замечая, что воспринимает все серьезнее, чем следует, словно боялся недосмотреть, не прийти вовремя на помощь, не уберечь...

— Вы со мной как с ребенком, — смущенно улыбалась Валерия. — А мне нравится. Бабушка говорила... Вы не будете смеяться?.. «Ты, внученька, как встретишь хорошего человека, дай ему побаловать тебя. Мужчинам приятно старшими себя понимать, заботиться... Твоя мать в молодости все по-своему норовила, да вот радости не знала».

— Ну и хитрая ваша бабушка!

— Нет, она добрая.

После веселого американского фильма в кинотеатре «Ермак» они отправились поужинать в расположенную неподалеку гостиницу.

Шагая по свободному проходу ресторана, она привычно опиралась обеими руками на его локоть, то и дело обрадованно поглядывая на него снизу вверх. На ней было светло-сиреневое платье, волосы подвязаны надо лбом такой же лентой, в ушах, покачиваясь, тускло поблескивали две капли жемчуга. А в том, как она чуть боком шагала, заглядывая ему в лицо, и как при этом некрасиво морщилось платье, угадывалось девчоночье неумение следить за собой, носить одежду. Но именно это и придавало ей ни с чем не сравнимое очарование...

Их ждал загодя заказанный Лютровым столик. Они едва успели присесть, а официантка, по-доброму улыбаясь, уже подавала сухое вино, закуски, вазу с апельсинами.

Выдавая все то же покоряющее неведение, как держать себя за столом, Валерия откинулась на спинку стула и откровенно улыбалась всему, что видела вокруг, его словам и своим словам. Пахучая теплота ресторана и приглушенный говор людей, то потопляемый в ненавязчивой музыке, то всплывавший из нее, придавал их беседе, да и молчанию, ту медлительную задушевность, какой нигде, как в ресторане да у костра, и не бывает.

— Леша, вы знаете, на кого похожи?

— Ну-ка?

— На Грегори Пека.

— Это кто же такой?

— Вы только что видели его в «Римских каникулах»?

— На этого красавца?

— О, ему далеко до вас?

— А вы даже не знаю, на кого... Может быть, на маму?

— Ага. Только она красивее... Как здесь хорошо!.. А помните, как мы сидели в аэропорту?

— Еще бы!

— Ваш друг преподнес мне цветы!

— Тюльпаны. Они очень подходили к вашим глазам.

— В первый раз в жизни мне подарили цветы. Так интересно было... И так досадно, что никто из знакомых девочек не видел меня с вами. Что это принесли?

— Маслины. У меня к ним с детства особое отношение. Попробуйте.

— Боже, соленые?

— Такими они и должны быть.

— Огурцы куда вкуснее...

— К маслинам нужно привыкнуть...

— Их что, как горох выращивают?

— Нет, на деревьях. Помните, кино «Нет мира под оливами» ?

— Мы в понедельник смотрели.

— Это и есть плоды олив, под которыми не оказалось мира. Они растут и у меня на родине.

— В Крыму?

— Да, у самого синего моря.

— Живет старик со старухой у самого синего моря...

— Верно. Дядя Юра и бабка Анисимовна. И я с ними жил.

— А я даже не видела моря.

— У вас много времени впереди, успеете.

Рядом с их столиком остановился индус в тугой чалме и женщина в сверкающем сари.

— Вы возражать нет? — серьезно спросил индус Валерию.

— Что вы, пожалуйста, — она удивленно подняла брови.

— И вы — нет? — индус повернулся к Лютрову.

— Нет, нет, пожалуйста.

Индус вздрогнул в поклоне, усадил женщину и присел сам.

Он без улыбки заговорил о чем-то со своей спутницей, а у той тихо цвело на лице нежное, удивительно женственное выражение. Всякий раз, когда Валерия поворачивалась в ее сторону, она трогательно, как ребенок, улыбалась ей.

— Много в городе иностранцев, правда?

— Туристы.

— А вы были за границей?

— Нет.

— Поехали бы?

— Не знаю.

— Я бы поехала. Интересно... Но сначала к морю. Так хочется посмотреть... И — парусник...

Створки мидии оставались открытыми. Лютров любовался ею.

— Леша, а вы были счастливым?

— Да. Пожалуй, два раза. Когда получил диплом летчика и... на Новый год.

Приметив, что она не поняла его, он прибавил:

— В Радищеве.

— Вот узнаете меня и не будете так говорить. Просто не сможете. Я знаю.

Она улыбалась, опускала глаза, казалась растерянной, как человек, на которого смотрят с сожалением.

— Когда любят, то не почему-то, Валера... А любят — и все тут.

— Правда... В детстве я влюбилась в чистильщика ботинок. Он носил черные усы, каких ни у кого в городе не было. Однажды решила почистить у него туфли. Чуть не умерла от волнения...

Выпив кофе, индийцы встали. Прощаясь, женщина в сари ласково положила невесомую руку на плечо Валерии.

— Какие они сказочные, эти люди... — сказала Валерия, глядя им вслед.

...На улице было совсем не холодно. Или так казалось после теплоты ресторана. С неба сыпал снег, такой мелкий, что кожа лица едва ощущала эту холодную пыльцу, нескончаемо мерцавшую в лучах фонарей. Они целый час шли пешком через весь город.

И все, о чем говорила Валерия, и самый голос ее выражали, казалось ему, то окончательное, всеразрешающее доверие, что теперь самые важные слова не будут ни трудными, ни неожиданными. Это как если бы избегавший тебя ребенок наконец понял, что бояться нечего, и пошел навстречу, протягивая руки...

— Я уезжала сюда и думала, вот теперь начнется настоящая жизнь, все будет по-другому... Я так загордилась после встречи с вами в Перекатах. Все смотрела на тюльпаны и вспоминала вас, все думала, что теперь все люди будут со мной такими же уважительными, как этот большой летчик...

Охватив пальцами обеих рук его локоть, она время от времени прижимала

его руку к себе. И если бы она знала, какое счастье было для него чувствовать на локте тяжесть ее тела!..

Валерия все говорила и говорила, легко шагая в ногу с ним и не спуская глаз с его и своих ног.

— ...Во мне все так радостно напряглось, я стала как парус под ветром. Это в пионерском лагере, когда наступало время спать, я очень скучала по бабушке, и оттого мне всегда не спалось. В жаркое время наши кровати стояли под парусиновым навесом, я лягу на спину и все гляжу и гляжу вверх, на стропила, они хорошо были видны от лампочки на столе дежурной... Все мне хотелось, чтобы скорее наступило завтра, а потом еще завтра, еще... Скорей бы к бабушке. Гляжу раз и вижу: парусина вздулась куполом да как хлопнет по доскам! Я испугалась, одеяло до глаз натянула, а она опять поднялась под ветром, ну, думаю, сейчас как хлопнет, но парусина опустилась так тихо, безнадежно... И тогда мне показалось, что прибитая к стропилам парусина скучает оттого, что она не парус... Вот ей и снится по ночам, будто она носится по синему морю. С тех пор я уже не боялась, когда она хлопала, а стала жалеть ее... Решила, что ей без моря тяжелее, чем мне без бабушки: я когда-нибудь уеду, а она останется... И если крыша опять принималась хлопать, я говорила ей голосом бабушки: потерпи, вот тебя отыщет капитан и ты будешь красивым летучим парусом... Когда меня обижали в детстве, я самой себе казалась прибитым парусом и все ждала капитана...

На набережной они немного постояли. Он говорил, что после встречи с ней на вокзальной площади верит в чудеса, а она недвижно смотрела куда-то мимо его плеча, за реку.

И вдруг протянула руки, обвила его шею, прижалась, щекой к плечу и заговорила сбивчиво, посапывая носом, сквозь слезы:

— Я вовсе не чудо, вы обманываете меня... Так хочется, чтобы это было правдой!.. А вдруг потом вы соскучитесь со мной, как отчим с мамой. Станете обижать...

Она подняла голову и посмотрела ему в глаза:

— Вы не будете обижать меня?..

— Что вы!.. Я не умею...

— Не надо, ладно?.. Я всегда так радуюсь, что вы любите меня. И боюсь чего-то...

Он впервые проводил ее к подъезду дома, впервые целовал ее горячие губы, щеки, мокрые ресницы глаз.

Шагая домой, он чувствовал легкую пустоту в себе, будто наконец свалилось с плеч все, что мешало им понимать друга друга, и выяснилась возможность счастья... Еще не дойдя до своего дома, он уже тосковал. И никак не мог забыть тяжести ее тела у себя на руке, и этого ее рассказа о парусе, и просьбу не обижать... «Глупая,— думал он с нежностью,— глупая...»

Пока «девятку» готовили к полету на большие углы, Лютров попросил Данилова разрешить ему облетать «С-224».

— Что это ты надумал? — спросил Гай-Самари, когда получил указание Данилова. — На сегодня же «девятка» в заявке?

— Заявка на два часа, а сейчас десять. В диспетчерской, где сидел Гай, было много народа, и Лютров не стал объяснять, почему он напросился

облетать машину, которую вел Долотов.

Приехав на работу в том светлом приподнятом настроении, когда все кажется праздничным, Лютров вдруг как бы осекся, наткнувшись на хмурую физиономию Долотова. Тот молча стоял у окна комнаты отдыха и, засунув руки в карманы, оглядывал летное поле. Здороваясь с ним, Лютров вспомнил, что вскоре Долотову предстоит отпрашиваться, чтобы уехать, и, зная теперь, куда он уезжает, упрекнул себя, что до сих пор не подумал восстановить в своей летной книжке очередную инспекторскую отметку о проверке техники пилотирования «С-224», чтобы в случае надобности подменить Долотова.

— Хлеб отбиваешь? — пошутил Долотов, шагая с ним на спарку.

— Ага.

— Валяй, я человек не жадный...

— Женюсь, подрабатывать решил.

— Врешь!

— Зачем?

— Ну, в таком разе — шут с тобой... Нет, правда?

Лютров не без удовольствия отметил, как шевельнулась на лице Долотова такая редкая у него улыбка. Уже в полете Долотов вдруг спросил:

— Детишек любишь?

— Люблю, Боря... А у тебя нет?

— У меня теща есть.

— Не понял.

— Теща, говорю, решает за жену, иметь ли ей детей...

— Чепуха какая-то. При чем тут теща?

— Черт ее знает при чем... Давай на посадку.

— Понял, на посадку.

Полет на устойчивость и управляемость самолета на предельно малых скоростях и больших углах к встречному потоку определяет поведение машины при выходе на критический угол атаки в той последней точке, перешагнув которую самолет или переваливается на нос, переходит в пике, или сваливается на крыло, на хвост, входит в штопор, в беспорядочное падение.

Испытания машины на большие углы считаются и сложными, и опасными. Как и величина критического угла, поведение самолета при выходе за критический угол не может с достаточной точностью быть предсказано инженерами после продувок самолета в аэродинамической трубе. В определенной мере это постоянное неизвестное каждой опытной машины.

В полетном листе снова значились только две фамилии: Лютров и Извольский.

Сгущавшиеся было с утра облака стали расползаться, и после полудня небо почти очистилось.

Они набрали высоту и некоторое время шли на малой скорости.

— Шасси, Витюль...

Извольский выпустил шасси и закрылки.

— Начинаю режим.

Лютров принялся понемногу брать штурвал на себя, скорость все больше затормаживалась, а «девятка» все больше вздыбливалась. 12... 16... 18 градусов.

Слишком поздно Лютров понял, что упустил момент, до которого машина оставалась управляемой... Несмотря на резкую дачу штурвала «от себя», угол атаки продолжал расти: 20, 25, 28... Скорость упала до нуля. Так и должно было случиться. В силу закономерностей аэродинамической компоновки «девятки», с

потерей полетной скорости машину как бы подхватывает, и она перестает слушаться рулей.

«Девятка» падала с одновременным вращением влево. Плоский штопор. Лютров хорошо знал, что «С-14» не поддается обычному способу вывода машин из штопора. Единственная надежда — противоштопорный парашют.

— Сильный рост температуры в двигателях, я выключаю, — сказал Витюлька.

— Парашют! Выпускай парашют!

— Понял!

— Продублируй выпуск аварийно!

Скорость падения машины дошла до восьмидесяти метров в секунду. 4000... 3000 метров. Скоро высота, на которой им предписывалось покинуть машину.

Лютров ждал. Сознание невозможности оставить самолет, от которого зависело столь многое, удерживало на борту не только его самого, но и принуждало держать Извольского. Одному не справиться, если все-таки сработает уложенный в хвостовой части фюзеляжа противоштопорный парашют.

Витюлька несколько раз косился на Лютрова, словно пытался дать понять, что верить в парашют в этих условиях бесполезно.

Лютров знал не хуже Извольского, что парашют предназначен для выпуска перед угрозой сваливания, когда еще есть полетная скорость, вот тогда он сработает, и в момент раскрытия сильным толчком переведет самолет кабинами вниз... А сейчас — штопор, падение... «Да, Витюль, падаем! Я даже не знаю, сможет ли парашют вырваться из контейнера. И вообще, будет ли толк от того, что он раскроется. Но нам никак нельзя бросать машину, ни тебе, ни мне...»

Все это единым дыханием пронеслось в голове, и подумать о чем-то еще не было времени, потому что секундной стрелке оставалось пройти всего лишь треть циферблата... И земля! «Неужели не выйдет?»

— Труба нам, Леша, — сказал Извольский.

«Ждать. Еще... Еще... Высота? 2500... Ждать». Напряжение нервов достигло предела. Лютрову казалось, что это не самолет, а он один ищет опоры для толчка в смертельном водовороте.

— Леша!..

«Девятка» делает небольшой, но ощутимый рывок, нос переползает из пустоты неба к заснеженной земле. Есть. Этого достаточно.

— Двигатели!.. Бросай парашют!

Белое облачко повисает позади самолета. Извольский вывел двигатели на максимальные обороты, убрал посадочную механизацию. И посмотрел на Лютрова.

— Добро, Витюль!

Только бы хватило высоты для разгона. Когда скорость приблизилась к четыремстам километрам, Лютров плавно перевел машину в горизонтальный полет.

Они еще немного помолчали, точно не верили, что летят, а не падают. Высотомер показывал 1800 метров. За сорок пять секунд они потеряли четыре километра высоты.

— Леш?

— Ау?

— А я думал — труба.

— И я думал.

— Ну и состояние, я тебе доложу, а?.. Заметил, какая была скорость падения?

— Восемьдесят метров?

— Восемьдесят метров. А?.. Ну и карусель... Но мы молодцы, чтоб мне так жить! Гляжу, ты как в столбняке, и говорю сам себе: не рыпайся, Лешка больше дров наломает. Ха, ха!.. Нет, мы молодцы!.. Не поверят, а?

Им в самом деле не сразу поверили, что машина побывала в штопоре, но после расшифровки лент самописцев Данилов вызвал к себе Гая.

— Донат Кузьмич, вы уже познакомились с этим? — Данилов показал ему на расшифровку данных приборов.

— Да. Случай исключительный. Помните «Трайидент»? Они разбились тогда.

— Не только «Трайидент». Я восхищен Лютровым. И буду просить Николая Сергеевича как-то отметить его работу.

Услышав от Гая о его разговоре с Даниловым, Лютров сказал:

— Кончится тем, что Старик даст нагоняй за то, что зевнул и закатал машину в штопор. А то и вообще прогонит с машины.

— Думаешь? — Гай ухмыльнулся. — Черт его знает, может, так и будет...

Перед отъездом домой он позвонил Валерии на работу, и пока ждал, молил бога, чтобы трубку взяла не начальница отдела, не скрывающая раздражения из-за необходимости поступаться субординацией, подзывая к телефону подчиненных. Эта дама на другом конце провода заставляла вспоминать о себе.

— Альоу!.. — манерно отозвался тоненький голосок. — Валерию Стародубцеву?.. Минутку...

— Леша?

— Здравствуй.

— Здравствуй. Я так соскучилась.

— Правда?

— Угу. Где я увижу тебя?

— Я заеду за тобой на работу. Убеги пораньше, а?

— Попробую.

...Лютров успел выкурить сигарету, стоя у гранитного парапета Каменной набережной, где находилось учреждение, в котором работала Валерия, пока услышал далеко позади себя ее голос:

— Леша!

Что-то дрогнуло в нем и высвободилось, как после толчка противоштопорного парашюта в сегодняшнем полете.

Она почти бежала к нему в своей белой шубке, а когда встала рядом и увидела на его лице радостную и вместе жалкую, растерянную улыбку, улыбнулась навстречу светло, открыто, вытянула руки, распахивая полы шубки, оплела его шею, прижалась комнатно теплой щекой к его холодному лицу и тут же поцеловала, как вышло, с налету, словно долго ждала его, томилась недосказанным вчера и ждала, чтобы сказать последнее, главное...

И покорно встала перед ним, тихо улыбаясь, довольная тем, что свершила, а Лютров пытался застегнуть ей шубку, чувствуя, как впервые за много лет где-

то в глубине глаз роилась забытая боль жалости к себе попеременно с благодарностью судьбе за стоящую перед ним девушку. У которой, кажется, не было пуговиц на шубке...

— Я очень люблю тебя, Валера.

— Знаю... Давно уже.

...У театральной кассы на набережной им предложили два билета в театр эстрады, где выступал певец-гитарист, на чьи концерты, если верить посиневшему от холода малолетнему субъекту, «весь город валом валит». Лютров посмотрел на Валерию.

— Возьми... Он замерзнет...

В театр они вошли, когда почти вся публика расселась по местам. Зал и в самом деле был переполнен, а по тому, с каким шумом, вдруг взорвавшимся и быстро стихшим, встретили ведущую концерт, Лютров догадался: зрители ждут чего-то необычного. Своим молчанием и подчеркнуто терпеливым стоянием у рампы ведущая требовала еще большей тишины.

Тем временем в переднем ряду справа вдруг обнаружилась улыбающаяся физиономия Гая. Он приподнял руку и несильно помахал ею перед лицом. Повернулась в сторону Лютрова и жена Гая и слишком долго, как показалось, рассматривала Валерию.

— Кто это?

— Наш старший летчик и его жена, Лена.

— Вы часто встречаетесь?

— Да, живем в одном доме. В перерыве я познакомлю тебя, они хорошие люди.

Едва концерт начался, а Лютров уже пожалел, что пришел в театр; так чуждо было все, о чем пел гитарист, тому ожиданию радостных, ликующих звуков, мелодий, с каким он шел сюда, чтобы услышать и разделить их вместе с Валерией. «О чем он? Кого может обрадовать эта степная тоска в его песнях?» — думал Лютров, безучастно глядя, как артист нянчит перед собой гитару, словно больного ребенка, льнет к ней, картинно вскидывая голову и невидяще блуждая глазами над сидящими в полутьме людьми, как сокрушенно покачивает головой в такт томительной мелодии, словно говорит: «Так, да. И это верно, все так, все так...»

Но Лютров не верил ему, усмехался его стараниям напитать скорбью тишину зала и почти не слушал, о чем поется в песнях, бездумно разглядывая, как сухие пальцы артиста нервно вздрагивали, плясали над грифом, то вызывая, то в театральном отчаянии попирая ноющие звуки, четко, выделяясь на лакированной поверхности инструмента.

К нему наклонилась Валерия.

— Тебе нравится?..

— Нет.

— И мне. Уйдем отсюда...

Лютров обрадованно поднялся, они выбрались из ряда кресел и вышли на воздух.

Шел слабый снег, и темнела река, маслянисто отблескивая желтыми бликами огней города.

— Сначала места себе не находила, пока ты не позвонил, пока увидела тебя. Теперь эти песни. Поедем домой, а?..

Захлопнув дверцу такси, Лютров сказал:

— На Каменную набережную, пожалуйста.

— Нет, на Молодежный проспект, — сказала она и прижалась к его плечу.

— Один путь, — улыбнулся пожилой шофер.

— Ага, один, — Валерия неуютнее обняла руку Лютрова и прикрыла глаза.

...Оглядывая книги, модели самолетов и все, что было у него в квартире, она увидела большую фотографию под старинными часами.

— Это он... Твой друг.

— Да, Сергей. Как ты угадала?

— Не знаю... Он так хорошо смотрит на тебя. И вдруг, будто вспомнив о чем-то, она, скрестив руки, зябко охватила плечи ладонями и отошла к окну, взглянула на улицу с высоты седьмого этажа.

— Как это страшно — падение... И нет ничего внизу, кроме смерти... Ты любил Сережу?

Он подошел к Валерии и взял ее за плечи, чувствуя прилив признательности за этот вопрос — как приметку сближения их жизней, понимая, что он невозможен в устах человека чужого и равнодушного.

— Мама знает... что ты у меня?..

Она кивнула, не спуская с него своих больших блестящих и вопрошающих глаз.

— Я ей говорила, что с тобой так все по-новому для меня, и что живешь ты по-особому и в памяти у тебя совсем не то, что у других... Мама не верит. А ведь у тех, кого я знаю, у них будто не было ничего настоящего за всю жизнь. Только и знают, что толкаются по магазинам и злятся: того нет, сего... И все врут. Как на базаре: если правду скажут, так вроде продешевят... Я хвасталась маме, что ты любишь меня.

И опять, приподняв голову, она вскинула на него глаза. «Это ведь правда?»

Когда не можешь понять, куда девать не только руки, но и самого себя, когда тебя пугает желание прикоснуться к ее несказанно юным нежно-вялым губам, когда рядом с ней все вещи в квартире кажутся отжившими, нелепыми и громоздкими, как и их хозяин, самое лучшее приняться за рожденную для бездарей бутылку — вытащить ее из буфета и, подражая модному стилю современных молодых людей из кино, предложить выпить. И даже не предложить, а просто поставить две рюмки и налить в них до половины, словно ты только этим и занимаешься с молодыми девушками у себя в квартире, и они только этого и ждут от тебя...

Когда она наконец у тебя в гостях, в твоём доме, с тобой начинает твориться черт знает что... Мысленно ругая себя, Лютров и в самом деле не знал, чем занять ее, о чем говорить, как вести себя, боялся своей неумелости, неосторожности, самого себя.

— Не знаю, годится ли для тебя это, — он держал на ладони изукрашенную этикетками бутылку старого коньяка. — Есть еще сметана.

Наверное, он выглядел дураком. Валерия улыбнулась, забавно копируя его смущение:

— Была не была — выпьем!..

И выпила целых две рюмки, мужественно проглотив маслину вместе с косточкой...

Она шагнула к нему из темноты большой комнаты и охнула потерянно от своей различимости в сумерках спальни, куда пробивался свет улицы. Ее испуг, беспомощные движения рук, которыми она старалась прикрыть себя, ступая

босыми ногами, как по невидимому льду, выражали столько целомудренной незащищенности, отчаяния от неизбежности происходящего, что вся любовь Лютрова вдруг обратилась в щемящее чувство вины и жалости. Сквозь ее решимость и обезоруживающую неумелость проглядывала та слепящая сила чувства, с каким, наверное, бросаются в омут.

Затаившись в тишине, они вместе берегли открывшееся, оно было прекрасней красоты звездного неба, прекрасней всего, что дано познать одному человеку... Потом это приходило вновь, оттесняя мир в небытие, и он, даже не он, а кто-то другой в нем, пьянея от счастья возвращения несказанного, касался ее коленей, в наивной уверенности, что и она с равным нетерпением ждала этой минуты.

Уснула она первой. А он, чувствуя на руке голову Валерии, никак не мог определить, чем пахнут ее волосы. Так пахнет кожа, пропитанная морем и обожженная солнцем, но к этому запаху примешивались другие, едва уловимые, они исходят только от девичьего тела и напоминают о себе откровенно и властно, они говорят больше, чем ты в состоянии понять, они влекут, оставаясь неопределимыми.

Он был уверен, что не заснет. Сон казался ненужным стариковским делом, пустым занятием. И он решил просто ждать следующего дня. Ждал, запрокинув лицо вверх, прислушиваясь к ее легкому дыханию, ждал, боясь шевельнуть рукой, которую она подложила себе под голову, и заснул с ожиданием рассвета.

...До подбородка укрытая одеялом, Валерия смотрела на все, что было в незнакомой комнате, так, будто не спала минуту назад, и почему-то вспомнила осень в Перекатах, долгий ряд тонконогих оранжево-огненных кленов на песчаной улице... Было утро и тепло, как летним днем. Бабушка, сидевшая спозаранку на рынке с корзиной яблок, сказала ей, вернувшись домой, что у калитки ее ждет «кавалер с велосипедом». Она вышла к Владке в голубом сарафане, надетом «на ничего», в тапочках на босу ногу и чувствовала себя удивительно легкой, и еще ей захотелось похвастать своей неприбранностью. Возбужденная чем-то неясным, простоволосая, совсем не чувствуя под сарафаном своего вольного в ладных изгибах тела, она стояла перед ним небрежно, держа одну руку на талии, а в другой — кленовый лист, покусывая его за стебелек. И слушала, и глядела на него равнодушно. «Ничего ты не понимаешь», — упрямо думалось ей. И вдруг, прерывая глупый разговор, она приподняла вверх правую руку, будто затем, чтобы показать царапину возле мышки от лазанья по яблоням, а на самом деле, чтобы выказать округлившуюся полнеющую грудь, которой сама любовалась полчаса назад перед зеркалом, оставшись одна в доме, и была очарована своей схожестью с грациями Торвальдсена, которых видела в журнале «Искусство».

Все это было ужасно давно, в позапрошлом году. И прошлое смешит ее. Улыбаясь, она проводит ладонями по бокам в порыве благодарности к своему телу, будто оно само по себе решилось на то, на что она, казалось, никогда не отважится и что напоминало о себе нетрудной тайной болью.

Все еще улыбаясь, она выскользывает из-под одеяла и убегает в большую комнату.

...Видимо, радость проснулась в нем раньше, чем проснулся Лютров, потому что он не сразу понял причину нетерпеливого интереса к наступающему дню, в силу привычки связывая появление радостного беспокойства с предстоящей работой, но тут же усмехнулся: забыть такое недавнее и восторженное! Комната, освещенная глядевшим в окно прямоугольником

облачного неба, выдавала присутствие второго человека, а осязательная память рук доказательнее всего напоминала о реальности счастья.

— Проснулся?

Повернувшись, Лютров обнаружил ее стоящей у двери. Валерия была одета, и отчего-то странным, нелепым выглядело сегодня ее красивое платье. Клоня голову к левому плечу, она не спеша водила гребнем по длинным волосам, переложив их на одну сторону. В какой-то обязательной полуулыбке, в нарочитой медлительности, с какой она обращала к нему глаза, отвлекая их от пальцев с гребнем, было что-то настораживающее... Она даже не воспользовалась зеркалом, всем своим видом давая понять, что чужая здесь.

— Ты... хочешь уйти?

— Нет, просто оделась.

— Иди сюда... Что с тобой?

Она старалась не смотреть на него и улыбалась той трудной улыбкой, которую нельзя унять, так близко от нее до слез.

Валерия склонилась над ним, прикоснулась к щекам холодными от воды ладонями, укрыла и его и свое лицо опавшими волосами, тяжелыми как стеклянное волокно.

— Где ты была столько лет, Валера?

— В Перекатах, — она пыталась шутить, но едва сдерживалась, чтобы не расплакаться.

— Я кофе поставила... Будешь пить?

Лютров кивнул, и она убежала на кухню. Он накинул халат, поглядел на небо. Далеко в поднебесье проносились легкие облака, из тех, что не мешают работе.

— А хорошо быть женой! — крикнула она из кухни. — Ходишь по квартире, командуешь, ругаешь всякие мужские вещи... Мне идет?

Повязанная подборием передника, с румянцем на скулах, с открытой улыбкой удачливого человека, она и не догадывалась, как была хороша. Веселое настроение удивительно шло к ней. А что не шло?..

Он встал рядом с ней, положил руки так, чтобы не дать ей спрятать лицо, поглядел в глаза — они тоже норовили спрятаться от него, как от свидетеля минувшей ночи.

— Не жалеешь?

— Не-а...

Она принялась теревить пальцами борта его халата.

— Я ведь совсем не понимала, правда... Просто для тебя хотелось. Шла и думала: будь что будет! А как выпила коньяка... Баба пьяна — вся чужа, как говорит бабушка...

— Значит, мы будем вместе?

— Мужем и женой?.. А ты... теперь захочешь?

— Валера, что с тобой?..

Ни с того ни с сего, как ему показалось, она уткнулась лбом в его грудь и разрыдалась. Только тогда Лютров понял, насколько разное то, что случилось с ней и что с ним. Он прижал к себе ее голову, ласково поглаживал ее, и без конца повторял вдруг пришедшие на память мамины слова: «Капелька моя...»

Провожая ее на Каменную набережную, он думал, как хорошо бы, как нужно сегодня никуда не ехать, никуда не выходить, посидеть с ней дома, весь день, приласкать, успокоить.

Чтобы не звонить к ней на работу, он дал ей ключи от квартиры и три

вечера подряд заставлял Валерию дома.

Ей все нравилось у него — мебель, книги, старинные часы, большая ванная комната, ружья на стене в спальне и шкура гималайского медведя.

Поднимаясь в лифте, Лютров гадал, застанет ли он ее на этот раз, и чем ближе поднимался к своему этажу, тем больше волновался. Волнение переходило в спокойную радость, если в ответ на его звонок слышалось шлепанье тапочек и доносилось из-за двери:

— Это ты?

А затем уж открывалась дверь, и она висла у него на шее. Валерия была далеко не легкой, и он изрядно напрягался, чтобы удержать ее, но радости от этого не уменьшалось.

— Что, соскучился? — спрашивала она, делая ему рожицу, затем тыкалась губами в щеку, велела мыть руки и бежала на кухню готовить ужин.

...Иногда по вечерам к Лютрову по старой памяти приходил Шурик, чтобы посмотреть «большой хоккей на большом экране», и Валерия принималась с таким удовольствием потчевать парнишку чаем и пирожными, что у Лютрова саднило на душе.

«Боже, неужели случится это, и она родит мне сына, — думал он, глядя на них. — И я увижу их вдвоем, услышу их голоса, смех, и все это будет принадлежать и мне?..»

Позднее, сидя перед зеркалом в мохнатом халате, она вдруг спросила:

— Отчего ты такой?

— Какой?

— У тебя измученные глаза. Я еще раньше заметила.

— Наверное, устал...

— Нет.

— Нет?

— Ты не хочешь говорить правду.

Она быстро поднялась и подошла к нему, с каким-то новым выражением взглянула ему в глаза.

— Я знаю.

Привычно, скользящим движением оплела руками его шею, прислонилась головой к плечу и минуту молча стояла так, а он боялся пошевелиться. — Боишься говорить... что хочешь сына?

— Куда мне...

— Скоро тебе нужно будет только захотеть... Ты все будешь решать сам. Ведь осталось совсем немного?

— Вот освобожусь и... тогда?

Она кивнула. Он понял это по тому, как она шевельнула головой у него на плече.

Первоначальный замысел разработчиков предусматривал затормаживание штурвала автоматом дополнительных усилий на границе допустимых перегрузок: возрастающее сопротивление колонки рукам летчика должно восприниматься как предупреждение об опасности.

После трех полетов Лютров пришел к выводу, что эти гарантии недостаточны, и обескуражил разработчиков отрицательным отзывом.

— Во-первых, штурвал нетрудно протянуть через все эти пульсирующие остановки. Во-вторых, настройка автомата не предусматривает его

подключение на виражах, где с не меньшим успехом можно развалить машину...

У ведущих инженеров бригады автоматики КБ были недовольные лица. Согласиться с летчиком — значило для них перечеркнуть часть уже проделанной работы, что-то начинать делать заново.

— Алексей Сергеевич, — возражал ему один из руководителей бригады, — на виражах до сих пор прекрасно справлялись пружинные загрузатели: при больших дачах штурвала — большие усилия. Чтобы выйти за допустимые перегрузки, нужно преодолеть весьма ощутимое сопротивление пружин... Долотов считал это вполне достаточным сигналом и дал прекрасную характеристику работе пружинных загрузателей на виражах.

— Что годится Долотову, не годится рядовому летчику. В полете с боевым грузом на борту нет времени гадать, ощутимо, нет ли сопротивления пружинных загрузателей.

Инженеры из группы автоматики не уступали. Несколько дней они добивались от Данилова разрешения провести полет на виражи, уверенные в своей правоте. Данилов потребовал решение методсовета и после его согласия подписал полетный лист.

...Лютров ввел «девятку» в крен, насколько позволяли рули, а затем энергично взял штурвал на себя. Машина послушно сменила направление полета. Опасаясь чрезмерных перегрузок, он предупредительно отвел штурвал от себя, но перегрузки продолжали расти, превышая ограничения. Реакция машины на обратную дачу штурвала пришла с запозданием, а затем и отрицательная перегрузка ушла за пределы ограничений. «Девятка» перестала слушаться... Так неожиданно для себя и для инженеров КБ Лютров ввел самолет в раскачку, послужившую причиной катастрофы «семерки».

Зажав штурвал в нейтральное положение по усилиям, он все-таки не очень верил в однозначность принятого решения. Выждать, как бы ни было нестерпимо бездействие, выждать! Это было насилие над собой, укрощение многолетних навыков, ставших второй натурой... Он понял теперь, каково было Жоре Димову.

— Приготовиться к катапультированию!

Видел бы он лицо Витюльки в эту минуту. Отлично понимая, что Лютров не мог, занятый самолетом, сделать то же, Извольский притворился, что не слышал команды.

Лютров ждал, сработают ли демпферы тангажа, справятся ли?

Почувствовав, что колебания затухли, он не сразу поверил, как если бы происшедшее было лишено здравого смысла. Но раскачка прекратилась, он вывел «девятку» из крена и взял курс на аэродром.

— Витюль, возьми управление.

Лютров закурил и посмотрел на катапультное кресло Извольского. Красно-белые ручки, которые приподнимались при подготовке к катапультированию, оставались на своих местах. Державшийся за рога штурвала Витюлька, сощурившись, следил за курсом с видом оскорбленного в лучших чувствах.

«Обиделся, чудило!» — решил Лютров и, рассмеявшись, похлопал его по каске защитного шлема.

...В начале февраля они передали машину на госиспытания и неделю прожили на знакомом аэродроме, откуда Лютров летал на «С-44». Оценочными полетами занялся молодой и довольно решительный полковник, ухитрившийся не без труда снова ввести «девятку» в раскачку, но отмеченные величины

перегрузок едва превышали норму. После перенастройки автоматов они с Извольским принялись провоцировать все возможные обстоятельства, вызывающие раскачку. Лютров делал рывки штурвалом на всех режимах по десяти—пятнадцати раз в полет, но автоматы срабатывали безукоризненно, самолет отказывался реагировать на явную глупость движений.

— Штурвал оторвать не боялись? — спрашивали у Лютрова повеселевшие инженеры КБ, когда по записям определяли, с какой силой он пытался это сделать.

Там же они провели полеты на отказы всех автоматических систем, в том числе в условиях взлета и посадки. Как и все испытания у земли, работа требовала максимальной собранности. «Девятка» отвечала всем требованиям для машин своего класса. Автоматика на управлении обеспечивала самолету надежность полетов в любых практически возможных условиях и работала с быстротой и точностью инстинкта птицы.

После сдачи машины Старик подарил Лютрову модель самолета с собственноручной надписью, на которой прошелся резец гравера: «За мужество и находчивость при испытании опытного самолета. Соколов».

Вернувшись домой, Лютров поставил вещь на верхнюю полку книжного стеллажа, подальше от рук несчастных гостей, минуту глядел на ювелирно сработанную игрушку, задиристо вздернувшую к потолку острый нос, и невольно подумал, что это самый дорогой подарок ему за всю жизнь. Но только потому, что он любил Старика и дорожил его признанием. Рождение подлинника крылатой миниатюры было сверх меры оплачено тем, чем до обидного скупо наделены люди — их жизнью.

Он позвонил на следующий день, к вечеру, так и не дождавшись ее звонка. Все тот же голосок неумоимо протянул свое «Альоу?»

— Валерию, пожалуйста.

— Кто это говорит?

— Вы знаете всех ее знакомых?

— Нет, конечно, но она у нас уже не работает.

— Не работает?

— Да, Валерия... Вы имеете в виду Стародубцеву?

— Да.

— Она уволилась... Когда? С неделю уже, говорят...

«Вот оно что!.. Это должно было случиться. Она не позвонила ни вчера, ни сегодня. Вот что значили все ее недомолвки, неопределенности... Предчувствие. Только для тебя оно становится бедой. Искать ее бессмысленно, как подзывать убегающего зайца... Ты хотел, чтобы тебя любили?.. Много чести. Что у тебя есть? Молодость? Красивая внешность? Или ты знаменитый режиссер, актер?..»

На письменном столе в маленькой комнате стояла фотография Валерии. Большие глаза чуть прищурены, а губы приоткрыты, но не в улыбке, а в том выражении озорства, которое как бы говорит: снимайте же скорее, а то рассмеюсь и ничего не получится...

«Вот и все», — подумал Лютров и отвел глаза от портрета. Усевшись перед телевизором, он принялся смотреть все подряд, тщетно пытаясь вдуматься в происходящее на экране, не понимая, о чем говорят, что показывают, куда движутся машины, поезда, пешеходы.

Началась пьеса о старом художнике, заболевшем в какой-то дрянной гостинице. Это был очень богатый художник. И очень умный. Автор заставил его умирать величественно, как то и подобает великому человеку. Он оцетинил его мудрыми сентенциями, разящими наповал всяческую дрянь в людях, которые по разному поводу оказывались у его одра. Половину пьесы художник вспоминал, как попал в гостиницу и куда делись взятые им в дорогу ящики с картинами. О том же думали его друзья и враги. Но Друзья опередили врагов и отыскивали картины. Это должно было случиться, потому что старик знал, кому довериться, умел выбирать друзей, как в молодости любовниц: одних по душевным качествам, других по оттенкам кожи. Он был до конца свободен и самостоятелен. Актер. верил в своего старика и хорошо изображал его. Это был настоящий умирающий старик, каким и надлежит быть человеку рядом со смертью и каким он никогда не бывает столь продолжительно. «Теперь пусть уходит». Так называлась пьеса. Теперь. А раньше, видимо, было не с руки. Непонятно, кому принадлежало это пожелание: врагам? Друзьям? Автору?

«Автору, — решил Лютров. — Врагам наплевать, когда он окочурится, друзьям не к лицу такое пожелание... Пример тому, как далеки они, книжные мудрецы, и их проникновенная словесность от жизни. Ради чего пишутся эти пьесы, книги? Для чего и для кого рождена эта иллюзия? Таковы современные сказки на языке Запада... И самые лучшие их писатели в отчаянии от бессилия привнести разуму ближних что-либо, кроме иллюзий, предваряют книги усталой фразой Екклезиаста, омывая тщету жизни и немощь слова реабилитирующим раствором скепсиса: «И восходит солнце, и заходит солнце, и возвращается ветер на круги своя...» Так смыкается круг мудрости наставников человеческих душ... Что же может сказать мне вот этот и ему подобные? Во что помочь уверовать, в чем убедить? Лучше уж читать словари... Там — жизнь изреченная, там все есть о людях и нравах, о боли и смерти... И нет иллюзий. Их страницы ведают обо всем; и не может быть в тебе такой раны, коя не вопияла голосом твоих пращуров.

«И твоя боль — тоже там, горечь ее знакома праотцам...»

Лютров переключил телевизор. Вспыхнула миловидная дикторша и объявила о начале заграничного фильма. Вдоль экрана побежали хлопья, сливаясь в дрожащие яркие полосы. Они то возникали, то исчезали, и наконец Лютров понял, что помехи — от звонка в квартиру. «Она! »

Лютров бросился к двери, рывком растворил и увидел жену Гая.

— Ты?.. Почему?..

— Здравствуй. Пропусти человека... Что это с тобой?

— Что может быть со мной?.. Все может быть. И с тобой тоже.

Лютров говорил медленно и неохотно, как от великой усталости, не замечая, что выглядит негостеприимно.

— О чем ты говоришь? Помоги мне раздеться...

Она прошла в комнату впереди него и огляделась.

— Ты один? — брови ее изумленно изогнулись.

— Уже нет. Теперь нас двое... — Лютров махнул рукой и подвел ее к креслу.

— Лена, ты не знаешь, по каким законам любят? — он указал рукой на экран телевизора, где молодые герои, сцепившись в «итальянском» поцелуе, никак не могли прожевать его. — Или это сплошное беззаконие?

— Вот уж не ожидала встретить тебя такого... Ладно Гай хандрит, он простудился, а ты чего? Случилось что-нибудь?

— Ничего не случилось... Просто у нее... не хватило духу стать моей женой...

— Ах, вот что... Она сама сказала об этом?

— Проще ведь ничего не объяснять, а взять и... исчезнуть. Она уволилась с работы неделю назад и...

— И ты, конечно, в панике... Позвони домой.

— У нее нет телефона. ..

— Сходи.

— Зачем? Что я буду говорить ей?

— Не паясничай... Я видела тебя в театре. У тебя было такое лицо, будто ты проснулся.

— Спасибо.

— Не на чем.

— Как видишь, ей наплевать на мое лицо... Но мне нехорошо, Лена. Когда мы втемяшились в грозу и Боровский выволакивал машину из геенны огненной, это бог, а не летчик, а я... которого Старик целовал, когда дарил эту игрушку, вон она... я, вместо того чтобы по-настоящему работать... думал о ней... Э, ладно. Гай знает, что ты здесь?

— А если нет?

— Ничего, да?.. Однажды эта девушка сказала мне: «Здравствуйте». В первый раз увидела и — «Здравствуйте»... А я вспомнил твои слова: «Как ты можешь жить один?» — и подумал: «Господи, если бы она полюбила меня!..» Но ничего. Ничего... Говорят, ко всему можно привыкнуть. Но я все-таки подожду ее, а?.. Дня три-четыре. С людьми всякое бывает... Чему ты улыбаешься? Я говорю ерунду?..

— Конечно. В ее возрасте не умеют по-бабьи подличать... Может, обидел ее чем-нибудь?

— Что ты!..

— Тогда все будет хорошо. А сейчас... налей мне чего-нибудь. Есть у тебя?

— О!.. Что скажет Гай?

— Пусть говорит, что хочет. Сегодня у меня есть причина распутничать...

— Господи, что ты говоришь? Какая причина?

— Твой день рождения, балбес!

— Леночка!..

Вытаскивая початую бутылку коньяка из буфета, он уронил стопку фарфоровой посуды. Жена Гая захлопала в ладоши.

— К счастью!.. Держи. Это тебе от нас, — она вытащила из сумочки и положила ему на ладонь золотые запонки. — Дай я тебя поцелую.

— Тоже от вас?

— Нет, от меня... Ну, расти большой и не будь лапшой.

— Спасибо, Лена. Я и в самом деле балбес. Обо всем забыл.

...Стоя у окна и глядя на затихающую улицу, Лютров вспоминал день годовщины гибели экипажа «семерки».

— Когда-то, за прорву веков до нашего времени, — говорил Гай, — в какое-то мгновение оставленной позади бездны времени родилась у человека страсть созидать. И что-то вышло из его рук первым — сосуд, игла, сеть, наконечник копья... Может быть, что-то еще, но они были, эти первые шаги... И вот теперь говорят: как далеко пойдет человек? Он уже прошел путь от наконечника копья к острию ядерной головки ракеты, от мечты уподобиться

птице к оглушительно ревушему крылатому гиганту? Не слепы ли мы в безоглядной нежности своей к ревущему зверю? Убережет ли он человека?.. Но мы хотим быть сильными как раз для того, чтобы сохранить жизнь на этой теплой сиротливой планете, и мы должны работать...

«Ты прав, Гай. Оставим девиц с их благоухающей кожей и несказанно прекрасными лицами. Путь их... Все было позади — и хорошее и дурное... Тебя может забыть любимая женщина, но ты до конца дней останешься в памяти тех, кто разделил с тобой время полета, кто отдал ему все, что может отдать человек... Это навсегда с тобой, и те, кому потом предстоит жить на земле, не упрекнут нас в праздности.

Но... в чем ты можешь упрекнуть ее? Разве она была неискренна? Человек должен уйти, если не может любить... Когда самолеты не могут больше летать, их буксируют на дальнюю стоянку и забывают о них. Крылья теряют серебряный блеск, становятся свинцово-серыми, чехлы выжигает солнце, треплет дождь, мороз...

Но смогу ли я забыть тебя, Валера? Разве можно тебя забыть? Где ты?..»

Полетов на базе не было. Тучи жались к земле, аэродром не успевали очищать от снега. Еще затемно снегоуборочные машины принимались теснить и отбрасывать сугробы с бетонных полос. По пока их караван добирался до конца поля, снег успевал укрыть расчищенное пространство, и все повторялось.

Бездеятельность усугубляла состояние Лютрова, не позволяла хоть на малое время освободиться от угнездившегося в нем чувства обиды... «Как же так? — то и дело думалось ему. — Ведь она все позволила?.. Как же он может теперь не видеть и не слышать ее?..»

От нечего делать летчики день за днем толпились в комнате отдыха. Молча дымили над шахматами, лениво спорили, о чем придется, а во второй половине дня, когда давали отбой на полеты, все разъезжались.

В один из таких дней перед разездом к Лютрову подошел Долотов.

— Леша, у тебя какая работа?

— Куда пошлют.

— Мне, понимаешь, уехать нужно на пару недель, — Долотов отвел глаза в сторону. — А тут Данилов уперся — надо программу кончать, в КБ эти полеты ждут... Вот-вот, говорит, погода будет. Жди... Смотри, как обложило.

— Что за полеты?

— Простые. Два на высотное оборудование — аварийное снижение, и два на малых скоростях для проверки работы закрылков. Небольшая модернизация... Слетаю за меня, а? Может, погоды и не будет, я успею вернуться.

— Иди, скажи Данилову.

— Ага, я сейчас.

Долотов убежал, но тут же вернулся, нахмуренный, с побелевшими скулами.

— Не пускает?

— «Извините, не могу...» Имею я права на отпуск или нет?..

— Имеешь. Только не дури... Подожди меня здесь.

— Просить пойдешь?

— Разговаривать. Не уходи.

Данилов стоял перед отсиненными на больших листах чертежами

гидравлических схем и по-стариковски водил по ним красным карандашом, прослеживая работу цепей.

— Алексей Сергеевич?.. Вы насчет замены Долотова? Угадал? Я ничего не имею против, поверьте... Но мне звонит какая-то дама от имени его супруги... Эти кляузы, увольте!..

— Петр Самсонович, я случайно узнал, что Долотов... Только не выдавайте меня... Он каждый год в эту пору ездит на могилу матери. И поскольку не хочет говорить об этом, вы понимаете...

— Боже мой, а я-то, старый дурак, вообразил... И эта дама. Фу, мерзость какая... Какие-то намеки... Послушайте, а почему он своей супруге ничего не хочет рассказать? Она не стала бы беспокоиться...

— Ну, откуда мне знать... Гай говорил, что живут они дружно. Попробуй тут понять.

— Н-да, ничего не поделаешь... Зовите его ко мне.

— Только вы ничего не знаете.

— Можете не повторять... Не путайте меня с Юзефовичем, хоть я и занял должность начальника комплекса.

Долотов стоял у окна и резко обернулся, вглядываясь в лицо вошедшего Лютрова.

— Шагай к Данилову.

— Ну?

— Иди, тебе говорят. Я подожду.

Вернулся он через пять минут. Узкое лицо Долотова выражало недоумение.

— Чем ты улестил его?.. Вот фокус. Данилова не узнать. И вообще, Лешка, за что тебя мужики любят, а? За рост, что ли? Так это вроде бабье дело — рост. Даже Извольский тебе не завидует. Спасибо, Леша. Надо будет — шумни, я в долгу не останусь.

— Не хочешь одалживаться?

— Да нет, я не об этом, — Долотов улыбнулся. — Ты говорил о свадьбе, вот я и подумал...

Вечерами Лютрову не хотелось возвращаться домой. Он допоздна бродил по городу, дважды, стыдясь каждого прохожего, прошелся вдоль Каменной набережной от моста до моста.

И в этот раз он оказался у подъезда дома за полночь. Проходя мимо своего почтового ящика, он увидел втиснутые в щель газеты и вспомнил, что неделю не открывал его. Внизу, под смятыми газетами, лежал белый конверт.

Лютров не мог объяснить себе, чего он испугался. Может быть, боялся потерять последнюю надежду? На конверте не было адреса, значилась только его фамилия.

Маленький листок письма дрожал в одеревеневших непослушных пальцах, Лютров едва отыскивал последние слова: «...твоя Валера».

Поднявшись к себе, он, не раздеваясь, сел в кресло и уже не мог, да и не хотел сдерживать себя, чувствуя, как вместе со слабостью, с изнеможением приходит врачующее освобождение от подавленности последних дней.

Рука словно сама по себе поднесла к глазам фиолетовые строчки на тетрадном листке.

«Леша, любимый мой! Заболела бабушка, и я не могла не уехать, она ведь совсем одна. Я ждала тебя до самого отъезда и пишу, когда уже не осталось времени до отхода поезда. Самолеты не летают, от станции придется

добираться автобусом. Как приедешь, позвони в Перекаты Колчановым, они меня позовут. Я буду ждать. Крепко целую тебя, твоя Валера».

...Прижав ладони к ушам, девушка за стеклянной перегородкой телеграфа не отрывала глаз от толстой книги.

— Девушка, вы добрая?

— Не знаю... А вас надо пожалеть? — она с интересом посмотрела на позднего посетителя.

— Ага. Нужно дозвониться в Перекаты, но есть только адрес и фамилия абонента.

— Попробуем, — она взялась за ручку, и Лютров заметил сильно испачканные чернилами пальцы. — Область? так... Город? Улица... Колчанов?.. Так. Подождите.

Он сидел, вставал, выходил на улицу покурить, возвращался и снова сидел, глядя на неутомимую девушку за стеклянной перегородкой. Скоро ему стало казаться, что все телефонистки заснули, и эта в конце концов откажется от непрерывных запросов и пошлет его спать. А может, и нет?.. Вот она принялась выговаривать кому-то, словно ей лично понадобилось поднять с постели Петра Саввича Колчанова, живущего где-то у черта на куличках. И когда Лютрову стало жаль ее и хотелось оставить все до утра, она сказала ему свойским голосом:

— Пройдите во вторую кабину.

Лютров взял трубку и сказал:

— Алло!

Но в ней шипело, скрипело, умолкало, появлялись невразумительные обрывки слов и наконец строгий голос сказал:

— Одну минуту!.. Говорите.

— Это квартира Колчанова! — сказали в трубке.

— Мария Васильевна? Здравствуйте!.. Лютров говорит! Алексей Сергеевич!.. Вы помните меня?.. Узнали? Слава богу!.. Простите, что врываюсь к вам ночью, мне очень нужно поговорить с Валерой!.. Да, да. Не могли бы вы позвать ее?.. Это, кажется, недалеко от вас?.. Вы меня очень обяжете, очень!.. Спасибо, жду!..

Лютров для чего-то переложил трубку к правому уху, словно перестал доверять левому, и услышал мужской голос:

— Алексей Сергеевич? Здравствуйте!..

— Петр Саввич?

— Я!.. Откуда это ты?

— Издалека. Извините, что разбудил.

— Понял, ничего. Валера прямо измучилась ожидаючи... Сейчас придет. Маша побежала... Да вот они!..

— Леша!..

— Я, Валера!

— Почему так долго не звонил?.. Я... Ты ничего не знаешь.

Ему послышались всхлипы.

— Что с бабушкой? Почему ты плачешь?..

— С бабушкой ничего... А ты... Бабушка выздоравливает.

— Перестань... Что о тебе подумают?

— Ты ничего не знаешь... У нас будет ребенок...

— Валера!.. Ты сказала, что я твой муж?

— Нет...

- Скажешь?
- Как ты велишь.
- Господи, сейчас же! Ты слышишь?
- Да.
- Я приеду за тобой.
- Когда?
- Потерпи немного. Я жду погоды... Недельку, может быть.
- Только дай телеграмму, я встречу.
- Непременно. Ты больше не плачешь?.. То-то же. Поцелуй меня.
- Целую.
- До свиданья. Поблагодари Колчановых.
- Хорошо. До свиданья!..

Покинув будку, Лютров не сразу пришел в себя, немного оторопев и от известия о ребенке, и от несообразности только что звучавшего голоса Валерии и ее пребывания за тридевять земель. Он еще не вернулся оттуда, где была она.

Лютров подошел к окошку в стеклянной перегородке и наклонился к девушке. Получив деньги, она спросила:

- Все в порядке? — глаза ее выдавали услышанное. Лютров кивнул.
- Вы не только добрый, вы необыкновенный человек!.. Одно у вас плохо.
- Плохо? Вот видите... А что?
- Вы оттираете пальцы мокрыми спичечными головками.
- Правда, — девушка посмотрела на свои пальцы.
- Вот вам за это, — он протянул ей свое «золотое перо». — Эта ручка не пачкает... До свидания. Спасибо вам!
- До свидания...

Поднявшись к себе, он заново прочитал записку Валерии.

«У тебя будет сын, — думал он, улыбаясь. — Появится на свете Никита Лютров... Только, может быть, черненький и с большими материнскими глазами... И заживет где-то впереди тебя... Большого мне не надо...»

Спать не хотелось. Он просто забыл, что пришло время сна. Он встал у окна, снял галстук и расстегнул одну за другой пуговицы на рубашке.

Оконные стекла затуманились потоками дождя вперемешку с мокрым снегом. Лениво изгибаясь, текли по стеклу ручьи, ползли, повторяя их путь, отяжелевшие хлопья мокрого снега... А он не видел ни дождя, ни снега, не чувствовал холодных порывов влажного ветра за окном. Он забыл о времени... Что произошло на свете?

Может быть, тебе снова десять лет, ты поднял глаза к пронизанному солнечным светом огромному небу, увидел вдруг, как в нем свободно, и тебя впервые коснулось неодолимое влечение в его беспредельность, желание обрести крылья. Или ты только что впервые поднялся в воздух и тебя захлестнула радость полета?..

Нет, тебе не десять лет, и не жуткая, как страх, впервые вспыхнула в тебе страсть к высоте — это вместе с радостным изумлением от известия о твоём отцовстве пришло чувство постижения вершинного смысла жизненного пути, и все, что открывалось теперь, было и ново, и величаво, и просто.

И вдруг вспомнилось вот такое же слякотное время первой послевоенной осени, солдатский эшелон... Постукивали на стыках рельсов колеса, скрипели старые вагоны, а по сторонам дороги без конца и края, сливаясь с дымной

паморкой на горизонте, тускло желтели пажити.

Ты стоял вместе с другими курсантами, прижавшись к деревянным поперечинам раздвинутых дверей, пел что-то, о чем-то спорил...

И вдруг замолчал. И все замолчали. В ста шагах от железнодорожного пути под морозящим дождем стояла одетая во все черное маленькая, высохшая старушка. Стояла, крестилась, легко, как веточкой, взмахивая белой кистью руки, и все кланялась, кланялась эшелону, замирая в поклонах...

Вокруг — ни души, ни дорог, ни дома... Поля, далекий чахлый лесок и темная фигура Матери, застывшей в долгом поклоне солдатскому эшелону...

Ты не говорил тогда никаких слов. И никто не говорил.

Но ты впервые понял настоящую цену своим рукам, своему труду, узнал то, что познается сердцем. И еще узнал, что нет на земле награды дороже, чем поклон матери, и тебе захотелось взвалить на свои плечи эти нелегкие чужие обязанности...

Ты готов был взять на себя втрое больше перенесенного старой матерью.

Ты сам избрал свою работу. Она не оставляет праздными ни руки, ни мозг, ни сердце. Случалось, тебе было по-настоящему трудно, но все, сделанное тобой за долгие годы, отзывается в твоей памяти радостью светлой и жизнотворной, как любовь.

У человека нельзя отнять вечность, он ею не обладает. Но ему дано великое счастье быть частицей бессмертия своего народа. И если когда-нибудь старая мать поклонится солдатскому званию твоего сына,— значит, жива Родина, жив и ты в своем сыне.

Ради тех, кто будет жить после тебя, ради них и оберегается этот мир силой и совестью таких же рабочих людей, как и ты, Алексей Лютров. В этом твое призвание.

Как за памятниками защитников земли твоей, прославленных и безымянных, — святая праведность сегодняшнего дня, так в буднях твоего труда — опора и напутствие будущему.

Все та же фотография Валерии на письменном столе. Но что в ней изменилось?

Отчего такими бездонными, полными таинственного смысла кажутся ее прищуренные глаза?

И откуда вдруг столько беспокойства из-за вот этого ее беззаботного выражения озорства на лице? И совсем уже непонятен порыв пожурить ее за легкомыслие...

Он так и не понял, что увидел в знакомых чертах ее лица иную прелесть — то, чего нельзя увидеть ни у кого; кроме матери твоего ребенка.

Из большой комнаты доносился размеренный стук старинных часов.

В то время как аварийная команда, выбравшись из вертолетов, спешно сооружала помосты над хлябью болота. чтобы до темна успеть добраться к

обгоревшим останкам «С-224», Алексей Лютров сидел, навалившись на ремни катапультного кресла в носовой части фюзеляжа, еще в воздухе отброшенной взрывом на четверть километра от места падения машины. Заполняясь водой, шестиметровый обломок медленно погружался в топь небольшой мочажины, скрытой плотной и высокой чащобой ольхового кустарника.

Стояла оттепель с короткими, но частыми снегопадами. И ко времени обнаружения вертолетами дымящихся обломков снег старательно укрыл все длинное блестящее острие, превратив его в чужеродный полету неуклюжий холм, тускло желтеющий внутренней окраской на стороне излома.

Тяжелая стойка передней ноги определила положение кабины: кресло лишь слегка наклонилось вправо, как если бы самолет приземлился без правой тележки шасси. Голова Лютрова привалилась к плечу; из-за шлема, по его кромке у правого надбровья, пробивался ручеек крови; опадая частыми крупными каплями.

Очнувшись и приоткрыв глаза, он минуту разглядывал воду у ног, пытаясь восстановить в памяти все, что произошло с самолетом.

«Я сделал аварийное снижение до высоты захода на посадку... и тут дважды выпускал и убирал закрылки... Потом стал разгоняться и... зверский удар в спину... Почему вода?... Машина развалилась, значит... значит?... Что это значит? Закрылки не убрались и во время разгона... сначала отломилось крыло, потом рванули баки... Толчок в спину... А может, и не так?»

Он приподнял голову, потянулся руками в направлении пояса, где сходились пряжки ремней, но руки застыли на полпути... Злобная сила режущей боли хлыстом ударила в спину, пронизала пах и разом, как петлей, перехватила дыхание.

И опять руки повисли по сторонам кресла, голова привалилась к плечу, темный ручеек принялся пробивать новый след, капли падали па ткань высотного костюма и расплзались вытянутым книзу пятном.

Несколько минут он оставался без движения, ожидая новый приступ смертных мучений. Лютров приподнял голову и прижался затылком к высокой спинке кресла.

Он глядел вверх, на падающий снег, мало-помалу укрывавший остроугольное сочленение двух плоских лобовых стекол кабины, и ждал.

Правый глаз стало завлакивать желтой пеленой. Он медленно поднял руку, провел пальцами по слипающемуся уголку век, вытянул руку на коленях и поглядел на окровавленные пальцы. Они были вспухшими и незнакомыми.

«Какая, она старая, моя рука», — подумал он, обнаружив вялую сеть морщин на ладони, разделенной глубокими складками. Он шевельнул пальцами, попытался сжать их вместе, но сил для этого не было. Пальцы разошлись и застыли лапой большой мертвой птицы.

«Старая птица», — повторил он, беззвучно шевеля губами, чувствуя на них ту же липкость, что и на глазу, но не стал вытирать. Он уже знал главное: тело его разбито так, что ему не выбраться из кабины. «Если умирать, то не все ли равно где...» Сковавшая спину и рвущая внутренности боль не проходила, не давала думать, и потому, наверно, память бессильно кружила неподалеку, рождая совсем ненужное. Когда боль становилась нестерпимой, он затаивал дыхание и старался повернуться так, чтобы освободить ей место, насытить ее, и был в отчаянии от невозможности сделать это.

Снег почти запорошил стекла, когда покрытый испариной Лютров почувствовал, что боль притупилась, словно набухла. Стало полегче дышать.

Не шевелясь, он глядел на падающий снег, чувствуя, как вместе с облегчением приходит беспокойное желание додумать что-то, и сделать это до тех пор, пока не иссякло падение белых хлопьев над ним, словно между ударами его сердца и падающими снежинками существовала связь движения и покоя, жизни и небытия.

«Валерия!»

Он вспомнил наконец, что нужно, и сжал веки, противясь быстрой на слезы, расслабляющей жалости к себе.

«Больно... В поисковой команде есть врач, а у нее всякие болеутоляющие жидкости... С их помощью я бы все как следует вспомнил...»

Кабина качнулась, острие вздыбилось. Видимо, не выдерживала травяная ткань болота.

Заплескалась, перетекая, вода под ногами. В колени ткнулась ручка управления. Лютров прикоснулся к пластиковому окончанию ручки и почувствовал, как безжизненно легко она подалась.

Он еще держал ее, когда новая давящая боль удушающе стиснула сердце... Он замер, точно прислушиваясь к чему-то. Рука соскользнула в воду... Самым последним, что пришло ему в голову, было и самым простым.

«Удобная рукоять... Но не удобней тех, что были на старых истребителях».

...Ночью блуждавший где-то мороз вернулся. Черную глубину над землей унизило звездами. На краю небесной чаши повис призрачно-хрупкий месяц, но вскоре скрылся, устыдившись своего уродства.

Распухшая кисть руки Лютрова по запястье вмерзла в лед, а часы на черном ремешке все шли и шли, без счета отсекая секунды, будто знали, что их бесконечно много у времени.

На рассвете его отыскала собака местного егеря — старая черная лайка с белым пятном на груди.

Она стояла на задних лапах, скользила передними по стеклам полузатопленной кабины и то неистово выла, то принималась лаять, запрокидывая печальную заиндевевшую морду.

На лай, как на зов, бежал Извольский, оставшийся ночевать у костра вместе с поисковой бригадой.

Он бежал, задыхаясь, проваливаясь на неокрепшей под глубоким снегом ледяной кромке, падал, нелепо взмахивая руками, поднимался и снова бежал...